

P183403

В. САФОНОВ

# ДОРОГА НА ПРОСТОР

РОМАН



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
1945



В. САФОНОВ

# ДОРОГА НА ПРОСТОР

РОМАН



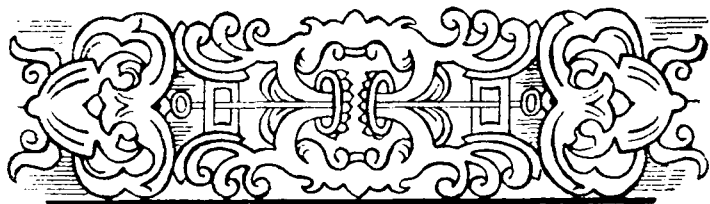
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА 1945

183402

Редактор А. Тихонов.  
Художник А. Усачев.

A16094. Подписана к печати 20/III 1945 г. Печ. л. 18½  
Авт. л. 16,09. Уч.-изд. л. 16,61. Тираж 15 000. Заказ 189.  
Цена 10 г., в переплете 12 р.

Филиал типографии «Московский большевик»,  
Москва, Петровка, 17.



На крутой горе, выходявшей из безбрежного моря, завиделось несколько глав, кремль и белый столб—памятник Ермаку. Был ранний рассвет. Гуляла и била волна, холодно чуть розовели гребни.

На улицах подгорной части города воды было выше человеческого роста, во дворе Дома колхозника плавали лодки.

В тот год, год начала Великой Отечественной войны, уровень в Иртыше у Тобольска поднялся на 951 сантиметр, а возле Увата — на 13 метров.

Местами коньки крыш и трубы в сбитой пене обозначали затопленные поселки. Время от времени звук, похожий на приглушенный выстрел, слышался в реве бури. Жирно чернел свежий срез обрыва, но то, что ухнуло вниз, уже смыли волны. Корни свисали с обрыва, как исполинские косы. Вдруг ель у среза начинала трястись. Огромное дерево билось, трепетало, все — от макушки до комля, с шумом встряхивая ветвями. Оно боролось за жизнь до тех пор, пока была под ним земля, куда уходили его могучие корни. Лишь когда рушился весь пласт земли, оно сразу утихало, затем описывало вершиной дугу, и раздавался звук, похожий на выстрел.

И становилось понятно, почему на этом холме так трудно отыскать следы Сузгун-Туры, где жила некогда Сузге, жена Кучума, и почему едва ли четверть осталась от горы, на которой стоял Искер — город Сибирь Ермака.

То была вековая работа реки, совершаемая на глазах. Но зеленел холм, густо подымалась из земли молодая поросль, и утренний разговор птиц один звенел в тишине.

И там, под падающими елями на холме Сузгун, ближе и яснее делался подвиг могучих людей, совершённый три с половиной века назад на этих берегах. И отчетливее представилась большая, суровая, противоречивая жизнь вождя этих людей — казацкого атамана и то главное в ней, что ее двигало и неотступно гнало, влекло вперед.

---



## РАССВЕТ

1

**П**одросток сидел у реки. Летучие тени, часто вырываясь из мглы, почти задевали его лицо. Он крикнул на самую смелую из них и взмахнул руками.

— Шumiшь чего? — раздался испуганный шопот в стороне.

— Да я им, кожанам, — громко сказал парень.

Настало молчание. В воздухе открылся мутный провал. Словно там приподняли и колебали покрывало, и обозначилась плоская водяная поверхность.

Тот же шопот спросил:

— Сколько у тебя?

— Дорт, — по-татарски ответил парень.

Четыре маленьких рыбки лежали на земле, пахнувшей прелью, и уже не бились.

— Мои пять, — отозвался голос.

— Ушла рыба. Она чует.

— Чего чует? Снизу по воде пальба не дойдет.

— «Снизу»! — насмешливо протянул парень. — Сверху, по волне, ты смекай. Везут, Гнедыш!

На низком берегу вода наливала впадины бакаев, заросшие ломкой безлистной травой — кураем. Бакаи остались с половодья. Длинный, по-мальчишески нескладный, горбоносый парень встал, поболтал в бакае пойманной рыбешкой. Ил на дне казался белым, вода не мутилась, и мальчика забавляло это. Потом он принялся грызть ры-

бешку. Она была облеплена липкой чешуей, с привкусом ила, сплошь набита костями. Чтобы заесть ее, мальчик сунул в рот сочную травинку.

— Жуешь, Рюха? — крикнул Гнедыш.

— Курай, — коротко ответил Рюха.

— Сосет, ой сосет в брюхе-то, — плачущим голосом сказал Гнедыш.

— Говорю, везут, — сердито перебил Рюха. — Хлебушко гонят с верховьев. Ты бачь — светом и будут.

Теперь широко стало видно по реке, и выступили ивы и лозняк на повороте вдаль.

Огромная пустая бурая степь была на том берегу. За нею, на востоке, слабо курилось — занималась заря. И в слабом, но все прибывавшем красноватом свете степь постепенно становилась сизой, вся в росе, как в паутине.

С востока, от зари, пахнул ветер. Он донес далекую протяжную переключку, и, когда улегся, стала слышна тихая работа воды в чилиме.

— Гнедыш! — позвал мальчик.

Над камышом показалась круглая голова.

— Ты воробья ел? — спросил Рюха.

— С перьями? — недоверчиво отозвался Гнедыш.

Рюха передразнил:

— «С перьями!» Ощипать — и живого.

Круглоголовый сказал:

— Ну-у... Сосет? Ты терпи. Пожуй белый корень. Терпи, Рюшенька. — И неуверенно добавил, моргая: — Может, все ж приедут нонче.

Рюха презрительно передернул плечами. Гнедыш вышел на чистое место, и Рюха сказал:

— Я в отваги<sup>1</sup> пойду, Гнедыш. Тут не жить. Зажмурюсь, и все мне — будто я в ладье, и плывет-плывет все кругом. Батька по морю ходил, сказывал: вот как поле оно — и краю нету.

Гнедыш поежился, разминаясь.

— Мне тятка прочит в станицу, ох, прочит вверх итти, послужить. Вернешься, бает, в первые станешь.

Он уселся рядом с товарищем. Столб рдяного дыма ударил им в глаза. Рюха раздул ноздри.

— А то еще: стоит Алтын-гора и золотом горит на солнечном восходе. Стоит в заволжском поле, а досюдова

<sup>1</sup> О т в а г и — охотники, вольные казаки.



хватает, так и пышет. Батяка бежал-бежал в ту сторону...  
В отваги пойду вслед его.

Гнедыш помолчал, потом хмыкнул.

— А я табун заведу. Огонь-кони. Азовцы, чуть похочу, серебро чувалами отсыплют. Учуги — рыбу ловить...

Вдруг прервал, прислушался к чему-то, вскрикнул:

— Рюшка, ай весла?..

Чуть всплеснула вода — далеко, тотчас стихло, будто рыба плеснула. Мальчики скользнули в кугу. Зверю не затаиться бы лучше. Утка с кряканьем пронеслась над их головами.

Конный человек переплывал реку. Конь вышел на берег, отряхнулся. Одежда на человеке была мокра до пояса, он не снял, пускаясь в реку, грязные изорванные шаровары и не подвернул свиту из дерюги. Нахлеснул лошадь, та дернулась трусковой рысцой, но скоро сбилась на шаг. Видно, немало отмахнула за ночь. Мокрый человек пел хрипло, с выкриками, широко раскрывая рот на страшно посеченном лице, и до ребят долетели слова его песни. Он пел про волка и волчицу, и как выманил волчицу волк на гулянку:

Ешь зайчатинки, волчица,  
Казачатинки,  
Пей ты алый мед —  
Сладкой кровинушки...

Так, кинув поводья, давая отдых коню, проплелся всадник мимо, и ребята видели его бритое темя.

На дубовом кореню —  
Там конец коню...

Ударил коня босыми пятками под ребра, и конь, екая, перешел на короткий галоп. Издалека донеслось:

Ты комарь,  
Ты комарь.  
Ех, ех!

— С низу охотничек, — сказал Рюха. — Верхние не такие.

— До кого едет?

— До Вековуша, пра!

— А его ж нет.

— Тут он. Казаком не буду — тут!

— Тамаша! <sup>1</sup> — сказал Гнедыш.

Рокочущий звук, будто дробный топот, донесся по реке.

— Кабаны, — сказал Рюха.

Гнедыш думал о прежнем. ☹

— И что ж в степу, в степу-то деется!.. На низу-то!

Рюха не стал отвечать, вскочил.

— Айда сома словим!

— Где сом?

— Тут, недалече уследил. Под корчагой живет. Враз возьмем.

— Глыбоко...

— Он еще спит.

Туман, припавший на излучине, редел, пелена его рвалась, по реке, наливаясь синью, поплыли круглые облачка.

Когда ребята добежали до места, Рюха разделся, кинулся в реку. Вода была оловянного цвета. Омут чернел за трухлявым поваленным стволом. Мальчик вынырнул се слизью водорослей на лбу и, передохнув, исчез опять. Завилась воронка, ее снесло вниз.

Гнедыш подождал, потом, мотнув головой, крикнул:

— Рюха!

В белесом верхнем водяном слое над черным омутом крутились соринки, морщило рябь.

— Рюшка!

Сунулся в воду, она была холодна, и он отступил.

Тягостно долгие мгновения он стоял, поджав губы. Очертание тела возникло внезапно из глубины, ударило снизу о поверхность, разбило ее; показались спина, плечи, спутанные волосы; пловец с усилием выбросил одну руку из воды, булькнул воздухом и канул снова. Его голова то чернелась под водой, то расплывалась; так несколько раз он качнулся между поверхностью и глубиной и наконец всплыл, ухватился за ствол. Встал, шатаясь. Высоко поднял над смуглым худым своим телом грузную, усатую, широколобую рыбу, колотившую хвостом. Пальцы мальчика вдавились ей в жабры и в один глаз. Мальчик улыбнулся, тяжело дыша. Он еще ощущал на бедрах напор воды. Сонные стрекозы сидели на стеблях тростника. Ничто не нарушало мира утреннего часа, все было так, как в миллионы других утр, озарявших это место; и капли,

<sup>1</sup> Тамаша — потеха (ногайск.).

падавшие с хвоста рыбы на воду, порождая легкие ускользавшие круги, были последним следом борьбы.

Лодчонка стояла в заросшей протоке у островка. Мальчики сложили в нее рыбу и шестом поспешно отпихнулись с мелководья.

2

Крыжнии летели с востока и трижды подали голос над жильем Махотки. То было вчера. А перед тем казак с поля, — из тех, что ватагами и в одиночку с понизовых степей набежали сейчас в станицу, — зашел, посидел, поел сухой черной лепешки (стала она лакомством!), запил водицей, утерся рукавом, вынул из-за пазухи рваный рыжий колпак и передал с поклоном.

Ждала она по осени, ждала по первой тоаве, долго ждала, казаку не поверила — поверила птицам. В восточном краю сложил голову ее муж. И, качаясь, она заголосила по мертвому.

Соседка уговаривала: «Марья, что ты? Жив, может»... Потом все смолкло вокруг. И тогда женщина притихла и села неподвижно, охватив руками колени. В пустом углу, в нарезанной куге зашумело — блеснул в свете месяца скользкий уж. Там было место ее сына. Подрос птенец и отвалился от гнезда.

Она просидела до утра, наморщив брови, — одна в жилье, одинокая в мире.

Утром прибралась, покрыла голову и, широко, по-мужски шагая сильными своими ногами, вышла на вал — кликать сына.

Мглистая река текла вниз.

Был чист берег реки там, где к воде спускался вал, и кудрявые заросли отмечали дальше прихотливый бег ее по огромному полукружью земли.

Ни дымка не пятнало девственного простора, ни шляха не чернелось в степях, разлужьях и еланях — серебристых против солнца, испещренных длинными лиловыми тенями — в стороне от солнца. Курганы горбились кой-где, желтея глинистыми, словно омытыми влагой, осыпями. И небесная чаша нового дня, чистейшая, без облачка, опиралась краями на дальние земные рубежи, где все было — свет, и голубизна сгущалась и реяла, как крыло птицы.

Низким, заглубившим голосом женщина выкликала:

— Гаврюша! Рю-ше-ень-ка!.. — и вслушивалась не столько в ответ, сколько в свой голос.

Ничто не отвечало ей. На просторе не рождалось эхо, жилец тесноты. Лишь пестренькая птичка с венцом на голове — удод — кинула свои остерегающие слова из-за мелких камней.

Женщина хмурилась. Не думала она о том, что делается в станице, не присматривалась, не прислушивалась, а все же чуяла всем существом, как за вчерашний горький для нее день ожидание бед и грозы повисло и напряглось в воздухе. Была обманчива утренняя тишина степи. Новый народ, который затеснился вокруг, не умещался по куреням; огни жарко горели ночью за валами, — кто их знает, к какому лиху.

Раздался топот; она обернулась. Конная ватажка показала из-за изгиба вала. Ехали в станицу. На всех низких ногайских лошадях — полные, тяжкие тороки и турсуки. Махотка, все так же хмурясь, глядела, как конники по одному, гуськом въезжали в станицу по узкой тропке — к задам богатого куреня Якова Михайлова. Потом подождала немного и кликнула еще. У чьего огня грелся Гаврюша, сын ее, этой ночью?

По склону в тысячелистнике, ощущая голой кожей рук и спиной тепло красноватого еще света, женщина сошла в ров, уминая босыми ногами жирную прохладную, свежеразрытую пахучую землю, уцепилась руками за край рва, легко напрягшись, выбросила вверх тело, легла животом на край, встала и пошла к камням, где птичка в венце, оберегая для одной себя степной покой, кричала: «худо тут».

Птичка была права. Тут-то и увидела казачка Махотка недоброго человека. Скорчившись, он копал землю ножом — было воровское во всей его ухватке...

И тотчас, не раздумывая, не прикидывая, как поступить, женщина распласталась за камнем.

Человек казался знакомым, но низко надвинутая шапка мешала разглядеть его лицо. Он копал торопясь, но долго. Что-то еле слышно звякнуло, он достал то, что выкопал, скрыл под полой и, не закидывая ямы, пошел прочь; там, впереди, была балка, падавшая в реку.

Он шел теперь смело и только раз мельком оглянулся. Согнувшись, по высоким травам Махотка перебежала к

реке и берегом, хрустя ракушками, скоро пошла к устью балки.

На лысом мыске сидел еще человек. Сидел он как-то скучно, как бы в долгом ожидании, голову подперев руками, невзрачный чернявый мужик, в посконном зипуне, с покатыми плечами. «Двое!» И на миг остановилась казачка. Затем, чтобы миновать второго, вскарабкалась на кручу.

На юру она бежала, пока не открылась балка. Человек спускался по тропке, придерживая полу. Оседланный гнедой стоял под обрывом.

Казачка увидела выбеленный дождями лошадиный череп на дне балки, узловатый, обглоданный куст дерезы, к которому был привязан повод, и рябое лицо человека: то был Савр, прозванный «Оспой», ясырь, пленник казака Демеха, взятый в Кафе, и Демехов табунщик. И, вскрикнув по-бабьи, Махотка смаху, сверху, с обрыва, кинулась на него, смяла силой удара.

Огненные искры брызнули перед ее глазами, она не слышала, как со звоном покатилося то, что было под полой, и всю силу жизни своей вложила в пальцы, давившие, душившие потную шею Савра-Оспы.

Сбитый с ног, полузадушенный, он извернулся змеиным движением, мелькнули белки его глаз, и нестерпимо больно стало женщине, когда собачьей хваткой зубы Савра вцепились ей в левую грудь. От боли померк и почернел солнечный свет в глазах Махотки, но радости упоение борьбы хлынуло, затопило ей душу. И не сразу заметила она, как чья-то тень пала на нее и на Савра.

Человек с мыска стоял на краю балки — теперь он был совсем другим человеком.

Он стоял, уперши руки в боки, широкоплечий, чернобородый, рубаха распояской. Казачка узнала и его: Бобыль, а еще — Вековуш. И в станице его давно не видать было, — откуда ж взялся тут?

Один миг длилось все это, но для нее тот миг казался долгим, потому что она напряженно силилась разгадать: с чем пришел? Мог — с чем угодно: самый непонятный казак в станице. Мужик с бабой борются-играют, — любопытствовать. Или с Оспой заодно.

Оспа тоже заметил его, разжал зубы.

— Чего же ты его? — сказал Бобыль, блестя чуть раскосыми глазами, и спрыгнул вниз.

Оспа забился, заерзал и, давась, взвизгнул торжествующе и просительно. «Люта... скаженна. Бей!» — разобрала Махотка. Сама же она не могла выговорить ни слова: у нее перехватило дыхание.

Бобыль с любопытством нагнулся и взял Савра за руку — из руки вывалился нож. Тогда Бобыль дернул Савра — и как будто легонько, а ясырь выволокся из-под женщины, сел и вдруг мелко, жалко затрясся всем телом.

— Собери, — услышала Махотка властное слово чернородого.

Чугунный котелок валялся рядом, и позеленевшие, грубо обрубленные монеты выкатились из него.

И послушно, оправив исподницу, женщина принялась собирать их в траве.

Бобыль озабоченно оглядел Савра. Приподняв, он вытряхнул его из верхней одежды. Под ней было еще много: свое, чужое — все надетое на дальнюю дорогу. И ясырь жалостно, тонко завывал, пока Бобыль срывал это одно за другим.

Казачка опять услышала властный голос:

— Где нащупаешь, вспорешь.

Дивясь тому, что прежде, в станице, она никогда не слышала такого голоса у этого чернородого мужика, она подняла с земли нож и усердно занялась рухлядью, вонючей от человеческого и лошадиного пота. Торопливо, охотно делала все, что велел этот мужик.

А Бобыль измерил глазом ничком лежавшего голого жирно-гладкого человека и скрутил его же арканом.

— Так ладно.

Не помогла Савру Мухамедова молитва в грязной ладонке на шее. Больше он не прикидывался греком, бляя причитал по-татарски и затих, когда из вспоротой полы казачка достала кусок бумаги в арабских письменах.

— Демехов клад отрыл, — сказал Бобыль, — за то казнь. А письмо паше везет — есаул дознается, от кого те письмо.

И опять все хозяйски оглядел.

— Так ладно. Седай на конь, отволочешь в станицу, к есаулу.

Она была горда и счастлива, дышала сильно и ровно; ничего сейчас не боялась и за сына — легко подумала: «Время-то какое — казаковать пора»; сгнули, как не бы-

вали, мысли о своем одиночестве в мире. Но, стыдясь своей радости, потупилась, отвертываясь от голого ясыря.

— Ой, да не знаю ж я. А ты?

Тут он с чуть приметным озорством шевельнул бровью.

— Мое дело, свекруха, тут. Что делаю — не тебе врать. А и повидала меня — зажмурься да отворотись. А гадюку ты оборола — тебе и тащить.

И пошел быстрыми шагами, — недавний, чудной гость в станице, гулевой, говорят, а будто и не похоже — тихий. Махотка вспомнила всадников на низеньких конях с тяжелыми тороками у седел, — как въехали они на михайловские зады. Да ведь не мог он быть среди тех всадников, раз он сидел на лысом мыске!

### 3

Уже замолкла протяжная ночная переключка караульных, выкликавших, по обычаю, славу городам, уже гремел майдан и проснулись все, спавшие на нем, когда вымахнул на вал босоногий человек. Он проехал мимо землянок, шалашей-плетенок и низких мазаных хат, и все смотрели на страшно посеченное его лицо, и рваную дерюжину одежды, и черные, тяжело ходившие бока его лошади.

— Браты! — завопил он еще с коня. — Казаки-молодцы! Беды не чуе! Дону-реке истребление пришло!

Толстый казак, сидевший на земле, не подумал посторониться. Кидая правой рукой кости для игры в зернь, он протянул левую и, без видимой натуги, нажал коню под ребра, и тот откачнулся. Не подымая головы, заинтересованно следя за раскатившимися костями, толстый казак сказал тоненько, бабьим голосом:

— Здрав будь, отче пророче, откуда взялся? Косой заяц принес заячьи вести.

Приезжий распахнул свою дерюжину. Длинный багровый рубец с запекшейся кровью тянулся вкось по его груди.

— Слушайте, люди добрые! — прокричал он. — Волки обожрались человечиной. Ратуйте, души христианские! Паша Касимка идет с янычарами, полста тысяч крымцев за ним. Струги плывут с Азова, в них окованы гребцы христианские. Народ посек, города пожег, казаки в степи бежали. Ратуйте, люди добрые!

1

Не было тут человека, который не слышал бы уже о турецкой беде. Сотни казаков, подавшихся сюда из низовых станиц и со степей, приносили о ней вести. Недаром сбился народ в эту станицу-городок, где был крепче вал и больше мазаных хат кругом просторного майдана.

Толстый казак сказал:

— А вот ратую, толечко кость еще кинуть...

Он был в шелку, в атласе, в побрякушках — шитые золотом сапоги, узорный кушак, женское ожерелье на шее. И во всем своем пестром убранстве он так и сидел прямо на рыбьей чешуе и всяком мусоре, какого было вдоволь у края майдана.

Но было новое в выкриках приезжего и в страшно посеченном его лице, и уже собирался народ вокруг лихого вестника, поднимали головы те, кто плел сети; щелкнуло надвигное оконце в одной хатенке, и через шелку глянула закутанная женщина: лезгинка, она не открывала лица.

— Близко Касимка, — рассказывал вестник. — Близко. Где мелко на реке, пушки берегом на людях волочить. Водой и степью идет беда. От веку, как Дон стоит, не бывало такого: на станицу катит. И канаву с Дону на Волгу рыть зачал: должно, в Астрахань плыть вздумал!

Опять раскатились кости, и толстый казак, крикнув, стал снимать золотом шитый сапог. Без особого недовольства он кинул его сидевшему рядом полуголому человеку.

— Этак ты меня, друг, из кафтана вытряхнешь. А на что тебе кафтан, когда паша, гляди, Дон вспять поворотит, а то и солнышко под полу спрячет? А что ж вы, храброе воинство понизовое, пашу за рукав не придержали?

Тут впервые приезжий обернулся на бабий голос.

— Перешибиди силищу! Мы-то бились, да напоследках меня сюда заслали — чи не приведу ли тебя, сокола.

— Вот то добро. Я в ладье один, слышь, через бом плыл. В Азове, ты слушай! Чепи в пять рядков поперек реки, а с боков из бахил бахают. Ого, братику! Он пульнет, а я под чепь...

Но гул и гомон голосов перебил его, и вестник отворотился от него, вытер пот со лба.

— А еще что скажу, то одному Чернявому, — добавил он негромко, устало. — Хлебушка, казаки, кто подаст?



-- Эге, хлебушка! Вот и ждем: привезут.

— А чего же не везут?

— А бес его знай! Может, гnevятся.

— На Руси боярство дюже гневливое.

— Атаманы, может, самому не потрафили.

— Самому-то?

— Руки, вишь, до всего дотянуть захотел.

— Небывалое дело!

И пропищало с земли:

— Ты по пылу, по шану<sup>1</sup> на шляху погадай. А то нам далеко, отсюда не видать. И горы нет, чтобы взойти да прямо в Москву глянуть; место у нас ровное, степь кругом.

И толстый казак в одном сапоге стал подниматься, стаскивая шапку с кистью, и, когда поднялся, своей огромной круглой головой, которой сближенные глаза придавали диковинно-птичье выражение, пришелся почти вровень с всадником. Подал ему шапку:

— К башке приторочь — в чурек спекешься!..

Всадник поглядел на шапку и на хозяина ее и только сплюнул, — бывает же на белом свете этакое диво!..

#### 4

Мальчики пробирались напрямик, через камышewые плетни, ограждавшие курени домовитых казаков. Ощущение голода, который нельзя было насытить рыбой и съедобными корнями, — особенного голода-тоски по хлебу, по раскатанной твердой, с пыльно-мучным запахом лепешке, по крошеву в воде, по хрустящей на зубах корке, — не покидало парней. Дважды взoшло солнце с тех пор, как у Гаврюхи во рту побывал землисто-черный, свалевшийся, как седельная кожа, кусок, который отломилa мать от лепешки, сберегавшейся в золе. Но подводная охота, о которой напоминал сом, перекинутый через плечо и потряхивающий головой и хвостом при ходьбе, свежесть глубокой воды, оставившая сладкий холодок между лопатками, и теперь ожидание того нового, небывалого, что (Гаврюха уверен был) сделает нынешний день непохожим на все прежние дни его жизни, — наполняли его ликованием.

---

<sup>1</sup> Ш а н — пыль (ногайск.).

В куренях былолюдно, говор, ржание, звяканье оружия раздавались оттуда. Курился кизячный дым, женщины хлопотали в хатах с растворенными дверями и возле очагов, из грубых камней сложенных посеред дворов. Невольники-ясыри охаживали запаленных лошадей.

Всю станицу знал Гаврюха, как свою ладонь, каждый куст татарника рос, знакомый ему. Но вот этих двоих он не знал. Они сидели в исподнем, с непокрытыми головами среди подсолнухов, неподалеку от пчелиных колод. Лица у обоих были иссечены глубокими, почерневшими от долгих прожитых годов морщинами.

Несколько поколений родилось, оженилось да и отошло с тех пор, как, молодыми казаками, уехали они с Дону. А теперь вернулись оба — один с западного, другой с восточного поля, — вернулись помирать на Дон, и никто не узнал их, да и они никого не узнали, кроме друг друга.

Один говорил:

— А медом я и сыт. Бабоньке толкую Антипки-внучка: ты б чуреков альбо чебуреков напекла. А она: турмен<sup>1</sup> сломался, а скрыни зайцы прогрызли. Так я давай того меду — и ополдень, и в вечер, и с третьими петухами. А проснулся: чтой-то мухи пуп весь засидели? Колупнул: мед!

Другой отвечал:

— Меня ж, сват, так рыбой отпотчевали, что заместо людей все чебаков да сулу<sup>2</sup> я вижу. И на тебя, сватушка, погляжу — гуторишь, а ровно рыба хвостом махает.

— А привезут же!

— Привезут. А как же!

— Казачий корень не выморишь. Кто не даст Дону — к тому мы, Дон, сами пожалуем, приберем!

— И на пашу, и на крымцев с янычарами укорот найдем.

— От века непокорим Дон-река.

— И до века непокорим!

Радуюсь единомыслию, старики вместе крякнули.

Тут рыба сом встала на хвост над стенкой меж подсолнухов и, разиня рот, трижды поклонилась.

Схватив палку с крючком, побежал к стенке окормленный рыбой.

<sup>1</sup> Турмен — мельница.

<sup>2</sup> Чебак — мелкая рыба; сула — судак.

— Шайтан, нечистый дух!

Мальчики улепетывали за угол.

Шумел и шумел майдан, хоть не видно было уже лихого вестника.

Врозь пошли и зашатались казачьи мысли, как челны без руля, затомились души, смущенные грянувшей с юга бедой и непонятным безмолвием севера...

— Что делать будем?

— Свинца, пороху нет. Камчой обуха не перешибить...

Мелколицый парень шепеляво выкрикнул, будто хотел достать голосом на тот берег реки:

— Етмеку с вешней воды не ашали!<sup>1</sup>

Грузный казак с птичьими глазами был уже бос, без кафтана, но все еще подпоясан шелковым кушаком. С ним больше никто не хотел играть, и он сам для себя бросал кости, внимательно следил, как они ложились, кивал головой без шапки, цокал языком и все рассказывал, не заботясь о том, слушают его или нет.

— Пульнет, а я под чепь — ты слушай, братику. А я под чепь, а я под чепь. Так и пробег весь бом у Азове. А после — к паше в сарай. Караул мне что? Я их — как козьяков. Яхонтов да сердоликов в шапку, а тютюну в кошель. А на женках пашиных халатики пожег. То они и светили мне на возвратный путь.

Кинул опять и, пока катились кости, ласково приговаривал:

— Бердышечки, кистенечки, порох-зелье — веселье...

Сивобородый казак Котин, глядя на нестерпимый блеск реки, тихо сказал:

— А хлебушко — тот простор любит, в дождь растет, подымается, колос к колосу, зраком не окинешь, в ведро наливает зерно...

Говорил он мелколицему шепелявому парню, Селиверсту, который улегся рядом — голым затылком на землю, выцветшими глазами уставясь в небо. Но будто ужалили Селиверста эти слова:

— Не шути, шут! Тля боярская — не казак!

Вдруг странно стих конец майдана. Что-то двигалось там в молчаливом кольце народа. Женщина, верхом на коне, медленно волочила голяка, — он силился приподняться, жирный, белый, и валился на живот, сопротивля-

<sup>1</sup> Т. е. хлеба не ели (испорчен. татарск.).

ясь волокущему его аркану змеяными движениями всего тела.

Сдвинув брови, женщина направила коня к есаулову куреню. Она подала есаулу кусок бумаги, исписанный арабскими буквами, и чугунок.

Вот так Махотка, вдова безмужняя! Муж, все знали, кинул ее, ушел на восток, жил с рыбачкой на Волге и сгинул. Цокнул языком, головой покрутил отчаянный игрок и, забыв про кости, встал, вытянулся во весь свой немислимый рост — чудо-казак. Баба черная, здоровая, ничего, что худая в грудях. Ай да баба!

Гаврюха же перебросил товарищу рыбу, быстро шепнул: «Подержи. Матка-то!..» И шмыгнул в кольцо народа.

Уже слово «измена» прокатилось по майдану. Было оно — как искра для пороха. Голый, в кровоподтеках, Савр-Оспа валялся в пыли. Но кто писал, кто мог написать ему турецкое письмо для Кассима-паши? «Измена в стане!»

Три казака схватили Оспу. Гаврюха видел, как ясыря потащили к столбу под горой. Обернулся к товарищу: «Гнедыш!» А Гнедыша и след простыл. Слышно было, как Оспа визжал и бился до тех пор, пока, должно быть, какой-то казак не сорвал с себя шапку и не заткнул ему рот.

Савр-Оспа не выдал никого.

Ударил пушка — черный клуб вспучился на валу, отозвались пищали.

Сверху на речную дугу выбегали стаей суда. На головной каторге трубят, будары сидят низко, бортами почти вровень с водой, отяжеленные грузом. Из чердака каторги вышел желтозолотой человек, стоит прочно, расставив ноги. А вокруг вьются струги, стружки, ладьи: там палят, поют и трубят, плещут весла — целый водяной городок пестро бежит вниз мимо черных шестов учугов — рыбных промыслов.

Ударили в ковш на майдане. Весь город тут как тут, бабы поодаль, не их то дело. На пустых улицах в горькой пыли одни голопузые сорванцы играли с татарчатами.

По крутой дороге шли с реки атаман с булавой, есаулы с жезлами. И рядом с атаманом, впереди есаулов, шел длинный, весь парчевый человек. Он искоса поглядывал по сторонам, верно, любопытно было ему поглядеть, но

воли себе не давал, шел осанисто, откинув назад красивую мальчишескую голову.

Все прошли в середину круга. Там он снял шапку-башню, и, когда на все стороны кланялся честному казачеству, рассыпались русые кудрявые волосы.

Круг на миг замолчал, потом сдержанно загомонил:

— Небывалое дело!

— Стариков принимали.

— Поношение Дону — мальчика слать...

Истово, невозмутимо гость надел шапку и, кивнув дьяку, властно откинул голову. Дьяк развернул грамоту и стал читать:

— «От царя и великого князя всеа Руси Ивана Васильевича. На Дон, донским атаманам и казакам. Государь за службу жалует войско рекою столбовою, тихим Доном, со всеми запольными реками, юртами и всеми угожьями. И милостиво прислал свое царское жалованье...»

Жаловал тем, что и без него имели. Но это был торжественный по обычаю зачин. Самое важное: хлеб, порох, свинец были тут, в бударах; борта их еле выдавались над водой.

Дьяк не остановился на милости. Длинную грамоту московскую наполняли бесконечные «а вы бы», «а мы бы...» Казаки не все понимали в велеречивой грамоте. Но поняли: за милостью шла гроза. Царь корил донцов: по их винам, буйству и своеволию султан Селим и хан Девлет-Гирей двинулись на Русь. Извещал: «послали есмы для своего дела» таких-то воевод и таких-то казачьих атаманов в Астрахань и под Азов. «А как те атаманы на Дон приедут и о которых наших делах вам учнут говорить, и вы бы с ними о наших делах промышляли за один; а как нам послужите и с теми атаманами о наших делах учнете промышлять, и вас пожалуем своим жалованьем...»

И дьяк повысил голос, когда дочел до того места, где царь требовал схватить главных заводчиков и смутьянов.

Про что сейчас читал дьяк, казаки хорошо знали. Между степью и турецким султаном стоял мир, приговоренный московскими дьяками. Но в степи живал мир недолго, и никто не радел о нем.

Однажды азовец, торговавший коней, подрался с казком. «Размирная!» — закричали казаки. И пошла в Азов грамота: «Ныне все великое донское войско приговорили

с вами мир нарушить: вы бойтесь нас, а мы вас станем остерегаться». Было веселье: готовили воинскую сбрану. «Добудем зипунов!»

В первый раз, что ли, было так? Так бывало — сколько Дон стоит.

Только теперь Селим-султан порешил вовсе перевести казачий корень. Кассим-паша выступил с янычарами, а хан Девлет-Гирей пригнал ему пятьдесят тысяч крымцев. А царь виноватил в том казаков и клал свой гнев на заводчиков смуты.

На золотом шнурке грамоты в руках у дьяка болталась красная большая печать.

Дьяк дочитал.

— Любо ли вам, атаманы молодцы?

Круг молчал. Атаман выступил вперед:

— Что ж, мы царю не противники. Поищем, поищем смутьянов да забияк.

Так говорил атаман Коза.

— Только слышь, господин, с Дону выдач не бывает.

Хвост белого коня висел на шесте рядом с атаманом. Бунчук означал волю.

Царский посланец упрямо тряхнул головой. Звонким еще не по-мужски, но сильным твердым голосом он крикнул, впервые открыто с любопытством оглядывая загнувшийся круг:

— Вы, низовые! Воровать оставьте. Верную службу великий государь помнит. Ослушники да устроятся государевой грозы!

Смелые слова, непривычные для здешних ушей. Внизу на реке стояли будары, полные хлебом. Он и не думал еще разгружать их. Хлебный караван посреди голодного своевольного люда! Но настала пора скрутить Дон, смятенный турецким нашествием.

Понимал ли этот посланец, кого дразнит, с каким огнем играт? Не о двух головах же!

А он, сказавши, спокойно выжидал, и, длинный, поверх толпы разглядывал, теперь уж не таясь, крыши, улицы, желтые подсолнухи.

Какая сила была за ним, что позволяла она ему, беззащитному, разговаривать с Доном так, как не посмел бы паша со всеми своими крымцами и янычарами?

— Кто ж таков? Какого роду? — спрашивали в толпе.

— Волховской, что ли. Князь Семен Волховский...

Косматый старик сказал:

— Из новеньких. Древних и не слыхивали таких.

— Эге. Волхов-река в Новгороде, — запищал птичьеглазый исполин. — Оттель, значит. Князь из Новгорода. А князей-то там не жаловали.

И, убеждая, таинственно нагнулся к соседу:

— Ты мне верь. Я сам боярский сын, не знал?

— О! Бурнашка? — захохотал сосед.

— То для вас — Бурнашка. Имя сокрыл свое. А я Ерофей. Ерофей Ерш, Ершов. А вы: Бурнашка Баглай!

И задние захохотали, в то время как все громче гудело в передних рядах.

Посланец перевел глаза на Козу: огромный, рыхлый, с бритой головой. Для атаманов привезено цветное платье, да неизвестно, налезет ли оно на такого.

Коза юлил. Он заговаривал неторопливо, долгий опыт подсказывал ему, что, живя неспеша, выигрываешь время, а это во всех случаях бесспорный выигрыш. Коза пошучивал, крутил ус.

Он был немолод, жизнь не прошла даром; ему хотелось в спокойствии и достатке, в чистом курене, у тихой воды беречь атаманскую булаву. От Москвы идут службы и выслуги. Не холопы службы, а вольные казаки, с почетом, с торговлишкой при случае, и тоже с добрыми дарами — он ведь догадался об укладке с цветным платьем, что стояла на боярской каторге.

Но не следовало прямо об этом. Слишком голодными глазами смотрит голытьба в кругу — не у всех просторные курени, табуны да учуги, и вовсе не для них привезена укладка.

Он говорил, а гул и гомон росли в толпе. Ловок гость! Всю реку подмять удумал. Коготки-то железные... Не все родились на Дону, многие вдоволь хлебнули смердовой доли. И где ж цареве жалованье? Ведь не посланцу оно дано, а войску. Что же хоронит он хлебушко в своих пловучих гробах? А Коза, атаман, — почему не выложит он все мальцу пряником?

Кто-то залиvisto свистнул. Передние подались вперед, круг глухо сжался, стало слышно дыхание людей.

— Зубов не заговаривай. Режь, что мыслишь: на то тебя атаманом становили.

— Шапку, князь, с головы перед казачеством. Товариство, разгружай будары!..

Князь нахмурил тонкие брови и вдруг шагнул вперед: — Вы что: мне обиду чините? Не мне: великому государю! Вот он я. А ну, хватай! Руси не схватишь: то попомните.

И помолчал, глядя в лицо передним. Потом, как о деле решенном:

— А про заводчиков: выдавать ли их или своим судом осудите — думайте.

Не знал, конечно, упрямо-бесстрашный посланец, что он зажигает лучину на той площади, где и до него — особенно с тех пор, как загуляло словцо «измена» — все было как порох, ждущий искры.

Между молотом и наковальней почувствовала себя бездомовная, сбредшаяся сюда из низовых городков и из степи, буйная толпа, но не покорную робость, а ярость родило в ней отчаяние. Не от крика, а от бешеного рева шатнулся теперь весь круг, и уже страшное, бесповоротное «сарынь, веселись» голытьбы вплелось в рев, и десятки глоток готовы были подхватить это, — как, расталкивая, распахивая сгрудившихся, вырвался в тесное пространство внутри круга казак в сером зипуне.

## 5

Все узнали его, и, видимо, многие как-то по-особому знали его, хотя был он невзрачен, недововит, в станице появился недавно, неведомо откуда, и живал в ней мало, исчезая неведомо по каким делам, а то, что живал, держался в особицу, вовсе один, не касаясь будто ни разбойного своеволия гулевых, ни казацкой старшины.

И было так внезапно, как снег на голову, и самое появление его, и выход в круг, — да еще как раз в момент, когда вот-вот — и все бы смела бушующая буря, — что утих рев и опало напряжение, найдя временный выход в любопытстве, сразу разбуженном у подвижной, не знающей сдержек степной вольницы. И только пчелиное жужжание круга показывало, что пламя не потухло, а просто на несколько мгновений приглушено.

Чернявый казак в кругу кинул шапку оземь, ударил в ноги казачеству, поклонился атаману и посланцу.

— Бобыль!

— Вековуш!



Блестя глазами и белыми зубами в бороде, казак в кругу сказал:

— Дело тут на крик пошло. Ты, господин, молод, ломишь, а не гнешь; казачество соломиной не переломится.

И весело, не замечая хмурого лица князя:

— Да не дивись, что хлопцы, не пообедавши, шумят. У нас на Дону сытно привыкли жить, не взыщи. Так уж дозвожь, атаман, покормимся хлебушком и варевом. Без пирога какая беседа!

И тотчас, словно по этим словам, распахнулись ворота куреня неподалеку на улице. То был курень Якова Михайлова. За воротами на дворе были видны лари, обсыпанные белой мучной пылью. И еще больше ахнули в толпе, когда вышел за ворота человек со страшно посеченным лицом, вестник, и отчаянно, как утром на майдане, выкрикнул:

— Заходи, казачки, давай торбы и чувалы, Яков — казак богатый, избытка не жалеет!

Иные казаки, из тех, кому особенно подвело животы, кинулись с майдана. Бабы заспешили к михайловскому куреню с ведрами, с торбами, с ряднами, с горшками — что первое попало под руку.

У ларей оделяли с разбором. Иных ворочали: «Пошарь дома в скрыне».

Казалось, до всего этого не было никакого дела чернородому казаку в кругу. Про свои слова он, видимо, вовсе забыл, а может быть, ничего такого те слова и не значили — просто так сказалося, да случаем к месту пришлось. А Коза тоже, если и дивился чему-нибудь, то все же остался невозмутим: недаром же он был атаманом и знал, что править казацким кругом — это не то, что вести каторгу по тихой воде; дик и своеволен круг, точно конь, не ведавший узды, — зачем становиться ему поперец? Да и доискиваться смысла иных удивительных его скачков — не к чему: пусть скачет туда и сюда. Отойди в сторонку: в том и есть мудрость. Только, как скакнет в ту сторону, какую выбрал ты, надо подойти и незаметно обротать — так, чтобы пошел он дальше туда, куда ведут атаман и старшина.

И Коза сонно поглядывал поверх одутловатых кирпичных щек и неторопливо сплевывал. Вон этот прикидывается серячком, а по слову его отворяются неведомо откуда взявшиеся лари на дворе спесивого Якова Михай-

лова. Муки там, конечно, не так уж богато, да и откуда взялась она — тоже известно. Так пусть прикидывается серячком: чего бы ни хотел он и чего бы ни хотел задорный мальчишка-князь, куда бы там в кругу ни гнули, но крик стих, и время выиграно, а это то, чего хотел Коза.

Молодой царский посланец (и любит же молодых царь Иван!) не научился еще владеть собой, как мудрый атаман Коза. Князь все больше хмурил тонкие, красиво изломанные свои брови и покусывал короткий ус. Что удивительные лари спасли, может быть, самую жизнь его, про это он вовсе не подумал и даже в душе не благодарил того, кто отворил их. Сколько там было муки и откуда она, он не знал и только с сердитой досадой думал, что хлебная раздача была ловким ходом, который сейчас в глазах этой легковерной, минутой живущей толпы уничтожал вес неразгруженных будар на реке.

А зипунник, вёсело осклабясь и блестя глазами, как ни в чем не бывало, говорил:

— Слышно, господин, верховые казачки землю ковырять зачали. И уж будто воеводы лапоточки напасли для них. А еще другое говорят: немало-де смердов подаются на Дон, от бед освобождаются, а животишки боярские жгут, приказных же... — тут он совсем озорно подмигнул дьяку: «не про тебя молвить, дьяче» — ...за ноги подвешивают приказных. Клязьма, мол, подымается, Ока, Тверца да Унжа.

Вон про что скоморошит смерд-зипунник! Година невероятных страданий пришла для родины, для Руси. Тяжко метался дивно светлый разум царя, чтобы найти исход из бед, часто изнывал в тоске царь, надрывались в непереносимом бореньи его силы, темный гнев омрачал его... Гибли на западе, в ливонской войне, русские рати. Паша и крымцы шли на Астрахань. Страшную, неслыханную крамолу ковали княжата, умыслив погубить царя... погубить Русь!.. И еще не вырвана с корнем та крамола. Вот от нее зашатался Новгород. А мужичий люд — руки государства. В суровую годину — работать, работать рукам — в том спасенье, помимо того — гибель, — голову ль тут винить? И о чем скоморошья радость зипунника: о бунтах? Праздные разбойные души, сытые чужим хлебом!..

— ...Не знаем, господин, верно ли то, от нас далёко, мы степняки. Только, думаю, не время с Доном переводывать-

ся. А и на что мы государю-царю? Низовые, сам смекаешь, вор на воре, чуть не доглядишь — свищи-ищи бороду подмышками!

И он присвистнул и, расставив ноги, захохотал, играя раскосыми глазами.

С высокого майдана, через шедший ниже по кручам вал в речной стороне, князь видел часть огромного, словно приподнятого по краям, круга земли, и под беспощадным солнцем земля казалась бурой, у дальней черты бежали струи воздуха, где-то поднялся ветер, и медленно двигался бурый столб праха. В слепящем свете съезжилась и выцвела станица, беззащитно обнажила убожество очеретяных, чуть поднятых над землей крыш, грязных копанок, пыльной глины, тусклых скудных подсолнухов, выбитой, нечистой почвы. Человек мало построил на земле, строение его непрочное, вот на ней, как искони, пустота, тишина, и ветер, и порождение их — эти люди, живущие в норах, как суслики, ярые, как вепри.

И с юношеской нетерпимостью князь почувствовал ненависть к дикой, бессвязной жизни, посреди которой он очутился, и высоким, дрожавшим от гневной обиды голосом крикнул:

— Аль вы не Русь?

Зипунник вдруг погорбился:

— Как же не Русь? Эко слово сказанул!.. Аль мы без креста?

И сразу неузнаваемо выпрямился, скинул долой, к шапке, и зипун.

— Твой, что ли, полки стерегут поле? Не-ет! Мы стережем! Мы оборона вам. И вам бы встать на защиту нашу!

Гремящим голосом, смотря на народ, точно и не было князя, он крикнул:

— Вооружи войско. Всю реку подыдем! В степях заморим Касимку!

И опять другим, ласковым, тихим голосом прибавил обычное на Дону присловье:

— Зипуны на нас серые, да умы бархатные.

Чуть заметно поморщился Коза: дикий конь опять готов скакнуть в сторону, настала пора его обротать.

Коза сплюнул в последний раз.

— Ин ладно. Казаки — под рукой государевой. Нас не

обидьте, а мы отслужим по обычаю своему, ты, князь, не бойсь. Вы — нам, а мы — вам.

Он сказал это как раз во-время. У михайловских ларей народ смешался, бабьи крики. Небось, соскребают по-следки.

А пока Коза говорил, чернобородый казак незаметно вышел из круга. На улице худенький парнишка вскочил, — шапчонка так и осталась на земле, — кинулся к нему — видно, долго ждал, да оробел, остановился.

— Ты что?

— С собой возьми! — выговорил парнишка.

— Куда ж брать-то? Я — вот он!

Парень проговорил быстро-быстро, как заученное:

— Язык пусть вырвут — молчать буду... Тесно мне.

В отваги возьми.

Казак с любопытством смотрел на него.

— А мне вот не тесно. Марьин сынок?

— Ильин! — Парень вспыхнул. С вызовом спросил: —

Мать, что ли, знаешь?

— Знакома. Где гулять собрался?

Мучительно покраснев до корней вихрастых волос, сердито сдвигая белобрысые брови, пролепетал:

— Алтын-гору сыскать...

Казак щелкнул языком.

— Далече!.. Разве ближе службишку?.. — Но так засияли глаза парня, что казак вдруг серьезно сказал: — Ноне. Сбегаешь к деду Мелентию. Ныркова Мелентия знаешь? —

— «Дед — долга дорога!» В станице он, как же!.. Бродяжит...

— У меня говорю — слушают. Отвечают — что спрошу. Передашь Мелентию: *хозяин работничков кличет*. Быть ему!.. — Казак глянул на небо, прикидывая: — засветло — не сберем, до утра прохладиться не с руки... — В полночь, в Гремячем Логу! Укладки мне нужны да юшланы. Понял?

Парень поднял горящее лицо. Казак досказал с ударением:

— Что ныне перемолвим — завтра ветру укажем по Полю разнести. Тайны тут нет. А тебя — пробую. Лишнего не выпытывай и болтать не болтай. У меня рука, гляди, — во!

— Всё, как велишь...

— Постой, не бежи! Огоньки пусть засветят в Гремячем — полевичкам виднее. Иных поведим. А Мелентий пушай... тебя, что ли, пушай с собой приведет. Только уж в мамкин шалаш до ночи — ни-ни, гляди!

— Дорогу в курень забуду.

— Эх ты! Дорогу домой николи не забывай, парень. Шапку возьми.

Казак остался один. Рукавом отер пот с лица — оно было пыльным, усталым. Сел, опустили плечи. Снял расхоженный сапог, размотал подвертку — на ноге кровоточила ссадина.

Протяжный, унывный послышался вдали женский голос:

Ой, там, да на горе зеленой...

Встрепенулся казак. Вскинул голову, глаза сощурились. Лилась песня и сливалась со стрекотней кузнечиков — широкая, как сожженный солнцем степной круг.

Мураву-траву вихорь долу клонит...

Слушал неподвижно, окаменев лицом, сжав губы. Потом обулся, разом поднялся, поправил шапку и сильным, твердым шагом зашагал прочь.

А на майдан донеслись плеск и хохот с реки. Вся она была в ладьях и стружках, парусных легкокрылых и весельных. Табун коней шумно вошел в воду, голые люди сидели на лоснящихся конских спинах. Вот оно, казачье, необычайное конное и водяное войско!..

Князь поглядел на будары, которые сейчас он велит разгружать.

Вверху, в нетленной синеве, таяла легкая пена облачков.



## ПУТЬ-ДОРОЖЕНЬКА

1

**К**расный одинокий глаз отверзся в ночи, и верховой направил на него бег своего коня; дробный топот наполнил смутно темневшую, сильно, по-ночному, пахнущую травами степь, еле уловимой чертой отделенную от густо засыпанного звездами неба.

Скоро стал различаться костер за бугром, дальше зияла черная пустота; там, невидимая под кручами, была река. Несколько человек сидело и лежало у костра.

— Здорово ночевали, — сказал верховой, спрыгивая с лошади. Зорко, исподлобья он всмотрелся в людей. Узнал двоих: деда — «Долга дорога», бродяжку, и Рюху Ильина, сына нищей вдовы. Прочие были не станичники, — полевиков теперь полным-полно. Только одного он видел раньше — человека со страшно посеченным лицом.

Никто не ответил, никто не подвинулся, чтобы дать место у огня. Лишь один из лежащих повернул голову и угрюмо покосился.

Приехавший, не выпуская из рук длинного повода, присел на корточках.

Люди продолжали свой разговор, скупно роняя слова, часто замолкая. Они говорили обиняками, и гость, потупясь, чтобы казаться безучастным, напрасно ловил смысл их речей.

Они считали какие-то юшланы (кольчуги).

— Пять еще, — сказал молодой с кроличьими воспаленными глазами. — Выйдет тридцать два.

Человек с цыганской бородой вдолг захохотал, и все его квадратное туловище заколыхалось.

— Журавли с горы слетели — бусы на речном дне собирать. Там двадцать, в илу... аль поболее!

Лежавший, тот, который раньше покосился на незваного гостя, угрюмо перебил:

— А у сайгачьего камня — запертый сундук, а в сундуке еще один. Белу рухлядишку-то сперва повытряси из него.

— Чай, попортилась рухлядишка? — сипло спросил человек, покрытый конским чепраком.

Замолчали. Потом откликнулся красноглазый:

— Ни, уже и не смердит.

Зашипел казан, подвешенный на жерди над огнем.

— Эх, ермачок! — сказал красноглазый. — Уха хороша, да рыба в реке плавает.

— И ложки у хозяина, — добавил посеченный.

Ермак — то было волжское слово: артельный казан.

Заезжий спросил:

— Волжские? С Волги, значит?

Его дразнил запах варева. Ответил человек с цыганской бородой:

— Мы из тех ворот, откель весь народ.

— Летунов ветер знает, наездничков — дол.

Красноглазый, помешивая в казане, оглядел заезжего:

— Не подходи — пест ударит, а ударит — сыт будешь.

И они продолжали вести свою непонятную беседу, буд-то забыв о нем.

Сырьостью погреба понесло от обрыва. Дед Мелентий, поживаясь, натянул шапку до самых глаз, водянистых, с желтоватыми отсветами костра.

— Студено... Владычица!..

Тогда человек в одной холстинной рубашке, сквозь раскрытый ворот которой было видно, как необыкновенно костляво и широко его тело, поднял лицо — длинное, с особенно резко выдававшимися дугами бровей. — и прислушался. Звенела и пела степь голосами сверчков, плакала одинокая птица вдали. Человек глухо сказал:

— Хозяин работничков шукает.

Рюха Ильин отозвался:

— В полночь обещал...

Но угрюмый злобно прикрикнул:

— Огонь поправь, сидишь!

И Рюха покорно, поспешно вскочил, рогатым суком разворошил костер. Выпорхнул пчелиный рой искр; прыгающая тьма раздалась и, впустив в пространство света голый, обглоданный куст, заколыхалась за ним, точно беззвучно хлопающие полы шатра. Красноглазый сунул в огонь сухих былин и хворосту. Черно повалил дым, и длинный парень Ильин согнулся как бы под внезапно опавшим шатром темноты.

Бородач кивнул на заезжего и его лошадь:

— Ой, не перекармить бы пастушку нетуха-то своего!

А угрюмый поднялся:

— Ты вот что. Тебе в станицу, я — попутчик. На коня посади, за твою спину возьмусь.

За пеньковой, вместо пояса, веревкой у него торчал нож. Озираясь, увидел гость хмурые, злые глаза, отпрыгнул и, очутясь на коне, погнал что есть мочи. Сзади раздалось шелканье бича и выкрик:

— Ар-ря!

Степь еще не поглотила топота коня, как со стороны обрыва послышался хруст и вдруг выступил из тьмы человек — он казался невысок, но коренаст, широкоплеч; блеснули белки его впалых глаз на скуластом плоском лице.

— Добро гостевать до нашего ермака! — приветствовали его.

— Ермаку мимо ермака не пройти...

Ильин метнулся к нему, он не поглядел, поцеловался троекратно с посеченным.

— Богдан, побратимушка.

Мигом опростали место. Застучали ложки. Ели в важном молчании.

Рюха Ильин был голоден, но есть почти не мог. Наконец пришедший вытер ложку рукавом и сказал:

— Так сгиб Галаган, Богданушка?

Все вытерли ложки. Богдан, приподняв черный рубец, рассекавший его бровь, стал перечислять погибших атаманов, — каждое имя он выкрикивал будто для того, чтобы слышала степь.

— Галаган... Матвейка Руцов... Денисий Хвощ... Третьяк Среброконный... Степан Рука...

Сдернул шапку с головы невысокий казак и молча посидел; потухающий костер бросал слабый медный блеск на скулы его и на ровным кружком-остриженные волосы.



И никто не выговорил ни слова, пока он не спросил:

— К Астрахани идет Кассим? Верно знаешь?

Тогда несколько голосов ответили:

— К Астрахани, батька. Девлета на Дон отрядил, Ермак!

Так звали его здесь: батька да Ермак, артельный котел — не бобыль и не вековуш.

— Что думают казаки в станице? — спросил Богдан.

— Казаки думают по-разному. — Ермак усмехнулся. — Савра-Оспу пытали: от кого вез ту турецкую грамоту. И не допытались. Иного забыли попытать: Козу.

Замолчал, ногой пошевелил подернутый пеплом уголек, закончил медленно, сурово:

— Двум ветрам кланяется атаман Коза. Два молебна поет: Ивану-царю и Кассиму-паше.

Бородач сказал:

— Нюхала вот только что к нам засылал. Мы песочку ему в ноздри понасыпали...

Так же сурово, медленно опять заговорил Ермак:

— Вот оно, значит. В Астрахани Волгу запереть хочет. Наша Волга! Так не дадим же паше обротать Волгу! Подыдемся все казаки, вся река!

Теперь он надел шапку.

— Сколько юшланов сочли?

Красноглазый парень сказал, что тридцать два.

— Мало.

— Где больше взять, батька? — И, шутя, он помянул то, что говорили цыганобородый да подпоясанный пеньковой веревкой: не на речном ли еще дне и не в гробах лисундуках искать?

Но с той же строгостью ответил Ермак:

— Казачьи уклады по куреням отворяем ради земли нашей. И гроба отворим. Воины там. Не взыщут, что призывали их пособлять казацкой беде.

Тихо, серьезно он вымолвил:

— Будет земля казацкая воевать вместе с нами!

Угас, в пепле, костер. Туман закурился над обрывом. Замолкла птица, и седая холодная земля отделилась от мутного неба на востоке.

Ермак поименно называл казаков — кому нынешним же рассветом куда скакать подымать голытьбу, подымать казачество, подымать реку.

— Ты, Богдан, — тебе на низ... Ты, Мелентий Нырков, смердову соху помнят твои руки, постранствуй еще — к верховым тебе... А тебе, Иван Гроза, — в Раздоры, в сердце донское!

И костлявый, большелицый Гроза застегнул ворот холстинной рубахи и подтянул очкур шаровар, собираясь в дорогу.

— Ножки-то любят дорожку, — сказал Нырков. Спокой — он в домовине спокой. Парнишку со мной отпусти, Гаврилу. Красен мир, владычица... пусть подируется!

Указан был путь и Цыгану, и красноглазому Алешке Ложкарю, и угрюмому казаку Родиону Смыре. Ермак встал.

— Не бывать же так, как хочет Коза! Время соколам с гнезда вылетать!

Казачьи, кто сидел, тоже повскакали. Назначенные в путь первыми тронулись от пепелища костра.

— Постой, — остановил их Ермак. — Да объявите: волю отобьем, — пусть готовится на Волгу голытьба. Погулять душе. Скажи: не Козе, не царю — себе волю отбиваем!

2

Поднялась река.

По росам одного и того же утра из станиц, городков и выселков на приземистых коньках, с гиканьем, свистом и песнями вылетели казачьи ватажки. В степях, где-нибудь у кургана, у древнего камня на перепутьи неприметных степных сакм — собирались они в полки.

Только что вывел Бурнашка Баглай на середину круга черную, плечистую, большерукую женщину, прикрыл ее полой, снимая бесчестье с немужней жены, печаль с горькой вдовицы, только что «любо, любо» прокричали в кругу, а уж сидел беспечальный исполин в седле, кинув жену свою, Махотку, в станице, — и чуть не до земли пришлось опустить ему стремя: казалось — задумайся он, и конь проскочет между его ног, оставив его стоять.

Сладко сжималось сердце Гаврюхи, когда в первый раз поскакал он с казаками в широкую степь.

Для грозного удара размахнулся султан — «царь над царями, князь над князьями». И, конечно, не какая-то хмельная ссора казака с азовским барышником была при-

чиной этого удара. Сказочно, неудержимо выросла Русь. Вот она уже на Каспии. Вот уже по Тереку прохаживаются русские воеводы. И русский Дон течет к турецкому Азову.

Две руки протянули султан и Гирей-крымский: одну — чтобы задушить русскую Астрахань, другую — чтобы задушить Дон.

По степной пустоте пришлось тянуть те руки, через Дикое Поле вести не только конницу, но и тяжелое войско.

А вокруг него закружились казачьи полки и ватаги.

Они отбивали обозы. Они истребляли отсталых и тех, кто отбивался от лагеря. Они резали пуповину, соединявшую войско с Азовом.

Незримая смерть проникала каждую ночь и внутрь турецкого лагеря, вырывая из числа верных слуг паши десятки крымцев и янычар.

И паша, истомленный этой войной с невидимками, отослал самые тяжелые пушки назад в Азов, чтобы облегчить войско, и только легкие волоком поволок через степи.

А казакам не надо было волочить пушки. На своих конях, быстрые и потаенные, как волки, казаки рыскали вокруг вражеского стана, укрываясь по балкам, ложбинкам, за низенькими бугорками. Из шатра паши в темноте доносились звуки струн. Повозки двигались с войском. В них были женщины, сундуки с одеждами, походными вещами паши и казной.

Рюха жил, как и все, — на коне. Часто спал, не слезая с седла. Ел овсяные лепешки и черные, выпревшие в лошадином поту под седлом ломти конины и баранины.

Турецкая оперенная стрела пронзила ему плечо.

Бурнашка стал лечить рану травами. Он знал мяун-траву, царь-траву, жабий крест, Иван-хлеб, плакун-траву. Возясь с листочками и корешками, он пространно рассказывал об их чудесных свойствах, и свойства эти были неисчислимы, потому что каждый день Бурнашка говорил о них все по-новому.

— Ты помни, Гаврилка, — неизменно заключал он тонким голосом, важно качая головой, — я теперь отец тебе!

Рана зажила.

Поредевшее войско паши подошло к Астрахани. Воевода Петр Серебряный затворился в городе. Там было неспокойно. Питух у кружала грозил смертью боярам, вплетая

в русскую речь татарскую брань; открыто кучками собирались недавние ордынцы, помнившие еще хана.

Паша выстроил перед крепостью свою деревянную крепость. Он стоял за нею до осени. Пыльные вихри вертелись по выжженной и вытоптанной земле. Но когда люди паши стали мереть с голодухи, паша сжег свою крепость и побежал степью к Азову.

И снова невидимые казачьи рои облепили его, обессиливая и добивая.

Тысячи турок и татар полегли в степи.

Потянулась назад вся рука — войско Кассима, не оставаясь одному и пальцу этой руки — Девлету. Но Девлет-бей был батырь. Он уходил последним. Ни голод, ни жажда, ни казачьи засады не могли сломить его. Он охотился за казаками так же, как те охотились за ним. Он появлялся внезапно там, где его не ждали, и когда казаки залегали на его пути, он налетал на них сзади, так что они сами попадали в западню.

И однажды на том месте, где ночевал Девлет, наутро нашли казаки, посреди вытоптанной травы, пять колов. Пять страшных, мертвых, обнаженных тел были насажены на колья. Ноги их были обуглены — их поджаривали заживо. Мухи облепляли черные вывалившиеся языки мертвецов.

Еле узнали казаки своих товарищей. Поскидали шапки и, спилив колы, в молчании зарыли вместе с трупами.

Постепенно казачьи ватаги отстали от неуловимо уходящего Девлета. Лишь одна ватага все гналась за ним. И она настигла его, и в отчаянной сече схлестнулись казаки с башибузуками. Тут увидел Гаврюха, как рубится, гикая, высоко вздернув рассеченную бровь, Богдан Брызга, Ермаков побратим.

Казаки вели бой так, чтобы отсечь Девлет-бея от его людей. Он не хоронился за своими, с бешеным воем он вынесся вперед, на казаков, когда увидел, что отступить поздно. И его завлекали, дразня, до тех пор, пока, смешавшись, кидая позади себя раненых и мертвецов, не повертели коней и не кинулись врассыпную его люди, оставшиеся без начальника. И все же его не смогли взять. Он убил нескольких казаков, подскочивших к нему, и поскакал на арабском коне, опережая преследователей.

После долгой скачки Девлет огляделся. Конь шатнулся под ним. Тогда он бросил отслужившего коня и прило-

жил ухо к земле. Земля молчала. И Девлет подумал, что вот он вовсе один в степи.

Но он не был один. Был казак, не потерявший его следа. И конь этого казака тоже пал.

Когда Девлет остановился, этот казак сделал круг около него. И голод, и жажда равно мучили обоих. Казак этот был тонок и худ, ни ружья, ни лука не осталось у него. Но с бесконечным терпением, терпением самих степей, продолжал он свою охоту за силачом.

Девлет петлял, он то шел нетвердым шагом, то останавливался. Казалось, у него не было цели. И, потаенно следя за ним, так же петлял казак.

Снова на то же место в степи вернулся Девлет. У круглого усохшего болотца он сел, пригнувшись, как заяц. Взлетела стайка птиц, вспугнутая ползущим казаком. Девлет почти не шевельнулся, только поправил длинное ружье между коленями. Казак закричал, как кричит в лугах птица выпь, и бесшумно, по-змеиному, опять отполз в сторону. Медленно он очертил дугу, — она привела его в тыл болотца.

Так они провели долгие часы: один — оцепенело сидящий, другой — изнывающий от жажды, подвигающийся вершок за вершком. За кочками он увидел бритый затылок турка под шапкой, вдавленной посредине так, что бока ее подымались, как заячьи уши.

Тени поползли по степи. Ночь облегчит внезапное нападение, но легче и потерять во тьме того, за кем шел казак неотступно вторые сутки. Но лучше ли, хуже ли будет ночью, — казак понял, что ждать до ночи у него неостанет сил.

С хриплым криком он вскочил. Петля аркана рассекла воздух.

Он рванул аркан, когда петля легла вокруг могучей шеи турка. И странно безропотно, будто готовый к этому, рухнул Девлет.

...Гаврюха пал лицом вниз, он лизал и сосал болотную землю. Ночь он не сомкнул глаз, сидя на корточках возле скрученного молчащего Девлета, в чьих зрачках волчьими огоньками тлел отблеск звезд.

Утром казаки выбрали Гаврюху и его пленника.

И молча, как тогда, когда погребали замученных на колах, смотрели теперь казаки на виновника казачьих мук,

на Девлета, который пожигал станицы, младенцев вздевая на пики, и никогда не ведал жалости и пощады.

Кто полонил его, тому следовало и порешить: должно отвердеть казачье сердце и стать как камень к врагу.

Гаврюха взял в руки отрубленную голову. Она казалась очень маленькой, очень легкой, — и, удивляясь самому себе, Гаврюха понял, что никак ему не связать этот предмет с той настоящей, ненавидящей головой, которую Девлет сам положил на камень...

В станице Ермак обнял и поцеловал в губы Рюху и в первый раз сказал:

— Илью, отца твоего, знал.

И вдруг усмехнулся чему-то своему:

— Хотел батыром стать, да на волос не вытянул Илья: до бабы слаб был. Гляди!..

А Баглай-исполин повесил на шею парню ладонку с вороньими костями, чтобы жил он сто лет, как ворон.

Через год казаки основали город Черкасы, в шестидесяти верстах от Азова вверх по Дону.

Но и в задонских степях по утрам золотом горела и пылала Алтын-гора на краю неба, и было до нее так же далеко, как и в то тихое утро у молчаливой белесой реки.

### 3

Было слышно, как проскакал во двор через ворота конь, как на его ржанье откликнулось заливистое, тонкое, басовитое, игривое ржанье изо всех углов двора, как следом спрыгнул с коня дородный всадник и как он хозяйственно похаживал, спрашивал, распоряжался, кричал, с удовольствием пробуя силу своих легких, и ему споро, охотно отвечали мужские и женские голоса.

В горнице было опрятно, просторно, сквозь окна узорно падал косой вечерний свет на шитые рушники, висевшие на голубоватых, с синькой беленных стенах, откуда-то доносился вкусный дух жареной снеди, и с ним смешивался свежий запах воды, листвы и молодых цветов, лившийся снаружи.

Хлопнула дверь; быстрой упругой походкой вошел красавец в однорядке, русая, с рыжинкой, борода его, казалась, развевалась от стремительного движения.

Он увидал ожидавшего человека и тотчас, с довольным

изумлением, приветствовал его, наполнив горницу раскатами своего голоса, и, хотя был человек невзрачен, в сермяжном зипуне, усадил его в почетный угол.

Человек завел разговор и, поклонясь, попросил снастей — на Волге рыбку половить.

Так он сказал по обычаю, но Дорош ответил не на слова, а на мысли, и громкий голос красавца в однорядке, как и каждое движение ладного тела, говорили, что хозяйственно-хлопотливая его жизнь радостна и прочна, что скрываться и вилять ему нечего и незачем утишать голос, раз его бог таким дал, — «вот он весь я!»

Дорош сказал, что гульба казаку не укор, что каждому своя голова советчик.

С любопытством, улыбаясь, поглядел на гостя:

— Простора ищешь?

И гость, тоже улыбнувшись, ответил:

— Всяк ищет простора по силе своей.

— Аль на Дону не красно?

— Бугаю красное — тошнехонько, — ответил гость и опять как бы в шутку.

За окнами раздался топот, крики, смех. Работники гнали в ночное дворовый скот.

— Сила! — сказал Дорош. — Думаешь, и я, молод был, на гульбу не хаживал? Да только вот она где — сила!

Гость мирно согласился:

— Коньки гладкие.

— Эти вот? Этих для домового обихода держу. Табунов моих ты не видел. На дальних лугах лето целое, на медвяных травах. Человека не подпустят, зубами разорвут, не кони — звери лютые!

— Голяков бы к тебе в науку...

Дорош весело захохотал.

— Хмельной колобродит: раззудись плечо, горы сворочу. А проспится — пшик своротил. Жизнь — она такая, какую кто похочет.

— Конечно, — поддакнул гость. — Котельщик гнет ушки тагану, где похочет.

Ничего не ответил Дорош, только вдруг лукавым шепотком, потянувшись к уху гостя, спросил:

— В царевой службе не служил ли ты? На ливонской войне под Ругодивом<sup>1</sup>? И под городом Могилевом?

<sup>1</sup> Нарва.

Гость отстранился.

— Не корю, что ты! — успокоил Дорош. И с той же лукавой настойчивостью продолжал: — Величать-то тебя как? Слышу: Бобыль. Слышу: Вековуш. И впрямь, векуешь бобылем. Корня пускать не хочешь...

И приостановившись:

— ...Слышу: Ермак.

— И Ермака знаешь?

— Дома-то, на Дону, как не знать! А еще: Василий буд-то ты, Тимофеевич, значит, по батюшке.

— Поп крестил, купель разбил...

— Имечко с водой-то и убежало, а?

Дорош довольно рассмеялся.

— И молод ты вроде, атаман...

— Да ворон годов не сочтет?

Тогда Дорош согнал улыбку, от которой лукаво светилось все его красивое лицо.

— Умен. Важнее нет для казака... — Остановился и серьезно, трубно громыхнул: — ...для славного нашего Дона. Вот о нем и помни. Донская правда — атаманская правда. Тебя же зовут атаманом. Правда голытьбы не про тебя.

— А казацкая правда, голова-хозяин?

Дорош сдвинул густые брови.

— Знаешь ли, чего ищешь? Ты галаю на слово не поверь, даром что тоже зовется казак. Ты попытай его: что у него под зипуном? Холопья рубаха — вот что! Мы, вековечные казаки, мы одни — Дон!

— Истинно, — опять поддакнул гость. — Окаянным — окаянная правда. Только я уж поищу, голова-хозяин, той казацкой правды, уж поищу, не взыщи.

Чуть раскосыми глазами, как бы мимоходом, поглядел в лицо Дорошу.

— Коли птицы всю склевали, там поищу, куда и птицы не залётывают. Найду и на Дон приведу, ой, гляди!

В ответ грохнул Дорош кулаком по столу.

— Всякого, от кого поруха реке, жизни не пожалеем, скрутим!

И, словно переждав, чтобы хозяин сказал, что надо, лукавые смешинки опять вернулись в его глаза.

— А погулять, что ж, — твоя голова, — я снаряжу. Ищи белой воды, а то, может, лазоревых зипунишск. Речам же твоим не верю. Настанет пора, сам не поверишь, атаман.



К нам вернешься. Потому струги и пороху дам, зерна отсыплю...

Они заговорили о зелье, о снасти и о доле из добычи, которая после возврата казаков с Волги будет причитаться Дорошу.

— За тобой не пропадет: вот этому верю.

Теперь, когда все сладилось, он кликнул:

— Алешка!

Из соседней горенки со жбаном в руках вошел Гнедыш, сын Дороса. Все у него было, как у отца, но был он меньше, тяжеловатей, чернее волосом, толстогубый. Будто к каждой черте примешивалось нечто, отчего мельчала она, набухала, лениво оплывая. И в глазах Гнедыша, по-отцовски круглившись, не было отцовских золотистых смешинок, но совиным отливавшая желтизна. Жена Дороса давно умерла, говорили, что Алешка Гнедыш — сын ясырки-арнаутки, сырой и тучной, жившей в доме Дороса долго — до той поры, пока в возраст пришла девушка, которая сейчас, следом за Гнедышом, показалась в горнице с блюдом в руках. Она была простоволоса, сильная, высокогрудая, с золотым жгутом на затылке, и неслышный, легкий ее шаг говорил, какое наслаждение двигаться ее молодому телу.

Не поглядев на сына, с какой-то заботливой нежностью обернулся к ней Дорос:

— Уморилась? Задомовничалась?

То ли объясняя гостю, то ли для того, чтобы особенно ласково назвать девушку, он сказал:

— Рыбалка моя! Найдёнушка...

Она поставила блюдо.

— Не, на бахче посидела. В подпол лазила... Тебя ждала!

Дорос глянул на сына и, как бы объединяя его взором с девушкой, сказал:

— Мой Алешка побратался с Гаврюхой Ильиным. Пальцы порезали, кровью присягали. Ребятчья блажь... Вот она — правда!.. Да я не про то. Я тебя по-отчески спрошу: где ж твои сыны, атаман? Всех, небось, по свету посеял — себе ни одного. Не себе сеял — другие и пожнут. Ну да...

Отмахнулся рукой, точно все отстраняя, взял с блюда серебряный ковш. То был почетный ковш, государев дар, сберегавшийся с самой Доросевой службы в Москве.

— Во здравие тихому Дону.

Выпрямился, головой почти касаясь притолки. Подал ковш гостю.

— Во здравие великому синему Дону! — ответил гость.

4

У станичной избы глашатай кидал шапку вверх:

— Атаманы молодцы, послушайте! На сине море поохотиться, на Волгу-матушку рыбки половить!..

А когда собралась вокруг голытьба, глашатай перевернул шапку донцем книзу. И в нее посыпались медные деньги.

Три дня пропивали угощение атамана ватаги — бобыля Ермака. Потом стали собираться на гульбу. Мочили ружья рассолом, чтобы железо, тронувшись ржавчиной, не блесло: на ясном железе играет глаз.

Шестьдесят плотников чинили и строили ладьи.

Гаврюха приходил на берег: он любил слушать, как визжали пилы, тюкали топоры, смотреть, как при ладном перестуке молотков крепкими деревянными гвоздями шивались доски. Белые ребра стругов, словно костяки гигантских коней, высились, занимая весь плоский берег. Потом они одевались мясом. Иные ладьи были десять сажений длины. По борту их обвязывали лычными веревками, сплетенными с гибкими ветвями боярышника. Смолисто пахучие, чистые, без пятнышка, вырастали чудесные кони. Парень поглаживал их гладкие бока, готовые поднять и без отдыха, без усталости понести сотни казаков, все казацкое воинство в могучем беге по живой, по широко катящейся водяной дороге туда, в неведомую ширь приволья, где всходит солнце, и туда, где рождается ночь, — куда не занести седока никакому коню...

Чадно валил дым костров — варили вар смолить суда. Камышевые снопы, удержанные обводными веревками, уселись вдоль бортов: укрытие от стрел.

На ладьях был руль спереди и руль сзади; что нос, что корма — одно и то же, — чтобы не тратить времени на повороты.

Плотники работали, голые до пояса. Маленький старичок, не скидавший рубахи, давал ополдень знак отдыхать. Люди садились на песок, на доски, на кучи стружек.

Полдничали. Старичок, кусая свой ломоть, подзывал Гаврюху.

— Ладные стружки, — говорил старичок, — ладные. Ничего... разумные, кзень. Сколько по земле ни ходи, не найдешь больше таких. Ни у турок, ни у немчинов. Наш, кзень, русак выдумал! Ты примечай, учись, казачок...

Говорил ласково, охотно, дребезжащим, старческим, голосом и часто прибавлял какое-то свое, одному ему понятное, слово «кзень». Так и звали его в станице дед Антип Кзень. Как звался он раньше — забылось.

Слушать старика было приятно. Гаврюха усаживался подле.

— А как же ты, дедушка... ты-то и к немчинам, и к туркам хаживал?

Гаврюха еще вытянулся, стал длинноног, тонок, но лицо его, погрубевшее, оставалось без следа бороды и усов, как у мальчика.

Удивительные вещи рассказывал старик.

— Пуста земля стала, — ласково уверял он. — Я-то знаю. Я те скажу: пусто, кзень, на миру стало. Люди-то, люди повывелись, какие прежде были. Атамана Нечайка знаешь? Знаешь Нечайка?

— Нечайка?

— Мингала? Бендюка? Десять казаков нонешних на копье поднять бы мог. Как закрыл очи Бендюк, прах его возвысили на гору висо-окою — все Поле глядело, чтобы вечно, кзень, жила слава. Да я вот один про то и помню...

Старичок посмеялся чему-то, погладил свои тощие, сухонькие руки, почмокал губами.

— Струги-лебеди на море черном... Стены Царьграда, колеблемые, как тростник ветром... Атаманов голос — орлиный клекот... Сила! Девять жен было у меня — тут на реке, в желтой орде, в сералях бирюзовых. И они, казачок, не вылюбили той силы, огонь-вино не выжгло. Да, вишь, сама, сама, кзень, вытекла.

Он утвердительно и как будто сокрушенно покивал головой, но глаза его светились радостью. И Гаврюха, лежащий подле него на животе, подперев руками щеки, подумал, что глаза старика похожи на донскую воду.

— Тебе не быть таким, не-е... а все ж, может, возрастет, добрый будешь казак. На гульбу идешь... ты не бойся. Ничего, кзень, не бойся. Смерти не бойся. Чего се бояться? Всем помирать. На царя в хоромх ветру дхнуть не дают. А он выйдет, царь, из хором и пойдет один-оди-

нешенек встречу тому, чего страшился пуще всего. — Он ласково засмеялся. — Ты это и пойми. Глянь-кось! Я десять, кзень, смертей изведаль. Тело года сглодали. Ничего глотать и не осталось — нечем пугать меня. А я — вот я. Вся жизнь — со мной. Ты послушаешь — тебя поучу. И другого кого еще поучу. Славе поучу — и жив казачий корень!

Говоря, старик медленно потирал друг о дружку босые ноги и в руках плел что-то из травинки, словно все его сухонькое тело никак не могло быть в покое, в ничегонедельяни, без трудового движения.

Гаврюхе сладко и почему-то страшно было слушать старика. Он знал, что звали его еще «Столетко», а иные также «Бессмертным». Весь он, иссохший, темный, с морщинистой кожей, будто присохшей к костям, казался парню существом непонятной, нечеловеческой породы, и шевелящиеся ноги его, худые, синеватые, скрюченные, с криво вросшими темными ногтями, напоминали ноги ястреба. Гаврюха оглядывал свое смуглое, гладкое, стройно-тугое тело и с радостью думал, что невозможно, невероятно ему дожить до ста и стать таким.

А дед Антип меж тем поднял глаза на солнце и, вострепенувшись, стал упихивать торбу под тесину, чтобы случаем не замочило дождем.

— Эх, теплый песочек, согрел старые кости!..

Разминаясь, крикнул:

— А ну, работнички!

Опять затюкали топоры, застучали молотки, запела пила:

Быстро ест,  
Мелко жует,  
Сама не глотает,  
Другому не дает.

5

Тут стоял голубец.

Пухлым мхом одеты его ветхие доски, пустое гнездо лепилось под узенькой кровелькой. Бог весть, кто его ставил и зачем — ни креста, ни иного знака не было на нем: столб с кровелькой и лебеда у столба.

И ржавые каменья по всей низине, — просто ли раскиданы они среди белых перьев ковыля или с умыслом положены в давнюю пору над старыми костями...

Парень и девушка сидели у столба. Они отговорили, отсмеялись, ведь и сейчас еще там, откуда они пришли, за горбом, толпился народ, ели круглики-пирогы с перепелками, думму — мясо, кислое от овощей, лизни — языки с соленьями, запивали пенником жилистых жареных журавлей, — шумел и гулял пир на росстанях. Назвенелись бусы на шее у девушки, когда она, хохоча, поминала про товары, разложенные на светлых травах ловкими приезжими гостями! А теперь тишина покорила и ее, и худого длинноногого парня, — они примолкли, изредка перекидываясь фразами, только горел еще румянец на девичьих щеках.

А он выскабливал сердцевину в черенке, отстругивал, округлял срезы, просверливал дырочки — пока, поднесенный ко рту, не запел черенок.

Тогда он передал дуду девушке, дурашливо поклонившись.

— Сбереги.

— Я сберегу, — серьезно ответила она.

Опустив глаза, она сплетала стебельки желтеньких цветочков — навьих следков.

И не заметили оба, как во внезапном сумраке угасло солнце и особенно бледно, матово заблестела река. Дожнуло, зашелестело вокруг, плеснула вниз волна — и вдруг темной, почти лиловой синью налилась водяная поверхность, и ветер рябью прошелся по ней.

И неожиданная тьма заставила людей поднять головы.

На краю балки белая худая лошадь каталась по земле. — Ой, дождь! — сказала девушка.

Туча накрывала небо, и вокруг еще синё сверкало, и от этого крутые и дымно-стывые края тучи казались опаленными, но росла, набухала, разверсто грозной была ее середка, и холодом веяло оттуда.

Девушка зябко поежилась. И оба, застигнутые грозой, тесно прижались к столбу. Первые, тяжелые, шлепнулись капли. Они ударили о землю, слабо зашипев, и покатались, обернутые теплой пахучей пылью, как голубые шарики.

Рвануло, громынуло, — и вот сладкий, глубокий, облегченный вздох вырвался изо всей земли. Все смолкло, стихло, неподвижно застыло на ней. Исчез, как и не было, холодок, тепло изливала млеющая распахнутая земля. И сразу все запахло, даже то, в чем неоткуда бы, ка-

залось, взяться запаху. Пахло дерево, пахла трава, пахла река, пахла глина и перегной. Пахли песок и камни; пахли черные кучки у раскрывшихся норок дождевых червей. Будто сняли печать со всех скрытых пор, и каждая вещь обнаруживала свой тайный, ни на какой иной не похожий запах.

Всего несколько мгновений длилось это.

Полыхнуло; железом заскрежетало и рухнуло что-то вверху, и разом, словно в зазиявший пролом сорванных ворот, хлынул ливень.

Сквозь гремучий сумрак было видно, как мгновенно ломались и плющились круги и волны ряби, показывая скорое течение реки.

Парень почувствовал, как приникло к нему прохладное плечо девушки. Он искоса взглянул на нее. Плотное крепкое молодое тело обозначилось под мокрым платьем. Медленно, сильно ходила ее грудь, вода катилась с растрепавшихся порыжевших ее волос на голые руки, и он увидел выражение счастья на ее лице.

Шопотом он позвал:

— Найденка! Фрося!

Пучок жестких травинок бился и мотался в двух шагах от них, словно его трепало вихрем.

Тоже шопотом она отозвалась:

— Что? Что ты?

Снова он ощутил, как она, чуть вздрагивая, теснее прильнула к нему. Но он не смел коснуться ее.

Еще темней стало, мгла затуманила все окрест... И люди молчали, съежившись, прижавшись друг к другу.

Вдруг, в самой черноте, открылся просвет. Где-то, далеко за рекой, выхваченный из мрака, озарился зеленый скат, и посредине его сверкнула огненная точка. Еще прилежней выпевала, выборматывала, хлюпала вода на затопленной земле; поднялась и повисла тонкая пыль. Но сквозь нее сиял далекий одинокий отблеск на гладком холме, таком чистом и ярком, что он казался парящим в воздухе.

— Благодать... Глянь, глянь-ко, — шепнула девушка.

Синяя косынка легла на реку; струи дождя стали стеклянными, и, как большие руки размели муть, открылось окно в выси.

— Ласточка! — сказал парень. — Ясноглазка!

И он выговорил:

— Ты не жена ему... Я ворочусь, касатка!

Он видел, как пальцы ее мяли желтенькие цветы в крошечных блестящих бисеринках. Потом она повернула к нему свое лицо.

— Молчи про то... не говори.

— Чего велишь молчать?

Она еще помедлила.

— Сама скажу. Сирота я... знаешь ты. Мать от крымцев спасалась, легла в огневице, добрые люди меня и взяли. Найденкой выросла в курене. И не сведаю, жива ли родимая мамонька...

Он не отрывал от нее взгляда. Ему показалось, что легкая тень прошла в глубине ясных, серьезных ее глаз с двумя искорками от солнца. Под мелкими слезинками воды был виден пушок на ее верхней губе.

— Выду до света — река под кручей, огоньки тихие — рыбалки не спят. А мне бы крыла — полетела б, все б сочла: учуги, лисьи норы, костры на плесе... Где тропку протоптала — бежит моя тропочка, со мной солнышка дожидает.

— Что он тебе?

Твердо ответила девушка:

— Казак он. Крепка душа его. Вот как Дон-река. Никому не поддастся и красы донской никому не отдаст.

— Широка земля. Утешно на земле, Фрося.

Она качнула головой.

— Ты — легкий. Пахнёт низовка — где ты? В сторонку каку сдунет тебя?

И сказала певуче, по-бабьи:

— Сердце горит твое. Понесет оно тебя искать то море, что зальет его. А мне донскую сладкую воду пить вовек...

Вдруг бровь ее дрогнула, как-то жалко скосились глаза, будто всплескивая, она вскинула руки, обхватила ими парня, и он почувствовал ищущие горячие губы на своих губах.

— Во... — сказала она, отнимая губы. — Рюша... Рюшенька.

Тогда он встал.

— Прощай. Больше и не свидимся, лебедушка!

Оправила влажное еще платье, слабо улыбаясь.

— Привези алтын с Алтын-горы, хоть копеечку, хоть грошик...

Отойдя, он оглянулся. Скуластая, невысокая, девушка стояла у столба, и лицо ее, вырезанное на бледной, по-вечернему мглистой реке, показалось ему сияюще-прекрасным.

Он осторожно коснулся языком губ, чтобы не спугнуть того, что уносил на них.

Рукой провел по голове — выскобленная наголо гонуэцем-брадобреем, она была, против волоса, шершавой и колкой, как ячменный колос.

6

Последние чарки допили станичные, сглаживая дорожку отъезжающим.

Там, в пути, не пить им больше горячего вина, над жизнью их и смертью волен избранный атаман.

Когда садились в струги, грянула старая гулевая песня с забытым смыслом освященных обычаем слов, — песня, некогда родившаяся, может быть, на другой, западной великой реке древней славянской гульбы. Сотни мужских голосов с обрядовым свистом, с разгульной истовостью выговаривали:

Да вздунай-най дуна-на!  
Да вздунай Дунай!

Тронулись — и вот уже ни толпы, кидаящей шапки, ни пестрых бабьих летников и платков у мазаных хат; не видно и недвижной рогатой кики на берегу, старенькой кики, которую надела черная большерукая женщина, провожая на восток сына, как некогда провожала мужа. Только желтый вал в терне и дерезе — все меньше, все короче. Маленький бугорок, затерявшийся среди других бугров...

Накатила степная ширь, сомкнула круг.

Атаманская ладья была передней, но вскоре гребцы на ней подняли весла, а Ермак встал и стоял, пока мимо не пролетели с песнями все струги.

Встревоженная веслами вода разгладилась, небо с пуховыми облаками, сверкая, опять поплыло в ней. Илистая свежесть подымалась от этого водяного неба; атаман сел, следил за быстрым, бесшумным, близким — рукой достать — полетом стрижей. Он не думал о красоте и вольности синего опрокинутого простора, да и не прислушивался к мягкому шелесту струи у бортов, только глубже и



ровней дышала его грудь, и ласка ветра перебирала его жесткие короткие волосы.

Он окинул взором весь строй бегущих стругов. Взвилась стайка диких гусей и, как курящийся дымок, кружила над тростником. Головной струг слишком выбежал, линия чуть изломалась.

Сложив руки трубкой, он крикнул:

— Ертаульный!

Мальчишеский голос впереди звонко подхватил:

— Ертаульный! Вёсла-а!..

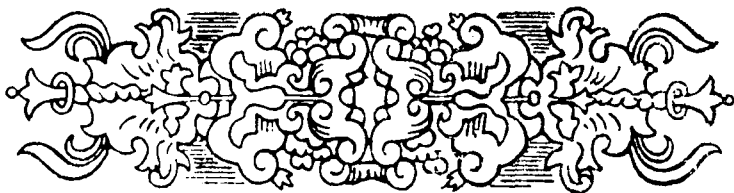
И за Гаврюшкой Ильиным, молодым казаком, повторили команду дальше на стругах, и покатились она к головному.

Там замерли весла, табаня.

Мимо всех стругов снова гоголем прошел вперед атаманский струг.

Так плыли казаки вверх, чтобы свернуть в Камышинку, на былинный путь, и оттуда поволочить струги волоком.

— Ты прости, ты прощай, наш тихий Дой Иванович!



## НА ВЕЛИКОЙ РЕКЕ

1

**Б** ыли моровые поветрия. Голод навещал села и города. Деревянные сохи ковыряли в земле мелкие борозды. Вея жито, мужики подсвистывали ветру, чтобы он не принес порчи.

В вотчине боярина Рубцова шла жизнь такая же, как и везде. Снег бурел, проваливался под ногами весной, тянуло сырým туманом и дымом, и скоро на проталинах все гуще и крепче начинала щетиниться молодая зелень. Люди сбрасывали зипуны и расстегивали за работой ворот рубахи. В березовых островках, опушенных тонкой листво́й, перекликались веселые голоса. В это время молодые спрашивали у кукушки, сколько им жить, и кукушка щедро отмеряла им век без конца и краю.

Но ели хлеб с мякиной. Зимой домовой скребся в запечьи, ухал и выл под дверями. Темный бор шумел за деревней. Народ прирос к земле. Народ был боярский.

Время от времени кто-нибудь вытягивался во весь рост под образами. Теперь он лежал нарядный. На него надевали белую рубаху. Он избыл кабалу. С бревенчатой колоколенки маленький колокол провожал рубцовского мужика на погост, вокруг которого жидко колосилась рожь с куколем и васильками. Поп говорил об умершем:

— Райскую сень зрит: серафимы серебряными крылами веют...

Доходили вести о войнах, об ордынских набегах. Старикн отсчитывали время по солнцеворотам.

Верховые влетели в деревеньку. У седел их моталась мотала и собачья голова. Это значило, что они, как собака, вынюхивают и грызут государевых злодеев-крамольников и выметают измену.

Наехавшие ворвались в боярский дом, сорвали замки с сундуков и ларей, посекали то, что нельзя было взять, выбили окна и подожгли дом. Боярский управитель ломал шапку на крыльце. О нем вспомнили, когда кончили свое дело, и вздернули на крюке в дверной коробке, напутствовав: «Сгинь, рубцовское семя!»

Ветер дул два дня, серое марево поднялось над соснами и березами.

На четвертый день приехал новый господин, кому досталась вотчина опального Рубцова. Мужиков, баб и девок собрали перед избой, где он стал. Был он высок, строен, кудряв волосом. Он сказал об утеснениях царю и царству, о врагах — ляхах, ливонцах, крымцах. Говоря, закидывал вверх мальчишескую красивую голову. Он говорил, что велика Русь и непобедима, а нету времени для лености и для отдыха на ней, оскудевает государев кошель, и оружные люди нужны царю.

Староста низко кланялся и величал господина князь Семен Дмитриевич.

Он поездил и походил по вотчине. Все он будто хотел видеть, мешался в мужичьи дела, захаживал в избы, но все делал наспех, начавши разговор, конца не дослушивал, гнал старосту, подгонял мужиков, и мужики хоронились, когда видели, что к ним жалует торопыга. А бабы укладывали ребят, как больных, и голосили над ними. Дернув уголком рта, сжав губы, князь поворачивал прочь из избы: он не выносил немощей.

Когда окончился княжеский обход, из крестьян выкололи дани и пошлины за прежнее и еще впредь — все, что за душой. Взяли и новые, о которых не слыхано было до того, полоняничные деньги — на выкуп, так велено было объявить, русских полоняников из вражеской басурманской неволи. Бабий плач покотился по деревне. Угрюмо, с недоброй усмешкой собирались шабры у своих разоренных дворов.

— Вы что, воровать? — бешеным, высоким, срывающимся голосом крикнул князь.

У боярского двора поставили кобылу. Начался скорый суд. Князь, подняв тонкий излом бровей, сам отстукивал

костяшками пальцев по ручке сиденья удары кнута. Первый из наказанных мужиков не встал и после того, как его окатили холодной водой. Трясущийся поп наскоро отмолился над ним. Господин уехал, не прожив недели: торопился в поход, с собой увез десятерых — четверо из них пошли охотой радеть царю.

Они уехали на солнечный закат. А один из посеченных отлежался день и вышел за околицу на восход солнца, носом потянул воздух. Воздух был горьковат: то ли от гари где-то дотлевающих головешек, то ли от полыни, и тусклая пыль, степной прах носились в нем.

Еще двое — каждый сам по себе — ушли из Рубцовки. Потом эти люди столкнулись невзначай в лесу.

— А я с курой к куму, — сказал битый кнутом, сурово глядя в лица односельчан. — Кум у меня на выселках.

Другой ответил:

— А я по грибы собрался, у тебя лукошко спросить хочу.

— Грибы не растут в моих следках, я не леший. Ищи у тещи на гумне.

Третий стоял молча.

Потом битый двинулся дальше. Двое других пошли за ним поодаль, скрываясь друг от друга.

Они снова нагнали его, когда он вынул пищу из торбы, чтобы закусить.

К вечеру похолодало. Второй собрал валежник. Третий развел костер.

С тех пор они шли вместе.

Робкий был Степанко Попов, по грибы собирался Ивашка Головач, куру придумал Филька Рваная Ноздря: он уже и раньше бегал от боярского кнута из Рубцовки, но его тогда пригнали назад с отметиной от клещей палача.

## 2

Цепью городишек и острожков между Сурой и Окой заканчивалось на юго-востоке Московское царство.

Теперь с удивительной быстротой возрастало их число: между двумя наездами своими на торг купцы и степняки видели, как погустела их цепь, как смело все дальше вышагивает острожками и городишками русская земля на простор Поля.

Через несколько недель рубцовские мужики добрались до крайнего из них.

Степь заглядывала в городишко сквозь щели тына.

Был торг, бабы в цветных платьях продавали молоко, огурцы, масляные широгн. Старик дремал около наставленных на земле обожженных горшков из красной глины. Между конской сбруей, шкурами и кусками цветного войлока, развешанными на ларьках, похожих на шатры, снова толпа людей в накинутых на одно плечо зипунах, в кафтанишках, в полосатых татарских халатах. Эти люди жили по слободам; некоторые приходили из степи и уходили в степь.

Они торговали уздечками, сотовым медом, грубо выдубленными волчьими шкурами, одеждой — то дранной в клочья, с оборванными рукавами, то пышной, боярину впору. Оборванец продавал красные сапожки. Трое распахнули подбитый мехом плащ-епанчу с дыркой на спине, быть может, от сабельного удара. Рядом в чьих-то черных от лошадиного пота руках блистал развернутый струйчатый бухарский шелк, ширинка, унизанная бисером. Тут можно было купить вещи, неведомые на Руси, странную утварь, бог весть откуда привезенную, кованые ларцы, на крышке которых сплетались пузатые фигурки, пляшущие глаза.

На торгу был кабак. Широкоскулый кабатчик отпуская с прибаутками полугар. Люди, развеселясь, орали озорные и вольные песни. Много прошли городов рубцовцы, а такого города и такого народа не видывали.

Он не говорил степенно — горохом сыпал на каком-то своем языке, с непонятными словечками, шепелявил, свистал по-птичьи. И люди на торгу не замолкали, а только чуть расступались, когда проезжал на коне сам воевода.

У этого народа не было никакой тихости. Балагуры и весельчаки, они не опускали глаз, не сгибали спины, как те, кого вела по борозде соха.

Вот к звоннице, похожей на сторожевую башню, идет поп, высокий, костлявый, подоткнув рясу, шагая аршинными стрелецкими шагами через лужи вонючей жижи.

— Видит сова — мышки, слетела с вышки, — басом гаркает кто-то, и все вокруг гогочут, закинув головы, будто ничего смешнее и не слыхивали.

— Загудело трутнево племя!

И, не замедляя шага, поп-богатырь потрясает палкой, как древком копья.

Ржали лошади, привязанные у тележных колес. Верховые то и дело въезжали в ворота и галопом скакали по улице.

Пришлые из Московии мужики слонялись по торговой площади. Российский говор выдавал их. Они пробовали подступиться к девкам:

— Эка черная! Турка! Отрежь, ягодка, пирожка с голем, не пожалей для молодцов.

— Молодцы, что огурцы, да едят их свиньи.

И, звякнув серьгой, девушка бежала к подругам.

Необычайный человек явился на торгу. Одет он был с причудливой роскошью. Кунья шапка, кафтан, подпоясанный зеленым шелковым кушаком, малиновые шаровары, вправленные в мягкие желтые сапоги. Он двигался, покачивая плечами, гремя турецкой саблей с рукоятью, осыпанной камнями. Он прошел мимо выстроенных рядом расписных дуг, колес, дышел, мимо потертых седел, шлей, наборных уздечек. Остановился перед кучкой яиц, пятнистых, диковинной пестроты («Орлие яйца, с Бешеного Рога, батюшка», — прошамкал старик, по-татарски сидевший на земле).

Народ почтительно давал дорогу человеку в куньей шапке; казалось, все его знали. Конные ратники в длинных тегилях с любопытством глядели на него.

Он сказал несколько коротких непонятных слов. Человек пять, кинув рыночные дела, отошли в сторону. Безусый юнец с бритой головой, взвизгнув по-татарски, вскочил на неоседланную лошадь.

Блестя пестрым расшитым платьем, необычайный человек прошел через всю площадь и скрылся в толпе тех, кто пил и пел песни у кабака.

Едва солнце указало полдень, всадники унеслись из города, закрипели колеса телег.

Мигом опустела площадь. Всех точно ветром сдуло. Только пыль вьется возле тесовых городских ворот над лебедой и полынью.

Тишина. Мальчишки гоняют голубей. На стене — редкие, протяжные возгласы дозорных.

Тишина, полуденная истома в степи. Вот из-за далекого холма во весь мах вынесся верховой, пригнулся к луке — и пропал...

Но у кабака еще не расходились. Пили, расстегнув свитки, задрав головы. Несколько пьяных спали на земле, и по их спинам и животам проносились тени красных коршунов, чертивших круги над крышами.

Пестрый человек тут. Необычайное его убранство изрядно помято, кафтан расстегнут, под ним — голое тело, медвежья волосатая грудь. Кунья шапка съехала набок, чуб завился черным кольцом.

Человек поманил рубцовских.

— Подходи, серячки! Что шатаетесь не жрамши?

— Аль признал нас? — опасливо сказал Головач и улыбнулся.

— Ясно, признал: у тебя курсак<sup>1</sup> с тамгой.

Головач разозлился. Он был голоден. Они все были голодны.

— Стрекочешь!.. А мы, русаки, стрекоты не разумеем.

— Бухан бурмакан бастачил аркан. А по-отверницки<sup>2</sup> разумеешь? Хер-ца-ку-рева ку-еме-щаце-ля. То про тебя, разумеешь? Эх, тетя!

Кого он поддразнивал? Не только мужиков, у которых пусто было в животе, но и кабатчика. Он даже подмигнул ему. Но кабатчик, не поднимая полуопущенных век, разливал вино.

Чубатый выпил еще, обсосал бороду и, сняв шапку, поклонился мужикам:

— Ну, ино, херувимским часом заговеете квасом.

Головач ринулся на него.

— Стрекало выдерну, стрекун!

Тот с кошачьей ловкостью извернулся, руки Головача замолотили воздух.

— Мельник молол муки, намолол требухи, ты клюй, полный клюв и наклюй, — потешался чубатый.

У Фильки Рваной Ноздри злоба накипала медленно. Тяжело ступая, он зашел сбоку.

— Не суйся! Сам! — охнул Головач и схватился с обидчиком.

Никто не смотрел на кабатчика. А кабатчик поднял веки, зорко взгляделся в мужиков и одними губами что-то

<sup>1</sup> Курсак — живот (татарск.).

<sup>2</sup> Отверницкая речь, отверница — иносказание, «тайная» речь, распространенная среди «воровских» казаков. Часто была построена, как позднее бурсацкая и еще позднее — детская речь в играх школьников, на разбивании слов на слоги с помощью различных частиц.

прошептал вертевшемуся подле него мальчишке. Тот сгинул мгновенно.

Внезапно чубатый легко стряхнул с себя мужика.

— Буде! — гаркнул он поверженному противнику. — Сказываю, буде. Твоя взяла.

Он смеясь поправил шапку.

— Кости намял, чорт! А работать здоров? Мне работники надобны — соль грузить. Теперь похлебать дам. Айда за мной!..

Двумя широченными пятернями он сгреб всю оторопевшую тройку и скорым шагом увел ее с площади.

У глухой стены он грозно покосился на Головача:

— Как звать?

— Ивашкой.

— Тезка. Яр ты. Люблю. Ты же, как тебя, катов кум, зол, ай, зол, да все молчком. И то — добро. Третьего, тихоню, чего с собой волокете? Ему бы — в богомазы.

— Не, то я с голодухи ослаб, — сказал Попов.

Новый хозяин остановился.

— Теперь слушай, легкотелые. Соли нету. Кака така соль? Сам бы солененьким закусил. Я, бурмакан аркан, такой же купец, как ты удалец. А только у кабака силки уже на ваши головы свиты, три птицы — рубль серебром. Нюх у меня собачий, а не ваш, барсучий.

— А твоей голове и сносу нет? — обиделся Филька.

— Насчет сносу не суйся без спросу. А цена моей голове не рублевая. Силками ее не возьмешь. А воеводе здешнему я кум, детей крещу у него.

— Кто ж ты? — спросили ребята.

— Живу под мостом, а сплю под кустом. Сорочьими яйцами питаюсь. Кто труслив, тот мимо глядит. А кто смел, зовет в лицо: атаман Кольцо.

### 3

Он указал ямщичью избу в ложине за тыном и велел дожидаться. Но ни завтра, ни послезавтра, ни еще день спустя они не дождались Кольца.

Хозяин избы, тощий человек с мертвенными узкими глазами, целый день чинил, а не то — так зачем-то перебирал и развешивал сбрую и мало разговаривал даже с хозяйкой. То была маленькая женщина, державшаяся сурово и необыкновенно прямо, повязанная серым плат-



ком, с выпяченной нижней губой, придававшей ей такой вид, будто она некогда прикоснулась к чему-то очень горячему и с тех пор отгородилась от мира, окаменев в брезгливом недоумении.

Оба не замечали мужиков. Их кормили, за едой старуха перед каждым клала ложку. Но за целый день — едва словечко. Когда Головач, поклонившись хозяевам после обеда, крестился на угол (где не было икон), хозяйка, убирая со стола, сказала:

— Не толочись, как водяной.

Головач засопел, но рта не раскрыл. У них не было выхода.

В избе жила еще хозяйская дочка, ее звали Клавка. Она была непоседлива и, когда случалась дома, одна наполняла молчаливое жилие обрывками песен без начала и конца, обращенными, видимо, к одной себе восклицаниями и звоном весьма обильного женского своего хозяйства — браслетов, монеток, бус, каких-то металлических коробков, гребенок. Она наряжалась перед медным зеркальцем, подбоченивалась, повертывалась. И все делала тоже так, будто, кроме нее, в избе никого не было.

Вечерами приходили ямщики, человек десять — пятнадцать. О приходе их повещал пронзительный свист. В избе становилось шумно, мужики соображали, что им тут не место, и терпеливо усаживались на земле за воротами; выходить из ложины было им запрещено.

Громовой гогот раздавался в избе. О чем там говорили? Не о ямщицких делах. Такие там шли разговоры, и такие ухватки, такие глаза были у этих людей, что не то что в одной кибитке, но и в любом тесном месте жутковато с кем-нибудь из них встретиться... Да и что тут, на краю Руси, за ямщики?

«Далеко ли ездите?» — «Куда царь велит, туда и ездим». — «Царевы люди, что ли ча?» — «Как велел царь, так и стали царевы».

«Царь велел!» Мужики угрюмо крутили головами. Не от царя ли ушли? А он — вот он, и те, кто схоронил их от ката, от кнута и от ябеды, те, кто знал путь к воле, как тропу к своей избе, — они тоже, выходит, под царем. Как же так? Шли, шли, а исхода не нашли... Только и томись в ложине, как с завязанными глазами... Все это было чудно — страшноватая, непонятная сила, и они робели перед ней.

В избе даже неукротимый Ноздря лишь зло сопел, а рта не раскрывал и опасался вытянуть лишний раз руку или ногу, словно впервые с тревогой заметив, как они велики и неуклюжи у него.

Город раскидывался над ложиной. Тын был высок, стража караулила ворота, а людской гомон доносился даже из-за тына, и сияла маковка звонницы. Мужики хозяйским, крестьянским глазом приметили, что тесины тына свежи, срублены недавно, — одна к одной; казалось, город — со звонницей, с домами, с тысячей людей, — играючи, построила где-то на лужайке у себя исполинская рука, а потом разом перенесла и опустила сюда, на бугры, ложины и буераки; даже цепкие кусты не успели уцепиться за взрыхленную еще землю накатов.

Чья же рука? Ответ они знали: «царь велел!» И в первый раз за всю свою жизнь, — когда ушли, думалось, от всякого закона, — они почувствовали над собой могущество и власть этого царя. Яснее, чем в сонные годы Рубцовки, когда не они знали, а им, мужикам, зналось, что есть царь над боярством, и представлялся он им как бы в мужичьем облики: был царь Василий, ныне царь Иван, будет царь Пахом. И ясней, чем в смутные дни Рубцовки, когда наскочили верховые, и ясней, чем тогда, когда гладко говорил князь о царском борении и о силах, которые напрягает Русь-народ. Неусыпный исполин, видели они теперь, стоял над Русью, и не было угла, куда бы не достали его руки и где ослабели бы они, и всюду, за движением этих огромных рук, ложились дороги, крепко, ровно вставали стены городов, сияющих маковками, и пути тысяч людей вдруг сливались в один путь.

Гулял Кольцо. Голова его оценена, и это подзадоривало его пропивать душу в кружале, посеред города, и красоваться на торгу, и угощать девок за пляску, и кричать конным стрельцам:

— На, поднесу тебе и кобыле, сам затомился, бурмақан аркан, и ее томишь!..

И среди городского люда блистал он в необычайном одеянии, волосы его выбивались из-под шапки, и не было человека, который не знал бы его. А перед ним расступались, шептали, кто с усмешкой, кто с боязнью, и все с завистью и восхищением: «Гуляет Кольцо!» И девушка, которую он отгличал, потупляла, зардевшись, глаза. Один он

не оставался — много народу приставало к нему и, видимо, заботливо следило, чтобы кто-нибудь при нем был, но он никого не звал и, случалось, обведя окружавших тяжелым взором, начинал яростно, бешено, с руганью гнать всех от себя.

Может быть, в самом деле он крестил у воеводы — причудливые, хитроумные пути соединяли Поле с украинными городками.

И не только пальцем не трогали здесь атамана, присужденного к смерти, но и те, кого он открыто связал с собой, как вот этих рубцовских, становились, выходит, тоже неприкосновенными, невидимыми до тех пор, пока оставались они в указанной им хижине. Как та хижина видела город, так и город, конечно, отлично видел ее в ложине, да только лукаво щурился...

Однажды гость, не спросясь, рванул двери; тяжкий, вспухший, мутный ступил в избу Кольцо, горбясь, не здороваясь, шагнул к скамье. Клава очутилась возле него, и злое, обиженное и вместе робкое, собачье-преданное выражение поразило мужиков на ее лице. Она пригнула к себе большую мохнатую голову хмельного человека и стала перебирать, приглаживать, воркующе приговаривая, волосы его. Потом на полотах слышался ее сердитый, настойчивый, страстный шопот — она упрекала, и опять, баюкая, принималась ворковать, и счастливо смеялась. Отец возился с хомутами. Мать, прямая и сухая, выпячивала нижнюю губу.

Ночью Кольцо ушел. Дочь встала на рассвете; высоко вздернув левую бровь, она прибиралась перед зеркальцем, старательно, долго стирала следы слез с помятого лица. Глухая досада поднялась в Филимоне. Он вспомнил не о рваной своей ноздре, но о деревне, о тонких бабьих голосах спокойным вечером, возле высоких скирд.

Грубо спросил:

— Ты баба ему?

— А то мужик! — с вызовом ответила она.

Звякая монистами, в шитом летнике, со все так же напряженно приподнятой бровью, она заторопилась в город.

Вернулась вечером, суетливо сновала по избе и хохотала, вдруг уткнулась в чело печки, зарыдала, и румяна поползли по щекам...

А рубцовским только и было, что смотреть на эту вздориую, суматошную тесноту. Кольцо словом их не при-

ветил в тот свой приход. Филимон решил было кончить молчанку. Хозяин сурово оборвал его, глядя мимо:

— Пожди! Не ты тут царюешь.

— А чего ж он, ребята, «кольцо?» — спросил потом кроткий Попов.

— А по волосу, должно,—волос, видал, какой, — скучно ответил Головач.

— Не, то я думаю, перстень у него... заговоренный перстень, — продолжал свое Попов.

Ноздря ожесточенно сплюнул.

На другой день пришел Кольцо. Ему нагрели котел воды, он вымылся в закуте и фыркал с наслаждением, окатываясь напоследок холодной водой из ведра.

Старое платье он не стал надевать, хозяин принес ему новое.

Он был сосредоточенно деятелен, весел.

Хозяин сбегал за какими-то мешками, ящиками.

Сразу всем нашлась работа. Неизвестно, где были «ребята», не рассыпались ли? Послано за ними. Увязывалась какая-то кладь. Кольцо торопил: «единым чтоб духом!» Перечислял, напоминал, шуточно журил, что без батьки тут все равно, что без башки. Тащили кладь и с воеводского двора: порох, свинец. Кони жевали мешанку за избами, на суходоле. Рубцовским пришлось наваливать на подводы муку, толокно, припасы.

«Ребята», душ пятнадцать, явились ночью.

— Перьев не растеряли? — сказал им Кольцо. — А ну, наваливай!

Выехали, пополднивав, на другой день.

Клавки не было в избе.

Ямские тройки, рванув, вылетели на шлях. Кони растянулись, огретые длинными кнутами. Рубцовские не видавали такой гоньбы. Царевы ямщики везли воеводскую кладь, разбойного атамана, по ком скучала плаха, и беглых боярских людей.

На расстоянии поприща, где сакма повертывала на солнечный восход, на пригорке ждала женщина. Она сбежала, бесстрашно став на пути. Кони вздыбились. Тогда она со звериной гибкостью скакнула в повозку. Ямщик, сверкнув зубами, обернулся с кнутовищем в руке. Бабе нечего делать на государевой тройке в Поле. И казачья воля не терпит женской слабости. Но атаман крикнул:

— Эмзя! Сама вползла!

И открыто, перед всеми, он впился долгим поцелуем в губы Клавки.

4

Еле приметный шлях уводил к другому городку. Став на малое время табором, переложили все казачье с ямских троек в седельные мешки, догрузили оставшееся на несколько легких повозок с высокими колесами. И скоро только разбойный, залиvistый посвист доносился, замирая, из тусклого облака пыли, где скрылись ямщики.

На юге еще высились кой-где одинокие дубы. Под ними виднелись нерасседланные кони. Вверху на дереве, скрытый, сидел человек. Он глядел оттуда в степную даль. Кони стояли наготове, чтобы перенести весть от одного сторожевого дерева к другому, а от последнего дерева — к городам Украины.

И рубцовские понимали теперь, что то все была Русь.

Дальше не росло и дубов. Только редкие бугры поднимали кудрявые венцы орешника над немятыми травами. Легкое дуновение колыхало медовый запах.

Верховые, с оружием наготове, скакали вокруг повозок.

Ночами полыхали дальние отсветы чьих-то костров. К утру одежда становилась тяжелой и сизой от росы.

Однажды в лицо потянул ветер, и запахло тиной и свежей водой. Бледная черта прорезала пространство с севера на юг. Кое-где она расплывалась и восходила до неба светлой пустотой.

Волга текла за невысокими кручами и уступами белого камня, лесные пуши клубились по лощинам. Зыбь ходила на середине реки.

Кони остановились. Трое мужиков, нагнувшись, набрали немного волжской земли и по-крестьянски растерли ее между пальцами. Она посыпалась, черная и жирная. Не сговариваясь, они засмеялись.

Равнина осталась за их спинами. Курганы стояли в ковыле и жестком татарнике. Зола посыпала их лысое темя. Орлы застыли на курганах.

Это был край казачьей воли.

Есть место, где кручи возносятся выше и Жегулями наступают на Волгу. Река отпрядывает и крутою петлей огибает их.

В этом месте, укромном и грозном, издавна — главное пристанище казаков.

Сюда собирались люди со всех концов русской земли.

Вниз по реке спускались с язвами на кистях рук и на шее от доски-колодки, с обрывком цепи на ногах. С солнечного захода шли донцы и бритые сивоусые днепровцы, прибегали рязанские мужики.

На притоптанной почве, под мшистым камнем, горел костер.

— О, голи прибыло! По тебе, старый, домовина зевает. Что ж ты кости свои на Волгу притряс?

— А она их, матушка, сполоснет светлой водицей.

— Вся Русь бредет.

— Куда?

— Неведомо. Поднялась и бредет. Мы-то — сюда. Пса-рями были. Да кровь на нас... вышло такое дело... не заячь-ья кровь.

— Кистенем грехи отмолишь, коли способный.

Жидкое варево кипело в котлах. Голоса отдавались эхом. Дозорные, осыпая глину и щебень, взбирались на верхи Жегулей. Внизу ютились убогие рыбацкие селения. Редко-редко вилась струйка дыма над пустыней Волги.

Медленное пятнышко показалось внизу на реке. То от дыма к дыму бурлаки влекли бечевой груженое судно с астраханской стороны. У корабельщиков упало сердце, когда темным облаком повисли на краю неба Жегули и, обнаженная, в искрошенном камне, поднялась над ними Казачья гора...

— Смотри! Там что? Смотри, Патрикеич!

— Там тихо, ништо, хозяин.

Купец был жох, ловок в делах и не трус, иначе не пустился бы один по Волге. Он верил в свое молодое счастье. Но теперь, на судне, не мог усидеть на месте.

Он приказал, чтобы все свободные влегли в весла и чтоб распустили паруса. Но под горой крутило, и паруса хлопали. Судно двигалось медленно мимо мертвых, шумевших лесом, берегов.

Охрана взялась за пиццали. Хозяин обошел своих. Он

всматривался в них, и лица их казались ему чужими, незнакомыми, будто он видел их впервые.

Этот не выдаст. Он служил еще отцу. Похож на добрую собаку... У того на посконной рубахе расплзшееся ржаво-красное пятно. О чем он думает? До сих пор хозяин, купец, не задавал себе такого вопроса. А ведь тот думает. О чем? О персидском золотом шитье под палубой, какого ему не нашивать и не дарить девушкам? Может быть, о жене, которая, по бабьей слабости, годами не зная мужа, поддавалась на чужие прелестные речи и ласку? А есть ли у него жена?..

Все снимали шапки, пили за хозяйское здоровье, будто жили одной душой — хозяин и работники, — любознательно. А выходит, он ничего о них не ведал.

Нет, тот выдаст. Продаст ни за что. И другие тоже. Ничего не прочтешь по их глазам.

— Наддай, ребяташки, дружней-веселей, боченка вина не жалко!

Эх, зря поспешил на охрану, зря похвастался — ушел один вперед, не пристал к каравану.

— Никого нет, Иван Митрич, — доносит старый приказчик.

Он садится и смотрит на берег. Потом говорит:

— А то можно бы обождать. К завтраму нагонят задние...

Значит, можно еще исправить это, свою смелость? Хозяин мозгует. Он любит песни, пляс. В Астрахани, в персидском ряду, лавки, завешенные шелками, — как корабли, поднявшие алые и золотые паруса... Там запах моченой кожи и гнилых арбузов, ни на что не похожий. Вот что в мыслях у него — и никак не принудить себя вообразить невообразимое, свою смерть.

Он снова слышит голос Патрикеевича:

— Народ притомился...

А вода шумит у бортов, завивая легкий белый сбитень пузырей. Она — тоже как шелк, протканый солнечными нитями. Видно, как уходит и плещет на берег косая теплая волна. Может быть, не просто ради торговой выгоды спешил он, опережая других купцов. Может быть, ждет его в Москве одна душа, — что в ней, девчонке, со щеками, вспыхивающими пламенем, с опущенными долу глазами, тонкой, как тростинка? Она гуляет в саду, смеется или грустит, радуется вот этому же солнцу, — и чей

это подарок у нее, жемчужные подвесочки в ушах? «Боярышня в боярышнике», — думается ему, и он решает:

— Проскочим!

Он дает волю своему неугомонному упорству. Расставляет охрану на палубе. Пусть будут далеко видны дула, копыя, сабли.

Вдруг что-то смущает его. Он припомнил. То был пустяк. Утром, на привале, к судну подошел человек. Он навязывал работным людям низки рыбы, балагурил: «Не жалея грошей». Да не по-рыбацки, въедливо выпрашивал, чрез меру любопытно высматривал. Худой жердястый парень с молодой бородкой. «Звать тебя как?» — «Гаврилу моли архангела». — «Чей?» Зыркнул дерзким глазом. Лукин, сказал. Или Ильин? То — в издевку: значит — ничей. Ничьи люди тут. Купец почувствовал, что его лоб стал мокрым от пота.

Отметил место на берегу.

— Патрикееч! Досюдова не доедем — назад поворотим, если что. А переедем — заспешим вперед.

У бурлаков взмокли спины, лямки-хомуты трут плечи; голые пальцы торчат из лаптей, разбитых на острых камнях.

— Так ничего нет? Ты зорче моего.

— Ничего... Да только... С нами сила крестная!

Из устья реки Усы высыпала черная стайка лодок. Их почти не видно над водой, только заметно, как вспыхивают огоньки по бокам — то часто взмахивают весла, рассыпая водяные брызги. Взвились рогожные паруса, стая стругов берет наперерез; видно, что они полным-полны людей. Смутный рев долетает по воде.

Теперь на судне кричат все. От сверхсильного напряжения людей зависит, проскочит ли судно.

Все ближе лодки — шибко разбежались они по воде. Уже слышны ругань и свист. Пестрый, — как напоказ, — человек с вихром из-под шапки правит крылатой стаей.

— Сниму, купец! Твой целковый! — кричит стрелок.

— Первым не пали! Озлишь!

Вот они. Сотня рук, взмахивающих веслами. Косматые головы, полуоткрытые, тяжело дышащие рты. Кудрявый чуб у рослого вожака.

Ясно слышен его покрик:

— Налегай, братцы-удальцы! Хвост прищемим, бурмакан аркан!



Вот они, душегубы. Они — за его жизнью, за его, Ивана Митрича, кровью. Что она им?

И ему вспомнилось, как, маленький, он протягивал руку против солнца или против огня и дивился, видя красную кровь свою внутри прозрачных пальцев.

И, как в детстве, ему представилось, что, если зажмуриться или оборотиться туда, где, в золотой пыли, спокойно носились птицы, — сгинет нелепица, останется все твердое, ясное, необходимое, что было четверть часа назад.

— Гребни, рви, не щерься, Иуда!

Он хлеснул наотмашь гребца, уже грудью припадавшего, с пеной на почерневших губах, к спине переднего товарища.

— Вызволяй, соколики, голубчики, озолочу!

Что? Маху дали воры? А то как же? — ведь он — жив человек! Перенять расшиву не удалось, проскочила. Позади нагие обрывы, змеистые гребни, дремучие чащи — вот-вот сплывутся в недоброе облачко.

Маленькая рыбацкая лодка на стрежне, мирная, на ней, на шесте, черный лоскут.

Скинув шапку, купец бормочет:

— Господи, спасибо!

И не заметил никто на судне, как из сумрака прибрежных кущ выпорхнул в мертвой тишине десяток новых стружков.

Человек на рыбацкой лодке махнул черным лоскутом, и стружки разделались надвое, зашли спереди и сзади.

И когда увидел их купец, он сразу стал спокоен. Нечего было ни истошно орать, ни суетиться. То был конец. Все же взял самопал, неспешно, не торопясь, навел, пальнул. Еще несколько выстрелов враздробь грохнуло с расшивы.

Но уже с хряском десяток крючьев вонзился в смоленые борта.

Полуголые люди, вышибая доски, полезли на борт. Снова у кормы раздался крик чубатого вожака. Бой был короткий. Судовые кидали оружие. Малочисленная охрана, смешавшись, отбивалась недружными ударами топоров и бердышей.

Старик со слезящимися глазами и голой грудью в седом волосе, Мелентий Нырков, широко перекрестился над трупом купца, удушенного кушаком.

— Помяни, осподи... души хрестьянские...

Сорвали люк в трюме. Тюки с товарами переваливали в лады.

Вода повернула судно поперек реки. По сосновым доскам палубы, вылизывая тонким языком встречные предметы, осторожно пробежал синеватый на солнце огонь, вырвавшийся из печки кухаря.

У рябого казака из шаровар покатались серебряные и медные монеты. Тот, с кем случился грех, не нагнулся за ними и виду не подал.

Это была мелочь из купеческой казны, пригоршней захваченная на судне, до дележа.

Вокруг казака стало пусто. Рука старшого легла ему на плечо.

Виновный стоял перед самым главным атаманом, перед Ермаком, и прихорашивался, слясь ухмыльнуться.

— Вор! Своих обирать?..

— Как смотришь, атаман, — говорил старшой. — Парень справный, бесстрашный, допрежь никогда... Сибря-то. Да и полтина всего. Выпороть бы...

— По донскому закону, — сказал Ермак.

Рябому скрутили руки, зашили рукава кафтана, набили их камнем и песком. Повели к лодке; он сплюнул сквозь зубы и засвистал; шел, ногой загребая листья. Трое отъехали с ним. Он коротко крикнул и дернулся только тогда, когда, подняв, раскачивали его над глубокой водой.

Казак, с турецкой саблей на боку, вышел плясать под шутовскую песню. Бровь его была рассечена старым шрамом. Высоко вскидывая ноги, тяжело тощая, Брязга выкрикивал, вторя певунам:

Подвилья  
Подвилья яблонь  
Натравили противили нафиля!

Хмель уже ходил по ватаге...

Убитым помазали губы медом и вином, которого им не довелось испить, — не воем и плачем, земной сладостью надо провожать своих мертвых; и чтобы не тоску, а веселье в последний раз услышали они.

В домовины положили сабли, ливонские палаши, кафтаны — из доли добычи тех, кому вечно там спать.

Похоронили их у Казачьей горы.

Крестьяне сели портняжить, зашивать изодранную одежду, и рядом с ними — на корточках, на земле — бурлаки.

С Жегулей широко и пустынно видна Волга. Сизое пыльное марево — над степями за ней.

Почти сровнялись с землей старинные могильники. А каменные болваны, лицом к востоку, остались стоять на них. То — изображения неведомых врагов, поверженных во прах неведомым богатырем, лежащим под курганом...

6

Миновало много месяцев.

И однажды высоченный детина прибрел на Волгу. Он не был уже тучен, брюхо его, некогда в обхват толщиной, опало. Волосы, спутанные, придавали ему зверообразный вид. Но и теперь он не мог вовсе отказаться от щегольства, и серьга с голубоватым камешком была вдета у него в одно ухо. Он сипло пропищал, что каша на Дону стала крута — так ее заварили атаманы. Шпыни с московскими листьями начали, Дорош добавил больше всех. И помрет, верно, Махотка, — слезами исходила баба, страшно смотреть!..

— Ишь ты! А что Москве и Дорошу Махотка?

— Да кой прах Дорош! Да лопни он и сгинь! Удавись он кишками своих коней, тот Дорош! По мне убивается баба!.. Что кинул ее и до вас подался! Вот присохла — ого-го! И со мной всякая так. Столько переморил их — и не счесть, милый!

— Ох, шут! Ох, Баглай! Да про что ты?

— Да про то же! Царские листы привезли на Дон. А в листах тех написано, что воры вы. Круг собрали. А Дорош залютовал!..

Лютовал он, крича: пора-де вывести, с корнем вырвать воровство и охальство на синем Дону. А Баглай так понимал, что снасти своей, стругов, припасу жалко Дорошу, да и обещанной доли из добычи. Что-то все не возвращались Ермаковы казаки на поклон к нему!

— Ну, а Коза? Как Коза, Бурнашка?

Только и занимал Козу дымок турецкого тютюна.

А когда отлютовал Дорош и грозно отговорил московский посланный, Коза проворно вынул люльку изо рта, обвел прищуренным глазом круг и приговорил:

— Ермака схватить и под стражей в Москву, прочих донских, кто пошел с ним, бить ослопьем.

— С Дону выдавать?!

Люлька в шуйце, — сказал Баглай, — десницей хватать булаву. Вот те и Коза: ме-е-е!..

Ему поднесли ковш. И скоро он заговорил о том, как один проплыл через турецкий бом в пять рядов цепей у Азова, сгреб в шапку сокровища паши и пожег халаты его жен.

Он охмелел и стал сыпать слова на придуманном им самим языке, щедро мешая русскую, татарскую, персидскую речь.

Потом он заснул и проспал четырнадцать часов.

Наутро чья-то рука разбудила его.

— Так что, говоришь, сказывал Дорош?

— Что не казак ты... не низовой. Холоп, мол, и смерд из тех, что сверху.

— Знает свое дело... Худая весть, да важна; дюже важна. Что в пору принес, не промешкал, спасибо, Баглай.

И Ермак поцеловал его.

Вечером, у костра на берегу, Баглай окликнул казака с русской бородкой.

Согнувшись, долго подпарывал полу зипуна, пока не извлек оттуда бурые клочья.

— Тебе.

Но тотчас отвел руку:

— Впрочем, грамоту ты разумеешь, как я турецкую веру.

С сомнением поглядел на следы немислимых каракуль полууоставного письма.

— Сам писал, сам могу и прочесть. Только тёмно тут... Да ты не бойсь — и так скажу: тебя любя, вытвердил, что она говорила, как «Отче наш».

Вот как сложил казак в уме своем слова этой грамоты, откидывая, не слыша то, что от себя вплетал Баглай:

«Жив ли ты, Гаврила Ильич, по молитвам нашим? Не знаю, каков ты ноне, во снах только выдаю. Может, ты большой атаман. А повещаю тебя, что в станице избушек по куреням стало вдвое против прежнего. А рыба вернулась в реку, как не бывало, и яблоньки наливают.

А как холсты белить, вода пошла и залила аж Гремячий, а на Егорья трава сладкая, и на конский торг съехалось народу невиданно. Ходила я на вечерней зорьке, где голубец стоит. Прошу тебя, не сыскивай ты той горы Золотой. Забудь слова мои прежние, господине, неутешная я из-за них. Ворочайся до дому, чисто, светло у нас в степях. А хоть босого, хоть голого встретить тебя. Меду донского я, сиротинка, шлю тебе. А про азовцев и крымцев и не слыхано у нас...»

Баглай выпрямился во весь свой несообразный рост и сказал:

— Неутешная, слышь! А о меде том — будь, Гаврилка, покоен: ногайского хана за него, бредя путем, порешил — как зеницу берёг. Да мухи съели: больно сладок был.

Прижмурил один глаз, другим нацелился сверху на Ильина:

— На Дон, ась, побежишь? Аль так весточку пошлешь?

Гаврила отошел к реке, черпнул воды, вылил из горсти. И по той, иной реке, давным-давно, плыли огоньки костров. От них увела дорога. Он смотрел, как ломало волной красноватые отсветы, дробило — вот и их снесет прочь, минутся и они, с их теплом. «Найденка! Фрося!» — подумал он, как тихо позвал в темноту.

7

С виду долго еще не менялось ничего.

Атаманский шатер стоял в теснине, был он парусовый, но с шелковыми вшитыми кусками, в нем висели уздечки с серебряным набором, дорогая одежда, лежали клинки турецкой стали, стояли укладки, полные рухлядью.

Жил в том шатре атаман Яков Михайлов. То был спокойный, рассудительный, в движениях медленный человек. Он вставал до света, всходил на кручу, из-под руки оглядывал горы, реку, кричал:

— О-гой!

И все начинало шевелиться в стане.

Другой шатер был поплоче. Почасту в нем не живали. Дела у хозяина этого шатра завелись не только тут, в стане... На своей душегубке он уплывал — и надолго пустел шатер. Иной раз плыл он вниз, а Брызга ехал вверх, красноглазый Ложкарь подавался на восток, угрюмый Родивон Смыря — на запад. И той же ночью исчезал из

лагеря простой казак, не сотник и не пятидесятник — Гаврюха Ильин — с коробом за плечами, со связкой головлей в руках. Потом легкое перышко пушилось над дальней чертой земли. И туда, где оно пушилось, вел казаков Михайлов. А те, кто уехал, возвращались иной раз одни, иной раз приводили с собой новую ватажку удальцов.

Не только в михайловской артели звали уже его батской, у многих котлов-ермаков стал он Ермаком.

В новом деле своем он не давал себе отдыха с тех пор, как узнал от Баглая, что вот случилось это: он — отрезанный ломоть. А может, и вперед знал, что будет так, только ждал, когда будет сказано и войсковой печатью припечатано.

Казалось, свою Реку себе строит он — гулевую казакую, — вместо той, утерянной.

Слово об этом — ведь оно тоже было сказано некогда в чистой светелке, где рыбой пахло, яблоней и молодой счастливой тогда женщиной, — у голосистого, у кременного, весело и тяжело сидящего на земле Дороша!

Всадники прискакали с заката.

— То ж дорога! Что ж то за поганая дорога! — говорил чубатый, с вислыми усами, спешиваясь и потирая те места, что особенно пострадали от поганой дороги.

— Ну, батшко, принимай хлопцев!

Хлопцы расседывали коней; все были одеты причудливо: на плечах кунтуши, а ноги босые и грязные, у пояса — пороховые рога. Необычайны казались пришельцы посреди многолюдного, тоже причудливо-пестрого казачьего стана. Только затейливость и роскошь тут, на Волге, тянули к востоку; но Польшей, Западом отдавали и одежда, и оружие гостей.

То были днепровские казаки.

Главарь их, Никита, уже рассказывал, как порубали они шляхетские полки и явились среди главного посполитого войска лид самисеньку пику пана-воеводы.

За походы на панские земли и прозвали Никиту «Паном».

Он оглядел казачий стан, покрутил ус.

— Да вы ж, мов кроты, все по балочкам. А мы — до солнышка поблизче.

Кликнул десятского своего, деловито походил по кручам, выбрал гладкое, но скрытое орешником высокое ме-

сто над самой Волгой, измерил шагами в длину и поперек.

— Ось, туточки, хлопцы. Дуже гарно. Ляхи, турки, — приговаривал он. — Побачимо, шо воно за татары да персюки.

Волга поблескивала за кустами во весь огромный размах свой. Расстилался вдали плоский степной берег.

Никита Пан снял шапку, отер потный лоб и удовлетворенно сказал:

— Пид самисеньку пику.

8

Жизнь в куренях шла своим чередом.

Уже стали по укромам казачьи городки.

На зимы исчезали шатры, наполовину пустели землянки, ватаги сбивались в городки, много людей уходило в украиную полосу Руси. Там пережидали и на Марью-заиграй-овражки<sup>1</sup> возвращались в курени.

Старики старились и, у кого был дом, брели помирать на родимые места.

Невдалеке от устья Усы пряталась деревушка. Жило в ней немного баб и несколько десятков мужиков, ничьих людей, не казаков и не крестьян. Они рыбачили, шорничали, плотничали.

Гаврила Ильин ходил туда за рыбой.

Подоткнув подол, молодуха полоскала в реке белье. Он видел ее стройные белые ноги с небольшими ступнями, наполовину ушедшими в мягкий иловатый песок в воде, и круглые ладные лопатки, двигавшиеся под лямками сарафана.

Рванул ветер, сорвал с прутняка развешанную узорчатую тряпицу, покатыл и бросил в волну.

Гаврюха сбежал и достал ее.

— Помощничек, — сказала молодка, — спасибо.

Ее глаза смеялись под вычерненными бровями.

— Кто ж ты? — спросил Ильин.

— А портомойка, — ответила молодуха, покачивая длинными светлоголубыми подвесками в ушах. — Всех знаешь, что ж меня не признал?

<sup>1</sup> 1-е апреля.

После она сказала, что зовут ее Клавдией.

Она была во всем, даже во внешнем облике своем как-то легка, держалась с чуть озорной смешливостью, он подумал, что она весела и, должно быть, хохотушка, и сразу почувствовал, что ему тоже легко и просто с ней.

Он уже знал, кто она. Она была Кольцова Клавка, и он вспомнил, что и деревню-то эту звали Кольцовкой.

Потом он стал заходить к ней.

Была она всегда одна в большой тесовой избе; подвески разных цветов, зеркальца, бусы, ожерелья, дутые обручи лежали открыто в сундуке, который, верно, и не закрывался, ворохом виднелись кики, летники, очелья, многое было выткано серебром, тафтяное, парчевое, из струйчатого шелка. И отдельно ото всего, но также на виду висела однорядка на рослого мужчину, полукафтанье аккуратно сложено под ней, на столе шапка с малиновым верхом. Так, верно, она и не убиралась со стола, давно дожидаясь, вместе с однорядкой и полукафтаньем, хозяина.

Клавка порхала по избе, вечно ей находилось, что взять, что переложить, поправить какую-нибудь из бесчисленных, как в богатой татарской сакле, подушек.

Она смеялась, начинала и обрывала какие-то песни, румянилась и настойчиво спрашивала:

— Скажи: не красна?

Иногда садилась вышивать. Вышивала она не узор, а странное: мохнатые цветы с глазами на лепестках, крутой нос лодки, птиц, и Гаврюха думал, что птицы эти похожи на нее.

И он понял то, о чем уже догадывался по суетливому ее веселью, по мельтешащему изобилию мелкой, дорогой, открыто, на виду, накиданной пестроты.

— Скучно тебе? — спросил он.

— Нет, — ответила она, вздернув брови. — Когда скучать!

Он рассказал ей, как нечаянное приходит к людям, — сказку об отце, который, помирая, завещал сыну повеситься, и сын послушно пошел и повесился, как велел отец, а доска отвалилась, и оттуда, где был крюк, выпал мешок с золотом.

Скоро Гаврила узнал все о том, как она живет.

В ее одинокой жизни была привязанность. То был десятилетний рыбацкий мальчик. Федька. Она кормила его



медовыми пышками и пирогами с рыбой. сама зашивала рубаху, подарила сапожки.

Теперь она варила и пекла для Ильина, ждала его, нетерпеливо изогнув брови, стирала ему порты.

Однажды утром, посередке рассказа о том, что ей снилось, она вдруг всхлипнула:

— Жалобный ты... Сирота... без матери.

И она пригнула к себе его голову со светлой бородкой. небольшую голову на длинном худом, все еще по-мальчишески нескладном туловище, и целовала ее, и почесывала за ушами, как котенку.

— Все вы тут сироты.

Так казалось ей, потому что она вспомнила о ямщицкой избе в лощине, о родительском доме и горько пожалела о матери, с которой за все время своего девичества вряд ли сказала больше сотни слов.

## 9

Ватажка в стружках и долбленках, улюлюкая, высыпала на стрежень, но за суденышком неожиданно вывернулись из-за мыска еще два, шибко подбежали на парусах и веслах; казаков порубили, нескольких взяли в железы. Тогда ватажка посадила своего атамана в воду, привязав к коряге, и ушла к Ермаку.

Два других атамана сами привели своих людей. «У семглавого змея один удалец все головы сшиб», — сказал Ермак и поверстал атаманов в есаулы.

— На Жегулях, какую охрану ни бери, а дань плати, — наперед знали корабельщики, едущие даже караванами, — а то живу не быть.

Низкие пузатые насады спускались сверху, с ними палубный бот. Везли в Астрахань припас, снаряд, жалованье. Ермак слушал доглядчиков, загодя повещавших вольницу, потом долго смотрел на Волгу, шапку сбив на затылок. Решил вдруг:

— Этих пропустить. Не замай.

По всей вольнице, по всем ватагам, чьи бы они ни были, объявили:

— Батька судил: не замай.

— Я сам себе батька, — ответил атаман Решето. — Мой суд и мой рассуд.

У Ермака слышали пальбу. В лице его ничего не шевельнулось, только глаза сузились и закосили. Сотня верхами поскакала в обход горы: на воде казаки не мешались в казачьи дела. Внизу, на одной насаде, ленивый и черный, лежал клуб дыма... Доскакав, изрубили, зажгли шалаши в стане Решета. С Волги, не кончив своего, тот кинулся на выручку, неистово ругаясь. А сотня, разделившись, ударила сразу с двух сторон, чуть он высадился. Решету скрутили руки.

— Ин по-твоему, — проговорил он и выругался. — Переведались будя.

— Еще не по-моему. — Ермак подошел к нему. — Еще будет по-моему...

Он выхватил саблю, помедлил, глядя на его задержавшиеся плечи и в выкатившиеся глаза, потом замахнулся.

Так он брал в руки гулевую Волгу.

Иногда он разжимал кулак, и птенцы его гнезда летели далеко.

В ясное праздное утро, когда голубоватой сквозной дымкой оплывала даль и только стайки ряби, сверкая, пеобегали на реке, «седла-ай!» — прокатилось по стану. Срезая изгиб луки, верховые двинулись за солнцем. На другой день доскакали до ногайского перевоза. Пусто вокруг; лишь очень острый глаз приметил бы, как возникло легкое желтоватое облачко в степи...

Ногайцы гнали к перевозу русских полоняников. Скрипели арбы с добычей...

Эта добыча перешла в казацкую казну. Полоняников же напутствовали: «Ступайте, крещеные».

Казачий отряд появился в устье Яика.

В одном дне пути вверх по реке стояла ногайская столица Сарачайчик. С невысокого минарета бирюч призывал жителей к оружию. Но не было страшнее слова, чем «казаки». Только немногие схватились за кривые ножи...

И вскоре струги неслись уже в обратный путь вниз по Яику, прочь от саклей и кибиток, застланных дымом.

А когда царь Иван послал казну шаху, Ермак перенял ее. Вольница разбила сильную стрелецкую охрану в быстрых больших орленых ботах с пушками, выглядывавшими в отверстия бортов, и «пошарпала» серебро.

На разубранных коврами кораблях ехали по Волге персидские послы. Заколыхался камыш — целый лес копий отделился от него на легких челноках.

Персы с завитыми и накрашенными бородами повисли над палубами.

Так, паря в воздухе, послы поплыли назад, слегка шевелясь от ветра и от речного течения, уносившего их в Каспий.

10

Ермак повел войско вниз по реке.

Струги неслись мимо пустынных берегов, голых, безлесных, мимо развалин старых городов — на несколько часов пути тянулись остатки стен и улиц, кучи битого кирпича в лебеде и чертополохе. Плыли мимо соленых озер в ломкой кроваво-красной траве, мимо выжженных степей, где росли горькая полынь и лакричный корень.

В степях казаки увидели татар. Длинная веревка была намотана у каждого из них у седельного арчака; сбоку — сабля, колчан со стрелами, у плеча — лук. Это было оружие, с которым они триста пятьдесят лет назад, как смерч, пронеслись по земле.

Круглые дома-кибитки, табун коней, войлочные кошмы, пестрые тряпки — летучий татарский город остановился в степи. Удары молота по наковальне. Татары ковали железо.

Когда-то с этим обычаем — ковать раскаленное железо в годовой праздник — пришли из Азии завоеватели-монголы. Они знали, как сделать лучший клинок и лучшую стрелу. Где-то за степями высились Иргене—Конские горы. Говорили — там была долина: два всадника могли бы перегородить ее копыями. Эта долина была железная. И бока ее, как магнит, притягивали копыя.

Великая орда завладела землями, народами и их добром.

Ногаи тоже ковали железо — они помнили обычай. Но они уже не знали, где ход к Магнитной горе...

Летучий город срывался с места, едва появлялись на реке казачьи струги. Он несся в пыльных вихрях по равнине, покрытой бесконечной и однообразной рябью мелких бугров, к затерянным в степях и одним татарам ведомым колодцам солоноватой воды.

Злее, желтей становилась земля, словно опаленная сгнем. Ночью от нее исходил жар. Цепочкой шли рыжие, с

поднятыми головами, верблюды, медленно переставляя длинные тощие ноги, покачивая вьюками на горбах. Так шли они, может быть, от самой Бухары.

Караван исчезал в степи. Только песчаная пыль завивалась воронками. Проносились стада сайгаков. Вода в реке будто загустела от глины.

Близка Астрахань.

В устьях Волги, проскользнув по одному из бесчисленных рукавов мимо города, казаки остановились на острове Четыре Бугра. Он был закидан водорослями. Мутные валы ударяли о скалы, чахлый камыш полз по известняку. Над известковым камнем выл ветер; синь в пенистых клочьях распахнулась впереди.

Но Ермак не довел своей вольницы до Персии, чтобы померяться с кизилбашами, «красноголовыми», военной опорой трона Сефетидов.

Грозный царь ударил по воровской Волге. Был неожиданен, страшен удар. Целое войско должно было двинуться, чтобы вывести своевольство на великой реке.

И, едва прослышав о грозе, Ермак повернул повольников, чтобы поспеть доплыть до стана, пока она только собиралась.

## II

Дорожный человек шел с подошкой, посвистывал и поглядывал кругом себя.

Он видел верши и вентери. Рыбой промышляют. Конечно, охотятся. Наверное, еще и бортничают: места медовые.

Он усмехнулся. Нынче мед, а завтра... Ведь хлеба не сеют, сохи боятся, как бабы-яги. Конечно, какой хлеб по этим уступам! Но что-нибудь здесь могло бы вырасти у настоящих хозяев. Хоть редька или капуста.

Не сеют, не жнут, а... Он увидел бочки и кули на берегу.

Вспомнил, как в ту маленькую лесную обитель, последний ночлег его на долгом пути с севера, пришла «грамота», с неделю назад: «Атаманы-молодцы были на вашем учуге, а на учуге вашем ничего нет. И приказали атаманы-молодцы выслать меду десять ведер, да патоки три пуда, да муки пятнадцать мехов. А буде не вышлешь, и

атаманы-молодцы учуги ваши выжгут, и богу вам на Волге-реке не маливаться, и вы на нас не пеняйте».

Эх, как смутились тогда монашки, нагоходцы, гробокопатели! Думали: челом бить воеводе (про идущее войско, верно, прослышали). И от него, дорожного человека, просили совета да пособничества. А он в тот же час и уйди. Своя рубашка ближе к телу.

Он поглядывал и посвистывал. Людей тут хватило бы на несколько городков, ого! Вон там, у костра, лапотные мужичонки. Бурлаки. Прямо, деревенька рабочих людей, если бы были избенки, а не копаные норы и шалаши. Ловко все тут, ничего не скажешь! Головатый вожак, с умом плодит вокруг себя народишко, диву дашься.

Воля! На это сманивает. Ныне здесь, заутра... заутра в дубовой колоде. Воля в парче да в лохмотьях.

Он потрогал то, чем был препоясан. Не сразу видно, что пояс дут. Взвесил в руке. Тяжек. Пожалуй, нашлось бы там и серебро, если б взрезать.

Он выбирает самого высокого, у чадного костра, чтобы спросить:

— Как бы мне, человеке, к атаману?

Сразу пятеро оборачиваются и смотрят на него.

— Пташечка!

— Откудова залетела?

Один, с улыбкой, нежно:

— Авун<sup>1</sup> подпорем, не бойсь, поглядим, что ты за синичка.

— Колпак с башки долой!

— Тымала!..

А исполнил птичьим голосом:

— На ангельских воскрылях припорхнул, грамоту до атамана принес.

Но дорожный не робкого десятка.

— Моя грамота волчья: лапа да пять пальцев.

Это понравилось.

Ему указали пышный, шелком латанный шатер.

— Не, мне поплоче.

Засмеялись.

Но спокойно, с шуточками, он настоял на своем.

И вот он целый день сидит у Ермака. И никто не мо-

<sup>1</sup> Авун — задняя часть штанов (ногайск.).

жет ступить к ним в шатер. Впрочем, уж не раз носил туда казачок вино.

Захожий не сторонился горяченького. В том и веселие бродячей жизни его.

Он видел, как атаман скоро остановил руку казачка:  
— Мне не лей.

Но гостя это не смутило. Он только участливо сказал:  
— Что ж ты, батько? По суху и челны не плавают.

И вдруг всей кожей лица почувствовал тяжелый, будто ощупывающий взгляд впалых глаз.

— Не тебе батько.

Он уступчиво ухмыльнулся. Стал пить один. Легкая волна уже подхватывала его. И он плыл по ней, плыл по прихотливому узору своего сказа.

— Есть в полуночном краю окиян-море. По тому морю шел, — прадеды помнят, — мореход свейский. С корабля увидел берег пуст, леса великие над белой водой. Множество людей повыбегло из лесов. Несли они шкуры оленьи, собольи и кость драгоценную, трое одну еле подымают. А стоит та кость дороже золота, и все в домах у полуночных людей сделано из нее. Лежит она на той земле, ровно лес, побитый бурей. Только уплыл свейский мореход, и след той земли потерялся...

Атаман спрашивает:

— Голубиную книгу чел?

Захожий человек морщится. Он не любит, чтобы его перебивали, когда он воспарит мыслью. Но отвечает уверенно:

— А как же!

— Про Индрика-зверя что разумеешь?

— Про Индри... как говоришь?

— Ходя под землей, подобно единорогу, прочищал он реки и ручьи. Был с гору. Но не допустил его Илья-пророк тяготить землю. Внушил: выпей Волгу! Он стал пить, да раздулся, лопнул — кости засосало в трясины, прахом занесло.

Дорожный человек улыбается, немного снисходительно. Он чувствует, что в руках его — снова ниточка, и с торжеством восклицает:

— Нашлась, казак, земля свейского морехода! Гюрята Рогович, новгородец, пришел на берег холодного моря — только небо с водой сходятся вдали. А у моря стоит Камень. До неба стоит. Верхи тучами скрыты. И увидел

Гюрята — распахнулось окошечко в камне и залотошили там обликом уродливые, малые. Топор у Гюряты — руками к топору тянутся. Гюрята и кинь им топор. А они через окошко в горе накидали ему мехов груды. И только задумался — откуда же в Камени меха? — задуло, закрутило — и в вихре, в замяти повалили с неба олени и белки.

Он многое видел. Он видел, как меткая стрела поражает прямо в маленький злой глаз пятнистую рысь и капкан ломает лапу соболю в лесных увалах северных гор, о которых он говорил. Он видел, как люди в огромных мохнатых шапках, горцы с Терека, шли с гортанными песнями, чтобы в войске царя Ивана на песчаных холмах далекого северного побережья сразиться с тевтонскими рыцарями за жизнь и долю русской земли. Но он сплетал то, что слышал от досужих людей, с придумками, потому что ему казалось, что только сказку приятно рассказать и лишь небылицей можно приманить собеседника и заставить сделать то, что хочешь.

Он не остановился, пил и плел петельки вымысла.

— ... А есть там, в стране Югорской, гора. Путь на нее — четыре дня, и наверху — немеркнущий свет, и солнце ходит день и ночь, не касаясь земли.

...И живут там еще люди-самоядь, пожирающие один другого, и люди Лукоморья, засыпающие на Юрья осеннего и оживающие на Юрья весеннего. Перед сном кладут они товары безо всякого присмотра. Приходят гости, забирают товары, а взамен кладут свои.

— Затейливые страны! — сказал Ермак. — Ну, а довести сможешь туда, дорога?

Тут пришелец помолчал, пожевал губами и ответил:

— Вольному воля, ходячему путь... К тебе добираясь, встретил я порожний челн. Крутит его сверху водой, одно весло сломано, другое в воду опущено, будто греб им гребец да уснул.

И опять помедлил малость.

— Монахи в скитах неводом поймали тело голое, вздутое, без креста, кости на руках-ногах перешиблены. А еще попался мне черный плот. На плоту вбиты колья. На кольях телеса. Плывет — на волне колышется...

Он придвинулся. У него были белые заостренные уши. Ермак отшатнулся от него, вдруг оборвал:

— Горох и без тебя обмолотим... Не про то пытаю.

Тогда гость кинул оземь свою шапку. Это ему самому

казалось глуповатым. Но сделал он так потому, что с «волками жить, по-волчьи выть» было главным правилом его.

— Не жалко, — крикнул он, попирая ногами кунью опушку, — копейку стоит! Люди югорские молятся Золотой Бабе, и в утробе ее злат младенец.

И, понизив голос, зашептал:

— Пришел я с Усолья Камского сюда, к Жегулям, на Усолье Волжское. Государь пожаловал Анике Строганову земли по Каме, и стал Аника богаче всех московских людей. Большие дела удумал, да помощников мало. Перед смертным часом принял он постриг и преставился городке Сольвычегодске иноком Иоасафом...

Льстиво и маслено подмигнул:

— Ох, баб в Перми Великой, что галок на деревьях!

Кружево небyleй, ошеренная пасть, душа нараспашку, угодничество... Жизнь - игра в чет и нечет, но надо не забывать кинуть все свои кости. Смотри в оба: не на одной, так на другой — а выпадет чет! Но с этим сумрачным, бессловесным, неказистым трезвенником бродячему приказчику никак не удавалось угадать, куда катятся его кости. И вовсе он не ждал вопроса:

— В Кергедане Микитка?

— Кто, говоришь?

— Строганов Микитка.

— Нет...

— В Чусовую, значит, прибег?

Ошеломленный, он спросил:

— Ты, откель... откелева, ваша милость, ведаешь про те дела?

И вдруг услышал в тишине шумное, во всю грудь, дыхание атамана. Человек с плоским лицом, — страшный человек. И, сбитый с толку, смирившийся, дорожный уже не юлит.

— Семен, сын Аникеев, и внуки Максим да Никита кланяются тебе.

— Листы привез?

— Такое дело на листе не пишется.

— Чем докажешь?

Тот покорно снимает пояс, белые и желтые кругляки сыплются из него.

— Это в почесть.

Снова тяжкое молчание, неотрывный взор угрюмых



глаз. И под этим взглядом человек чувствует струйку холода вдоль спины и говорит:

— Не я тут один от Строгановых. Крыжачок, смолокур да соляной человек Никишка.

Глаза гостя бегают. Он выдал сокровенных строгановских людей, по чьим грамоткам сам прибыл сюда с Камы. Он не смел выдавать. В делах правая рука не должна ведать, что творит левая. Так учат хозяева. Он лепечет:

— Листы, коль захочешь, будут тебе.

Тогда срыву встал атаман.

— Хребет переломаяю, тля!..

Холодная струя щекочет спину человеку. Он зажмуривает глаза. Рвотный комок подкатывает к горлу. Али он охмелел?

— Моя собачья жизнь, -- говорит он жалобно.

Кого он боится? Разбойника, мук, пыток, раскаленных углей, горелого запаха собственного мяса? Или хозяев, могучих и всемогущих, тех, что за тыщу верст?

Он мелко спешно крестится.

## 12

Как на Волге да на Камышенке  
Казак живут, люди вольные.  
У казаков был атаманушка —  
Ермаком звали Тимофеевичем.  
Не злата труба вострубила им,  
Не она звонко возговорила речь —  
Возговорил Ермак Тимофеевич:  
— Казак, братцы, вы послушайте,  
Да мне думушку попридумайте.  
Как проходит уж лето теплое,  
Наступает зима холодная —  
Куда же, братцы, мы зимовать пойдем?  
Нам на Волге жить — все ворами слыть,  
На Яик итти — переход велик,  
На Казань итти — грозен царь стоит,  
Гроза царь Иван, сын Васильевич.  
Он на нас послал рать великую,  
Рать великую — сорок тысячей.  
...Пойдем мы в Усолья ко Строгановым.  
Возьмем много свинцу, пороху и запасу хлебного.

Песня

Странные речи услышали казаки.

Атаман, батька, звал казаков уйти от стрелецкого войска — к Строгановым в службу.

И, как на Дону, собрался круг. Никто его не созывал. Сами сошлись.

— Волю сулил? Вот она воля: курячьи титьки, свиные рожки.

И загудел весь круг:

— К купцам?

— К аршинникам?

— Землю пахать? Арпу<sup>1</sup> сеять?!

Крикнул один из днепровских:

— Та нам с теми строгалями не челомкаться. Мы — до дому, на Днипро...

Но была тревога в гуденьи круга. Уже, в нескольких днях пути, выросли на горах по Волге черные виселицы. Воевода Мурашкин быстро двигался на Жегули.

— Браты-ы, продали-и!..

И вдруг, озираясь кругом, глазами выискивая человека в армяке, казак по прозвищу Бакака (Лягушка — на языке народа, живущего в тучных долинах за кавказскими горами) с бешеной руганью выкрикнул:

— По донскому закону!

Охнули, на мгновенье замерли. И расступились, когда внезапно шагнул в круг тот, о ком были сказаны страшные слова.

Кто-то свистнул. Десяток подхватил. Заревела сотня глоток. Он стоял в середине, пережидая.

Сквозь гул голосов, сквозь рев поношений и ругани прорывалось:

— Кольца в атаманы!

И в другом месте:

— Богданка люб!

И еще в новом месте:

— Гроза поведет!

И в каждом из этих мест сплывались кучки людей, еще объединенные общей яростью, но уже враждебные друг другу. Дробился, рассыпался круг. Бритобородые днепровцы отбились в сторону. А со ската к реке, где держались вместе беглые боярские, донеслось:

— Будя ваших! Нам свой мужик атаман: Филька Ноздрев!

Он пережидал бурю. Ждал, пока утомится глотки.

Но еще кто-то взвизгнул:

---

<sup>1</sup> Арпа — ячмень (татарск.).

— Дувань казну!

Словно вырвался вздох из грудей у рядом стоящих. И пока не дохнуло это надо всей разношерстной, раздробленной, тревожно мятущейся толпой, пока не пронеслось и не спаяло ее, — Яков Михайлов сказал спокойно, даже не подымаясь с пригорка, на котором сидел:

— Что ж меня не кричите? Аль самому?

— Мещеряка в круг! — требовали снизу.

Но наверху захихикали. И, как бы истощив свою силу, не слившись в единый поток, угасла, опала ярость. Уже летело к сурово молчавшему человеку:

— Батька, скажи! Не томи!

— Дуванить? Казну дуванить? — прокричал Ермак голосом, срывающимся от злобы. — Кровь... кровь братьев дуванить? Не дам! Волю — по перышку?!

— Воля игде ж? В холопы неволишь!

Ермак сорвал с себя зипун, будто тот душил его.

— Сам над собой донской закон сполню, коли порушу волю!

И тотчас остыл, пересилил сердце, заговорил быстро, свободно, с привычной властностью, уже чувствуя, что, стихши, слушают его; он не искал слов — легко они шли к нему сами, искусно складывались, и лишь сдавливало голос то, что клокотало в нем.

Одной головой крепко тело. Легко срубить долой голову, а срубивши — не прирастишь. Тело о многих головах — как безголовое тело. Такова была гулевая Волга.

Он дал ей голову. К великой силе, к небывалой мощи вел. И невиданной крепостью стал крепок уряд станишников.

Кто собирал казну в войсковые сундуки?

— Ты собрал?

Он повертывался и допрашивал, указывая пальцем:

— Ты? Или ты?

Войско собрало. Уряд казачий, какого не видывали доселе. Ту голову, коей живо тело, теперь под топор? Ту казну, коей крепка воля, на дуван?

— Не, не про то, товариство, Ермакова песня поется!

Он замолчал, пригнулся, тихо стало.

Затем, негромко, вкрадчиво, как бы меряя глазом высоту нагрянувшего и кошачьим шагом подбираясь к нему:

— Не с великого на малое... не цепи лизать... не по кустам выть... Есть ли сила аль бахвал себя выхвалял:

«я силач», да надселся, ломаючи калач?.. Разгонись, жилы все напруги — и дерзни, тут и сигани на самое великое!..

Остановился. Крикнул:

— Вона дорожка, никем не хоженная!

Потом припомнил — Дороша. Дорош наложил пошлины и дани за снасть свою и припас. В Дорошеву службу пошли; где же кабалы его?

И тихо, будто про себя:

— Горько ноне? А что ж? Полынь на языке, желчь в сердце. Да не мимо молвится: ум бархатный. Кто казак? В нуждах непокоримые, к смерти бесстрашные. Горькое привыкать ли хлебать? Выхлебаем хлебово, таган переверотим и по донцу поколотим. Выдюжим. Бог свят, выдюжим!

Он улыбался. Он говорил о камских непочатых землях, о соболиных краях, о стране, где *Белая вода*. Не в неволю к Строгановым путь лежит, а на такую волю, какой уж никто не порушит.

И выговорил слово. Неслыханное.

— Казацкое царство.

И замолк.

Как пчелиное жужжание — в толпе. Кольцо вышел и кинул под ноги Ермаку шапку с лохматой головы.

— Пропаду, бурмакан аркан, что за песню, что за слово.. А поеду с тобой!

Подбежал Брязга, вытащил, потряс саблю, закричал хрипло:

— Мечи, что ль, ребята, не отточены? «Дунай» давай! Выдюжим! Лезовый кладенец, женка казачья...

Медленно поднялся бурлак в онучах и, поддергивая штаны, сказал:

— Нам что Кама, что Волга... — стариковали, значит, мы... старики-те... дело-то привычное — потягнем... Спина, спаси господи, зажила, крепка-то спина, мать пресвятая богородица!

Пан не спешил, поглядывал, послушивал и трудную эту речь, и ребячьи выкрики кидавших шапки удальцов-атаманов, которых разобрало, взяло за живое, и пчелиный вум переменчивой, уже преданно покоренной толпы (а что нового узнала, чего не ведала полчаса, час назад? Соловьиное слово! Слово—и власть...). Поскреб в затылке, китрая ухмылка скользнула в усы.

— Хлопцы, та и до дому можно. Только что ж вер-

таться, не пополудничав? С полдороги, да и коней назад? Эге ж, хлопцы, кажу! *Як уж поїхали, так аж під самисеньку піку.*

Повел бровью:

— Коней-то расседлайте, кто заседлал.

Тогда Рваная Ноздря прошел к Ермаку.

— Я не скажу так красно, как ты. А ты погляди на меня. Хорош парень? Ты не нюхал каленого железа. А я в гроб с собой тот запах понесу. Не забуду, как клещи рвут тело... Куда ведешь? Русь подымается, холопство избывая. Вотчины палят. Бояре по дорогам проехать страшатся. Мужичкой недоле — вот он конец. Царство сулишь — не прельстишь. То мужичкое ли царство твое? Тута станем. Разметём полки воеводини. Все крестьянство будет к нам!..

Ермак не перебил его, только поднял глаза.

— А ты струпя мои считал?

Ответил Ермаку тихий Степанко Попов:

— Не пойдем, слышишь? Мужики не пойдут. В лесу утаимся. В пески зароемся. Нет — в омут головой.

Ермак двинулся из круга. Был радостен. С ним атамааны и есаулы. Но, будто вспомнив что-то, остановился и хмурым взглядом перебрал уже зашевелившуюся толпу. Тот жесткий взгляд нашел двоих: Бакаку и есаула Федора Чугуя, который требовал дувана.

### 13

Зеркальца, коробочки с румянами, бусы, обручи, подвески, сапожки, бисер, летники, шубки, — все она упихивала, уминала в укладки с расписными крышками. На полу солома, наспех увязанный узел с торчащим рукавом — горница походила на разоренное гнездо хлопотливой птицы.

— Улетаешь, Клавдя?

Клава порхнула мимо, дохнула в лицо Гавриле, засмеялась, принялась горой накидывать подушки, для чего-то взбивая их.

— Далече, не увидимся! — пропела она.

— К старикам на Суру?

Она взялась пальцами за края занавески и поклонилась.

— И то к старикам. Угадал, скажи! Строгановыми зовут, слышал?

— О! Значит, берет? Берет, Клава?

Тряхнула головой так, что раскрутилась и упала между круглых лопаток коса.

— Ты берешь! Ай не схочешь?

— Трубачам, ягодка, одна баба — труба. — И засветился улыбкой. — Значит... Эх, дурак, прощаться пришел!

Она приблизила к нему свои выпуклые глаза.

— А ты попроси ангела с небеси!

Он потупился. Рот ее покривился, стал большим. Она отскочила, начала срывать, мять вышивки — цветы с глазастыми лепестками и тех птиц, которые напоминали ее. Он смотрел остолбенело, силился и ничего не умел сказать, пока она не крикнула:

— Уходи! Федьку-рыбальчонка только и жалко...

— Клава...

— Уйди! — взвизгнула она и притопнула.

А следом за ним выбежала сама, придерживая рукой платок на голове, бросив дверь открытой.

Поздно вечером, в стане, вдруг вынырнула из осенней тьмы около Ильина, спросила:

— Когда плывете?

Дышала часто, неровно, нарисованная бровь казалась окостенелой.

— Завтра? Аль еще поживете?

Зашептала ластясь:

— Гаврюша, ты скажи... Он говорит — не к Строгановым.

Он отозвался тихо:

— Сама понимай...

— Знаю! Зимовать обреклись, казачок! — Отшатнулась, тьма смыла ее лицо, низким, грубым голосом закричала: — Как собаку?.. Со двора долой, ворота заколотить — околевай одна, собачонка? Кровь родную кидать? Федька чей? Его, Кольцов, Федька — до меня еще не знал? Волки-людоеды, лютые, косматые! Упыри! А! Собака — я! На дне речном след ваш вынюхаю!

Мелькнула белым, скрылась, — в ушах Гаврилы все стоял ее истошный, исступленный крик. На сердце было смутно. Он не услышал тяжелых шагов. Оробел, когда на голову ему легла рука.

— К тебе приходила?

Ермак не стал ждать ответа, кивнул:

— Волосню прикрой, студёно.

И Гаврила покорно вытянул из-за пояса, надел шапку.

— Волгу жалко? — спросил атаман. — Десять годов гулял, а нагулял...

То, что комом сбилось в груди у Гаврилы, того не тронул он. Сказал, чтоб дать ответ атаману:

— В Михайловском курене богатеями стали...

Ермак насупился.

— В войске нет Михайловского куреня... Завидуешь? —

И посоветовал: — А ты — не завидуй. Мои сундуки сочти — много ль сочтешь?..

Плеснет вниз — и опять тишь. Атаман грузно опустился на поваленный ствол, оперся о колено.

— Расскажи чего.

Гаврила помялся, проговорил:

— Ушли мужики-то. Где на кручи отбились. Иные в деревеньках на Усе...

Ермак перебил:

— Не можешь рассказать. Играть на трубе горазд, а рассказать — нечего. Ляг поди. Не шалайся.

— Не спится...

Атаман не встал; была и у него, видно, одинокая долгая ночь. Вдруг сказал:

— Где приткнутся, там и присохнут. В обрат глядят. Отдирать — оно и больно. А ты вперед погляди...

— Чего же ищешь, батько? — тихо спросил Гаврила.

— Чего ищу, того не видал здесь. Старое кончать пора. Время за новое браться. Гулевою Волгу скрепил — всю и сниму отсюда. Целехонькую — никто не порушит. По-лымю тому в ином месте — разгореться дам...

Осенью, когда рыба ложилась в ямы на дне реки, ветер свистел в оголенных березах и только дубы стояли увешанные желтой листвой, — вольница снялась с привычных мест и ушла вверх по Волге, а затем свернула на Каму.

Они плыли последний раз по огромной и пустынной реке, встречая редкие, одинокие дымки на берегах — один утром, другой к вечеру. Но временами доносился стук плотничьих топоров, бугор был оголен от леса, грудой лежали срубленные деревья, на бугре вырастал бревенчатый тын; воеводы городили города.

Так проплыли Рыбную, Чортово городище, Алабугу, Сарапуль, Осу.

Всех пливших было пятьсот сорок. Вел их начальный атаман Ермак, и с ним атаманы — Иван Кольцо, Иван Гроза, Яков Михайлов, запорожец Никита Пан, Матвей Мещеряк из северных лесов и пятидесятник Богдан Бряга, Ермаков побратим.

Всадник взмахнул шляпой с белым пером.

— Вольга! Знаменитый река! Почему он Вольга, стольник?

Стольник Иван Мурашкин передразнил его:

— Вольга! Вольга! Эх ты, Вольга Святославич!..

Человек в шляпе с белым пером весьма обрадовался:

— Русски конт Вольга Свентославич на русски река Вольга! Я занесу это в мой журнал.

Но когда он проехал несколько шагов, ответ стольника показался ему обидным, он ударом кулака нахлобучил шляпу и внушительно произнес:

— Я слюжиль дожу в Венис и слюжиль крулю Ржечь Посполита, вот моя шпага слюжит крулю Жан.

Войско приближалось уже к Жегулям. Ратники иноземного строя грузно и старательно шагали в своем тяжелом одеянии. Следы казачьих станов были многочисленны, но ни живой души не было нигде.

— Смердят смерды, — с пренебрежением сказал Мурашкин: его конь ступал по битой винной посуде. Сам стольник потреблял только квас.

Всадник с пером не разделил негодования стольника.

— *Vinum vinum cum saroge*, — возразил он, — *bibat abbas cum priore*<sup>1</sup>. Русский человек пьет порох и водка и живет сто двадцать лет.

И он захохотал.

— Шпага капитан Поль-Пьер Беретт на весь земля прославляет великий руа Анри! А воровски казак, ви, стольник, должен понимать, есть замечательна арме. Один казак приводит один татарски раб в Москва и получает серебряну чашу, сорок зверь кунис, два платья и тридцать рубль.

---

<sup>1</sup> Доброе пенное вино пьет аббат с приором (латинск.).



Мурашкин был озабочен. Оставалось неясным, как выполнит он свою задачу — одним ударом уничтожить не в меру размножившиеся разбойничьи ватаги, срезать ту опухоль, которая закупоривала становую жилу рождающейся великой Руси, волжскую дорогу — путь на беспредельный восток, путь на сказочно богатый юг, тот путь, который открыли и сделали русским казанская и астраханская победы царя. И Мурашкин не считал себя обязанным выслушивать болтовню этого попрыгунчика, — довольно того, что, по воле государя, приходилось терпеть его, пожего на цаплю, около себя.

Беретт продолжал разглагольствовать:

— О, Русь — негоциант! Он покидал пахать земля. Он прекратит глупство и дикость. Я занесу это в мой журнал.

Стольник ожесточенно посмотрел на него. Так вот что он понимает, этот наостривший свою саблю и торгующий ею в Венеции, в Польше, на Москве!

А Беретт вспомнил о фразе из одного письма: «Если расти какой-либо державе, то этой» — и подумал, что дороги здесь дики и невообразимо длинны и что гарцовать перед своим полком и бесстрашно вести его в атаку на врага — это красиво и подобает прекрасному рыцарю и мужчине, а трястись вот так в седле — и даже без хорошего вина — через леса и степи, в которых уместились бы три королевства, подобает скорее кочевнику. И он потер свой зад и, усмехнувшись, отметил, что если московская держава еще вырастет, то, пожалуй, ему, капитану Полю-Пьеру Беретту, придется позаботиться о новом переходе на службу в государство более уютных размеров.

Крики и голоса раздались впереди. Ратники столпились вокруг чего-то на отлогом склоне, поросшем молодыми дубками. Мурашкин дал шпоры вороному.

Два мертвых тела были привязаны к стволам. Они были обнажены, уже тронуты разложением, со многими следами сабельных и ножевых ударов; оба обезглавлены. Головы чуть откатились по склону. Стольник долго глядел на них, потом перекрестился широким крестом, спешил и простоял без шапки, пока их зарывали.

— И кто бы вы ни были, — истово, как молитву, сказал он над их могилой, — гости ли купцы, аль простые

хрестьяне, — за все, пред господом и государем, воздам вашим мучителям.

Он не знал, что то была месть и кара атамана вольницы есаулу Чугую и казаку Бакаке.

— По коням, — негромко, сурово велел он стрельцам.

В рыбацкой деревеньке Мурашкин собрал жителей. «Были; куда делись — не ведаем», — сказали они о казаках.

— Никто не ведает? — повторил Мурашкин и оглядел толпу.

Тогда отозвалась женщина с круглым набеленным лицом и высокими черными бровями.

— Я скажу!

Мурашкин, по-стариковски мешкотно, опять слез с коня, подошел к ней, взял ее за руку.

— Звать тебя как?

— Клавдией.

— Открой, милая, бог видит, а за государем служба не пропадет.

— Не надо, я так... К Строгановым уплыли!

— Что говоришь? К Строгановым? Мыслимо ли? Прельстили тебя окаянные... Подумай!

Ласково, с добродушной грубоватостью он погладил ее белую пухлую руку.

— Красавица, — сказал Беретт и чмокнул губами.

— Не веришь? — метнулась женщина. — Агу? Тут остались ихние. Я укажу: у них спрости!

В скрытом ущельи, указанном ею, из земляной ямы выволокли пятерых там таившихся. У одного были рваные ноздри.

— Ты вор? — спросил Мурашкин.

— Нет, — ответил Рваная Ноздря.

— Казак?

— Казак.

Казаков вздернули на дыбу.

— Молчи, Степанко, — корчась, хрипел Рваная Ноздря.

— О! — восторженно прошептал Беретт. — Он молшит! Он знай: *ex lingua stulta incommoda multa*<sup>1</sup>.

Так и не понял воевода, куда девались Ермак и его люди. Из окрестных жителей многие, верно, и сами не зна-

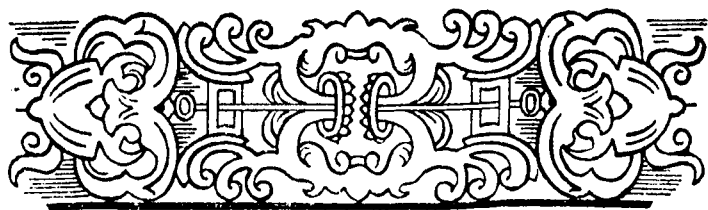
<sup>1</sup> От глупого языка много неудобств (латинск.).

ли, несли чушь: ушел в Астрахань, побежал к ногаям, подался воевать с поляками.

И Мурашкин двинулся во-свояси, уводя с собой в колодках пойманных казаков, захватив женщину Клавку и некоторых жителей тех двух убогих деревенок, что и столетия спустя еще прозывались Ермаковкой и Кольцовкой.

Но темной ночью один из колодников, который несколько суток до того не спал, когда спали другие, а перетирал, корчась от боли, цепи на своих искалеченных ногах, — сбил наконец эти цепи и ушел, шатаясь, черный, в лохмотьях, с кровавыми глазами, страшный, зверообразный.

То был Филька Рваная Ноздря.



## ВЕЛИКОПЕРМСКИЕ ВЛАСТЕЛИНЫ

1

**С**вейский мореход, о котором рассказывал Ермаку человек Строгановых, был норманн Отар, состоявший на службе у Альфреда Великого, короля Англии. Во второй половине IX века Отар поплыл по холодному рыбному морю, где коротко лето и долга темная бурная зима. Корабль Отара был узок и длинен, заостренные нос и корма круто подняты вверх. Ветер надувал четырехугольный парус на высокой мачте. И двадцать пар весел, продетых в отверстия по бортам, помогали ветру. А над бортами соединялись в сплошную стену щиты воинов.

Три дня Отар шел к полночи, и три дня он видел справа нагие скалы, узкие горла извилистых фиордов, суровую страну норманнов и викингов. Так он дошел до места, где китоловы поворачивают обратно свои корабли.

Но Отару хотелось узнать, есть ли конец этой стране или преграждает она море до самого царства вечной тьмы. И он поплыл дальше на север и плыл еще три дня.

Тут он увидел мыс, отвесный и черный, как бы обнаженный костяк земли. Солнце, хотя был полдень, едва поднялось над мысом. Волны били пеной о камень, и больше ничто не преграждало моря.

Отар дождался ветра с запада и четыре дня плыл на восток. Стался низкий берег, кривые деревья, словно хранившие на себе следы бури, цеплялись корнями за почву цвета золы.

Однажды мореплавателям явилась морская дева. У нее были женские груди и спина, длинные распущенные волосы качались на воде. Когда она нырнула, все увидели ее хвост, пестрый, как у тунца.

Берег вдруг повернул к югу, и, выждав северного ветра, Отар вошел в морской рукав. Пять дней он плыл по тихой и серой воде. Обширная и пустынная земля обступала ее. Отар бросил якорь против устья медленной реки. Странная жизнь кипела на ее туманных берегах. Мореплаватели увидели толпы людей. У них были русые волосы, голубые глаза и горделивая осанка; одеждой им служили драгоценные меха.

Тогда, с приветственными знаками, мореплаватели сошли на берег. Их встретил народ, ни в чем не знавший недостатка. Кость морского зверя и другая, дороже золота, которую выкапывали из земли, — лежали кучами. Дети играли самоцветами. И викинги поняли, что попали в могучую и богатую страну. Они выменяли меха и кости на привезенные товары и попрощались учтиво, потому что люди те были многочисленны и сильны.

Король Альфред записал со слов Отара повесть об этом путешествии.

И долго еще слагатели саг пели о стране Биармии, о ее сказочных богатствах, о сверкающих камнях, украшающих золотые статуи богов в ее храмах, и о людях, не знающих горя.

И еще дольше мореплаватели пытались найти счастливый берег полярного моря, на рубеже стран, полгода озаренных скудным светом холодного дня и полгода погруженных в ночь.

Множество дорогих мехов в самом деле издавна шло на юг из некоей северной страны. Неведомые охотники далеких лесов наполняли драгоценной «рухлядью» сосновые амбары города Булгар. И к пристаням Булгара приставали тяжелые барки, а в ворота входили, позванивая бронзовыми колокольцами, караваны верблюдов, пока ярость завоевателя Тимура не превратила в пепел сокровища волжского города и не разбросала камни его домов на берегу реки...

И уж не Пермь ли Великая в самом деле была сказочной пушной Биармией? Правда, моря в ней не было, пермская земля лежала, прислонившись к уральской каменной

стене. И, может быть, самое слово «Пермь», «парма» значило: высокое место.

Обширна, пустынна, сказочно богата была Пермская земля.

2

Частокол с тяжелыми воротами окружал хоромы. Они стояли на горе. Бревна стен были выпилены из мачтовых сосен. Строение обросло выступами, пристройками со вздутыми крышами, крылечками, от которых спускались вниз ступени лестниц, огражденных столбами. Вверху слюдяная чешуя посыпала ребристый купол. На нем задирал голову резной петух.

Как черный куст, вырастали на горе хоромы.

Тень их падала на город, на лачуги с бычьими пузырями в дырах окон и на весь косогор.

Трое людей сидели в дорожной пыли. Смотрели на бледное небо, на темные шатры леса на окрестных холмах и на барки на реке — они туго натягивали канаты, и от кормы у каждой тянулась борозда, будто барки бежали: так быстра была вода. Один из троих был плосколиц и чернобород, другой — маленький, нахмуренный, с рваной бровью, третий, видимо, статен, русоволос, с молодой курчавой бородкой.

На целую зиму стали старше эти трое людей с тех пор, как сживали вот так же на крутых горах над другой великой рекой, и на много лет постарели с того времени, как текла перед ними еще иная теплая река под высоким солнцем — тихий Дон.

А теперь сидели они в простой мужицкой одежде прямо в дорожной пыли, и прохожий народ вовсе не замечал их.

Место вокруг не было ни убогим, ни сирым. Виднелись церковки с пестрыми луковицами, иные со звонницами такого замысловатого строения, какого и не видано было на Руси. Кровелька на тонких паучьих ножках, закоптелая, но сверху тронутая жаркой ярью, стояла над проемом, в котором глухо, подземно перестукивали по железу кувалды и сипели мехи. Повозки, все одинаковые, ровно груженные, катились по гладкой, устланной бревнышками дороге, бежавшей из просеки в лесу к длинным приземистым, тоже одинаковым домам у пристани. Поодаль, в лощинке,

ухала сильно, тяжело, нечасто деревянная баба; и под дружные, в голос, покрики ворочал своим хоботом облепленный людьми ворот.

Плосколицый сказал, дивуясь:

— Этого не было прежде.

Тогда удивились двое других, и маленький выговорил: — Ну!.. Ты, что, бывал тут разве, побратимушка?

Но внезапно брякнули и растворились тяжелые ворота, и всадники выехали из них. Кони блистали серебристой сбруей, богато расшитыми чепраками.

Первый всадник был стар; чуть поодаль, в парче и соболях, ехали двое молодых.

Встречные низко кланялись им. Люди, работавшие на улице, скинули шапки. Но один из задних всадников махнул им рукой, и те надели шапки и опять взялись за свое дело.

Трое сидевших неспеша поднялись, когда верховые поровнялись с ними.

— Будь здоров, — сказал Ермак переднему. Тот только шевельнул бровями на крупном, грубом лице. Племянник Никита, ударив лошадь концом сапожка, поровнялся с дядей Семеном Аникиевичем.

— Кто таковы? — быстро спросил он, внимательно оглядывая захожих людей и будто нетерпеливо ожидая чего-то.

— Воевода казанский прислал меня с людишками, как вы писали.

Ермак показал на Богдана Брязгу и Гаврилу Ильина:

— Это — головы при мне.

— Гм! Казанский! — буркнул Семен Аникиевич.

Никита прищурился:

— Из Казани не близкий путь: так скоро не ждали.

Максим поглаживал рукою в перстнях шелковистые усы. Он молча разглядывал троих, стоявших без шапок. Дул прохладный ветер, чуть перебирал жесткие, в кружок обстриженные волосы на голове скуластого, чернородого, с впалыми глазами. Тусклые, будто заволокой закрытые глаза, лицо колодника. Максим поджал губы.

— Чудные ратнички завелись у московских воевод!

Встряхнул длинными, до плеч кудрями.

— Ступайте к приказчику. Нам недосуг с безделицей возиться...

Дела с казанским воеводой были для них безделицей!

А Никита усмехнулся и первый тронул коня шагом — уже впереди остальных.

Казаки зимовали на Каме на пустынном островке, кормясь волжскими запасами и выведывая. Теперь Ермак сам пришел в городок, но, прежде чем открыться, походил по городку и окрест.

Когда ввечеру он явился в строгановские хоромы, Никита Строганов без тени удивления ответил низким поклоном на его поклон и сказал:

— Добро пожаловать! Давно бы так!

Через два дня все казаки снялись со своего камского острова и приплыли в Чусовской городок.

Случилось это, как говорит строгановская летопись, 28 июля 1579 года, в день Кира и Иоанна.

### 3

Тесная крутая лесенка вела из сеней наверх.

Светло и просторно было в верхних горницах. Солнечные столбы падали из окон, синим огнем сверкали изразцы печей, желтые птицы прыгали за прутьями клетки. Ничто не доходило сюда, в расписное царство, снаружи, из мира нищих лачуг.

В беззвучии, в радужной тонкой пыли, царило тут богатство, неслыханное и невероятное.

Да полно, Пермь ли Великая это, глухомань, край земли?!

Гаврила был при Ермаке. Он смотрел, не отрывая глаз.

Но не «рухлядь» видел он, не мешки с самоцветами, как в побасках, а вещи такого дивного мастерства, что нельзя было вообразить, как они вышли из человеческих рук.

Витые шандалы со свечами. Поставцы с фигурными ножками. Складницы, чистые, как слезы, легкие, как птичье перышко. Вот чашка, искусно покрытая финифтью. На ней изображен луг. Трава его пряма, свежа и так зелена, как могла она быть, верно, только на лугах, не тревожимых ничьим дыханием. И видно сиянье над травой. Нежные цветы — колокольцы поднимаются ему навстречу. А посреди них, стройней и статней цветочного стебля, — молодец, соболиные брови, шапочка на черных кудрях. Щеки — в золотом пушке, алые по-девичьи губы приоткрыты. Он ждет кого-то. Стоит и поет, ожидая...



Отворилась створчатая дверь в горницу. Та, что вошла, была молода и нарядна, как боярышня. Она вошла с открытым лицом. Пышные рукава почти до земли, и, поверх белого покрывала, кокошник, унизанный жемчугом.

Она ступала маленькими шажками, высокие каблучки ее стучали; длинные, в палец, серьги вздрагивали.

— Батька! — шепнул Гаврила.—Ты гляди, гляди...

А она быстро поклонилась гостям — мужикам, и лицо ее под слоем белил и румян вспыхнуло.

Потом за створчатой дверью раздалась ее скорые-скорые шаги, будто, выйдя из горницы, она кинулась бегом.

Это была красавица жена Максима Строганова.

...Тяжелым серебром завалены столы. По рукам шли кованые чарки, кружки, братины, кубки в виде ананасов, на четверть ведра. Дымилась стерляжья уха. Горячил хмель, и громче обычного звучали голоса под низкими потолками.

— То, что видите, — говорил Никита, — не в единый час создано, да многим хвалиться не стану. Сам, меня не дожидаясь, вызнал. Сказывают, султан был такой, одевался нищим и бродил по городу... Тебе б хозяином быть, Ермак Тимофеевич. У тебя бы копейки не пропало.

— А тебе бы — в атаманы, Никита Григорьевич. Ни один воевода нипочем бы не поймал. Ты-то ведь тоже, — как я спервоначалу казанской сиротой прикинулся, — обо всем догадался.

Истинно, они были довольны друг другом. Никита продолжал:

— Шелка возим через Астрахань. Мастеров-полоняников у ханов выкупаем. Бочками идет к нам аликант, какого и царь не пивал на Москве. Лекари-немчины и всяких ремесел художники голландские — в челяди у нас.

Максим сказал:

— Гора огнедышащая — вот что наши вотчины. Погаными окружены. Только и знаем русского, что баньку. Москву чего поминать? Там тишь. Вот Юдин-купец и открыл в той тиши тридцать каменных лавок.

— Солью торгует, — отозвался Семен Аникиевич. — Соль-то, соль чья? Наша. А нас тут свои смерды-холопы выдать каждый день рады.

— Как Иуда Спасителя, — ввернул Максим.

Никита не забыл о хозяйских обязанностях, он поморщился:

— Э, полно с домашними сварами! Сор из избы... Атаман Ермак солью не торгует. А нашей соли Ганза просит. Лунд<sup>1</sup> ничего не жалеет за наших соболей.

Дядя Семен, старый и грузный, поднял глаза от блюда.

— Скажу, как начался род Строгановых. Два ста лет назад татарский князь Спиридон пришел из орды к Дмитрию Иоанновичу, к Донскому князю. И так за обиду стало это хану, что поднял он всю орду на Русь. За то, значит, что лучшего своего потерял. А великий князь, возжелав испытать верность нового слуги своего, возьми да и пошли самого Спиридона на татар. Татары сострогали ножами мясо с его костей.

Он перекрестил свое морщинистое мужицкое лицо и торжественно проговорил:

— Поэтому зовемся Строгановыми. Мы — княжьего роду!

И несколько мгновений значительно молчал; никто не решался перебить его.

— Когда князя Василья Васильевича Темного пополнили казанцы, погибала Москва, вся Русская земля скорбела. Кто выкупил из казанского плена слепца-мученика? Лука Строганов, внук Спиридона, а дед Аники, моего родителя!..

Он важно и строго обвел взглядом столы, потом подпер голову и старчески задремал. В свое время круто ему приходилось под тяжелой рукой Аники рядом со старшими братьями, Яковом и Григорием, любимцами отца. Теперь он сам был главой дома Строгановых.

Никита подмигнул:

— Дядя спит и князем себя видит. Он торопится: уже стар. А мне спешить некуда. Не в том вижу главное, а вот в чем, — он коснулся лба.

Между тем меды и брага текли по столам. Кто-то вскочил и заревел басом. Разгорелась ссора. В углу пьяно заорали срамную песню. Дюжий казак, уже полуголый, выворотил на пол мису с горячим варевом. Напрасно музыканты все громче дули в дудки и били в тарелки, стараясь заглушить ссору.

— Твой молодец, — сказал Никита, — остуди-ка его!

— Сам остуди, — усмехнулся Ермак.

— А что ж, остужу!

---

<sup>1</sup> Лондон.

Громко хлопнул в ладоши. На середину выкатились дураки в бубенцах и желтолицые писклявые карлы. И в то время, как одни плясали и корчились, выкрикивая, другие разлетелись к буянившему казаку, окружили его и, низко кланяясь, протягивая ковши и громадные братины, увлекли его в своем шутовском кольце.

Как ни в чем не бывало, Никита продолжал:

— Мореход голландский Брунелий плыл от нас в устья Обь-реки. Пути ишу в златокипящую Мангазею. Да, может, о делах не на пиру говорить? Это я, не взыщи, по обычаю своему: время для меня — что золото.

— Сам всю жизнь так мыслил, а не слыхал ни от кого. Золотые слова. Спасибо, Никита Григорьевич.

— Не на чем. Хмелен ты, Ермак Тимофеевич?

— Хмеля над собой в атаманы не ставил.

— Люблю,— сказала Никита.— Ну, коль так, пусть пьют, а тебя милости прошу в другую светелку.

И на лесенке в башню перестали они слышать гул гира.

#### 4

Там было немного икон, потухшая лампада, — не до того! — татарские счеты на столе: шарики, вздетые на проволоку. То — строгановская родовая гордость: Спиридон, по преданию, так и приехал с неизвестными до того на Руси счетами из Золотой Орды.

На круглом столике приготовлены крошечные чашечки. Отвар кипел в сосуде. Никита сам налил его в чашечки.

Он был желтоват, со странным, вязким травяным запахом.

— Что за зелье?

— Не пивал?

— Не доводилось.

— Не ты один. Иван Васильевич не пробовал и не слышивал.

Он объяснил:

— Китайская богдыханская трава — чай. Не пьянит, а веселит. Усталость и доuku гонит. Кто пьет, тому доста жить.

На другом, огромном столе было раскинуто полотнище бязи почти в сажень длиной и шириной. Чертеж. В середине его нарисованы горы. Между гор — церкви с кре-

стами. Внизу верблюды по-птичьи изгибали шеи над островерхими палатками. Вверху корабль, распустив паруса, шел по морю, среди ледяных глыб; на палубе стоял кормчий в бархатной шляпе и в туфлях с пряжками. А справа, позади гор, леса, и гигантские реки ветвились в их гуще. Окруженный зверями со вздыбленной шерстью, в шатре на корточках сидел чернобородый человек, подняв скипетр и державу. Далеко за ним, на самом краю земли, слоны тянулись хоботами к волосатым людям, качающимся на деревьях; народ в шелках стоял на коленях вокруг фарфоровых башен. И четыре ветра, надув щеки, дули с четырех углов карты.

— Смотри, атаман! Велика земля — умных голов на ней мало. Купцами и промышленниками Московское царство крепко. Скажу по чести, не хвалясь: нами, Строгановыми, Русь стоит!..

Дикие горы и церкви с крестами среди гор были нарисованы как бы средоточием мира — узлом, стянутым между шелками Бухары и Китая, льдами севера, неведомыми просторами востока и гильдейским западом. Рубежи мира сближались, страны подавали друг другу руки, на скрещении дорог сидел купец в куньей шапке и парчевом кафтане до пят.

Ермак слышал:

— Говорю самое сокровенное. Все выведал о тебе, а теперь вижу и сам. Потому и говорю, не дивись. Царь возвышен над народом, все ему дано, нет у него никакой нужды — да ничто не отуманит его глаз. С высоты он один зрит всю страну и неподкупно печется о ней. А мы? Сами, мнишь, богатеем? Земле творим богатство! Тут, на окраине дикой, радеем за Русь, за веру. Всей земле за-слон! Земля спала, нехоженная, язычники молились в поганых капищах. Аника Строганов, дед, бил челом об этой пустой земле великому государю Ивану Васильевичу. И призвал народ. Подъял неусыпный труд. Выстроил города. Государеву казну податями наполнил.

Никита нагнулся к чертежу, глаза его блестели.

— Смотри! Был генуэзец, фрязин, повел суда, за морем нашел Новый Свет. Золото кораблями оттуда...

— Свет, говоришь? — перебил Ермак. — Новый Свет? Нашел... кто ж он, фрязин этот?

— А ты, атаман, — тихо сказал Никита, — ты поду-

май: что ж, на Руси нет никого поотважней того генуэзца?

Ермак следил за его тонким красивым пальцем.

— Что там? Ель частая... пуща...

— Царство сибирское!

Ермак повторил:

— Сибирское царство...

— Слыхивал?

— Краем уха. Ты скажи! Чье ж то царство?

— Русское!—Никита ударил ребром ладони по чертежу. — Наше! А сидит там вор Кучум-царь, последыш Батыев.

И, как дядя на пиру, сказал торжественно:

— Великий государь царь Иван Васильевич пожаловал нам, ведая наше радение, Сибирские земли. И Тахчеи, и Тобол, и Обь-реку с Иртышом. Леса, пашни и руды: железные, медные, оловянные и горючие серы...

И развернул пергамент: «Дана грамота в Слободе лета 7082-го<sup>1</sup> мая в 30 день. Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси».

На шнурке висела царская печать ярого воску.

— Пустошь, — сказал Ермак. — Место немеряное...

Он подумал, прикрыв глаза веками.

— Рухляди ищите? Нелюдье раздольное...

— Там соболь. Царский зверь...

— А может, не одного того чаете, а...

— Дорожку? — горячим шопотом подсказал Никита.

— Путь — еще дальше.

— А куда путь? Куда, думай, казак!

— Вон — он! — Ермак указал на шелковый народ у фарфоровых башен.

— Высоко взорлил!—все горячей, все быстрее зашептал Никита. — Не столь! Не столь! Не большаком, не пряником. В глухих урманах истомится душа того, кто дерзнет напролом, на стремнинах изноет сердце, пески пустынь выбелят, заведут кости. А верный все ж то путь, самый верный. Слушай! То путь—в Великую Бухару.

— В Бухару!..

— Дивно тебе?

— А реками русскими? И — чрез море Хвальнское?

— Большого в сей день от меня не жди. Короче, ду-

<sup>1</sup> 1574 г.

масшь, и проще? Нет, твой путь — петлястей. Верно и коротко — как я сказал. Мозгуй.

И как будто перевел разговор:

— К каким богатствам поворачиваем Русь! Корабли пошли в Лунд, в Любок, в Атроп<sup>1</sup>. Польются оттуда нектарные вина, сукна, бархат, художества, блистающая утварь стеклянная. Краса, на Руси неслыханная, приманит красу. Золото прильнет к золоту. И все то — как в могиле лежит, за басурманскими мечами. Иди, пробуди! Кого же вспомянет Русь? Кого, Ермак? Воевод да бояр, что толстые мяса хоронят в Белокаменной? Строгановых вспомянет! Да тебя!..

Снова Ермак повторил:

— Сибирское царство.

Стукнули в дверь.

Донесся отдаленный отгул пира.

В дверях стоял человек. Строганов поднялся.

— Прости, Ермак. То за мной. Время—что золото. Ты же на пиру потешься.

И сказал уже шутливо:

— А кто стережет Кучумово царство? Чудь — заблудящая да гамалья — вогулишки.

5

Никита спустился крутой лесенкой, миновал боковые ходы. Служка нес перед ним светильник. Ражий детина ожидал в домово́й часовне. В пол ее был вделан двойной дубовый люк. Вглубь вели пахнущие глиной ступени. В подземельи, глухом, как гроб, зеленые звезды сырости мерцали на кирпичной кладке. Тяжелый замок долго не поддавался ключу в четверть длиной. Наконец, лязгнув, замок отскочил. Дверь, окованная железом, повернулась на скрипучих петлях. Огонь светца застелился — как зловонным ветром пахнуло из черной пасти двери. Слабые пятна и отблески побежали по стенам, полу и потолку погребца, куда вступил Никита.

Пляшущий мрак отступил и в одном из углов открыл скорченную фигуру человека, совершенно голого. Он согнулся пополам, как бы вися на кольце, к которому был прикован за пояс.

Сине-багровое, страшное, с вывернутыми суставами тело человека распухло.

<sup>1</sup> В Лондон. в Любек, в Антверпен.

В широко открытых глазах отсвечивал двумя красными точками язычок светца.

Палач ждал наготове.

— Падаль, — сказал Никита. — Где взял подметные листы беглого раба Афоньки Шешукова? Строгановы — сыроядцы, а? Душу выворочу!

6

Он поднялся назад в чертежную светелку. Он был доволен. Он посвистывал. Семен и Максим тоже были тут.

Трое Строгановых собрались в чертежной, и были они одни.

— Ты теперь к себе, в Кергедан, Никитушка? — ласково спросил Семен.

Никита налил себе холодного чаю.

— Что, без меня вольнее?

— Не дури! Общие дела сообща делаем.

— С атаманом-вором, — вставил Максим, — дело важнее всего.

Скучающим голосом он стал перечислять:

— Страховит. Лицо как в машкере. Волос подсекает коротко — как мних. Жох, все огни прошел. Взор — подкольный. Черемис аль цыган?

Он запел:

А в залесье калина,

Пню я, молодец, поклонюсь...

— Мы игрецы, — усмехнулся Никита. — Строгановы от века игрецы.

— Как бы не проиграться, братец. «Чорта в дом — не вышибешь лбом». Прыток ты.

— Я? Да что ж я — один разве? Аль уж вместе с дядей сплавить меня по Чусовой собрались?

— Что ты, голубчик, очнись, соколик! Ты же не гесина, чтоб тебя сплавлять по Чусовой. А только ты и на вепря один ходишь, да вепри, со страху, другой дорожкой бегают. Вот и с атаманом в особицу пуще всех рассыпался.

— А царского гнева за беглых воров боишься, — нетерпеливо сказал Никита, — землей закидай все, что в городишке против царского указа сделал. Боюсь, ох, боюсь, что и городишку-то придется тебе отдать воеводишкам.

— Вот ты ябеду и настрочи, — с той же скучающей холодной издевкой ответил Максим. — Я те и научу, как.

На себя глядя. Все и выйдет в точности, что от тебя про нас с дядей слышим.

Никита передернул плечами.

— По мне хоть вовсе отступайтесь. Хоть сейчас. А из моей воли не выйдут тати. Шелковы, как малые ребята, будут. Завидущие глаза, хватит силы, залью. Не доходило и не дойдет до Москвы.

И опять, пожав плечами, Никита протянул руку к чертежу, к лежавшей на нем царской грамоте с восковой печатью, — к той, что пять лет была пустым даром, почти насмешкой, куском пергамента, валявшимся в ящике.

Но тут произошло неожиданное. Быстро Максим перехватил руку Никиты. Некоторое время они боролись. Потом неловко расцепили руки, не глядя друг на друга.

Семен произнес умиленно:

— Аника из райской обители воззрися на дом Строгановых. Не ты ли порушишь его, Никита? Общее дело. Расхлебаем сообща!

Привстав, он сгреб грамоту, будто ловя мышь, и сунул ее за пазуху. Мурмолка у него сползла на затылок, открыв багровый лоб.

— Поспешаешь? — осклабился Никита.

— Цыц! — вдруг заорал Семен и сжал палку. — Гришка, твой отец, пикнуть не смел у Аники! Ступай, ступай во-свояси, добром ступай!..

Они стояли друг против друга, тяжело дыша, — трое изворотливых, ярых в достижении задуманного людей, в ярких сверкающих одеяниях. Теперь они были нагие друг перед другом.

Никита выдохнул с ненавистью:

— Ты, Семейко! Из гроба к горлу моему тянешься. Слаще всех тебе сибирский мед. Весь его в твою с Максимкой ненасытную утробу впихнуть хочешь. Но погоди: еще ты не обскакал меня.

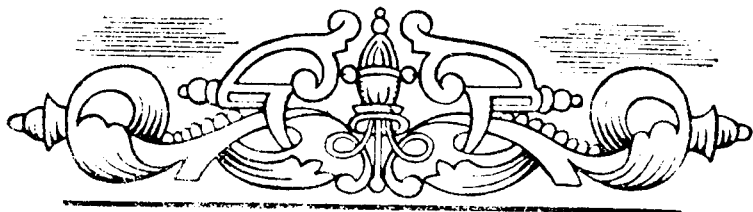
Он вышел, грохая подкованными сапогами. И сразу утишил волнение крови. Он привык мгновенно смирять себя.

Была светлая ночь. Он не ложился до утра.

Теперь все важные дела тут сделаны.

И Никита на рассвете погнал на тройке в город Кергедан, Орел тож, — торопить оттуда Брунелия, голландского морехода, чтобы тот живее искал кратчайший путь в златокипящую Мангазею.





## СТРАНА МУРАВЬЯ

Оливер Брюнель был валлонец, родом из Брюсселя. Корабли «Московской компании» плыли в Индию и Китай по Северному морю. Делами «Московской компании» правили в Лондоне шесть лордов, двадцать два рыцаря, тридцать эсквайров, восемь ольдерменов и восемь джентльменов. Корабли назывались: «Добрая Надежда», «Эдуард — Благое Предприятие», «Доброе Доверие», «Серчсрифт», что означает: «Ищи наживы».

Но наживы им пришлось искать гораздо ближе Индии и Китая: ни один корабль не проник дальше Карского моря. Зато многие корабли возвращались на Темзу с пенькой, воском, боченками сала и драгоценными мехами, которых хватило бы на тысячи королевских мантий. Еще привозили они с собой вести о мореходах, погибших во льдах.

За англичанами поплыли голландцы. Они захватили в свои руки торговлю в Беломорьи и Печорском крае. Целую факторию в Коле наполняли их товары.

И Брюнель также сел на корабль и приехал в Холмогоры.

Здесь он увидел мужиков, которые бесстрашно ходили на кочах в ледяное море.

— Река Обь? — чесали они в затылке. — Доехать можно...

И, проконопатив, высмолив свои лодки, похожие на глоскодонные корыта, они ставили на них неуклюжие пару-

са, бравшие только прямой ветер. — да и пускались мимо льдов, где вмерзшими стояли оба судна сэра Хью Виллоуби со своим экипажем мертвецов.

Поморы показывали Брюнелю бивни мамонта. Слоновая кость укрепила его в мысли, что он на верном пути в Индию и Китай. И мерцание золота зажглось перед его взором.

Английский купец рассказал ему о белом городе на далекой азиатской реке. Там живут железные люди; купец полагал, что это воины в броне. У них есть животные с длинной гривой и хвостом, но безрогие и с круглыми, а не раздвоенными по-оленьи копытами. Люди белого народа знали лошадей! Город этот, судя по всему, находился у стен Китая.

Англичанин уехал к себе на Темзу, пожелав Брюнелю здоровья и благополучия в этом мире и блаженства в мире грядущем.

А Брюнель больше не мог оторвать глаз от золотого миража, колышущегося над Северным морем.

Он снял с себя кружевной воротник, чулки, широкий шелковый пояс и надел меховые унты и тулуп поморов. Он отпустил бороду, стал божиться по-русски и принялся так настойчиво изучать обычаи этой страны, повадки ее купцов, управление воевод и тайну пути на Обь, что его схватили, как шпиона, и бросили в ярославскую тюрьму.

Но он был человеком без роду и племени, ненасытным, хитрым и готовым ради золота продать родину, отца и мать. Он понадобился Строгановым. Они сидели далеко на Урале, но у них была тысяча глаз, их доглядчики рыскали по городам и селам Московского царства и даже по таким странам, где до них не ходил никто.

Из своего камского далека Строгановы заметили Брюнеля в ярославской тюрьме. Их длинные руки отворили тюремные двери, Брюнель вышел на свободу и сделался строгановским приказчиком.

Тогда Строгановы снарядили его в Мангазею. Но тайну Восточного пути ему не удалось вынюхать до тюрьмы. Теперь он взял кормщика-помора, и тот провел его морем Печорским, урочищем Югорский Шар и Нарзомским морем<sup>1</sup>. Так он оказался счастливее капитанов Виллоуби, Стефена Бэрроу, Пита и Джекмена и первый из ино-

<sup>1</sup> Так называлась южная часть Карского моря.

странцев увидел Обскую губу, по которой скользили снятые из оленьих шкур лодчонки ненцев.

Сюда не добрались еще воеводы и приставы. Тут, на реке Тазе, стояли острожки, срубленные поморами-промышленниками и беглыми людьми. Эти люди вели торг с ненцами и попутно собирали с них ясак. Пахло тюленьим жиром и дикой гусятиной. Охотники раскладывали на берегах шкуры, добытки — кость и рыбу. Торгующие опорожняли корцы с горячим вином.

Вверх по реке простиралась громадная богатая страна.

Брюнель встретил на торгу людей с тючками, в которых было все: ножи и топоры, бусы и оловянные ложки, железные зеркальца и порох.

Люди с тючками бойко сбывали дешевый заморский товар, а в тючки к себе упрятывали лис, куниц, соболей горностаев, которым не было цены.

Вольная Мангазея на Тазе-реке за Обью была уже заглохнувшей.

Поразительную вещь узнал Брюнель: выходило, что люди с обиходным товаром — тоже от Строгановых. То же — как и он.

## 2

Никакой татарский мурза Спиридон не зачинал рода усольских вотчинников.

Он пошел, этот род богачей, от крестьянского или посадского, скорей всего новгородского, корня.

Были купцами, верно, с тугой мощной, если, по легенде, Лука Строганов в самом деле выкупил в 1445 году Василия Темного, внука Дмитрия Донского, из казанского плена. Но все же — только купцами, а время от времени род Строгановых порождал и тощие, крестьянские ветви. После покорения Новгорода Иваном III Васильевичем о гостях Строгановых больше не слышано было в вольном городе. Они бежали, но, сметливые и решительные, сразу скакнули широко. В книге «Описание новые земли Сибирского государства» об этом сказано так: «А тот мужик Строганов, породю новгородец, посадской человек, иже от страха смерти и казни великого государя царя Иоанна Васильевича всеа Руси самодержца из Новграда убежал со всем домом своим в Зыряны, сиречь в Пермь Великую».

Около Устюга и Соли Вычегодской в начале XVI века снова возникли Строгановы; 9 апреля 1517 года великий князь Василий Иванович дал грамоту на соляной промысел сыновьям Федора Строганова, внукам Луки — Степану, Осипу и Владимиру. То были старшие братья Аники, а самому Анике было тогда девятнадцать лет.

Но младший Аника далеко обогнал и братьев, и всех прочих Строгановых, предков своих, — так обогнал, что на триста лет стало пословицей: «Богат, как Аника Строганов».

Он начал уже стариться, ему стукнуло шестьдесят, когда вышло его дело. У него выросли помощники, любимые сыновья от второй жены Софьи — Яков (отец Максима) и Григорий (отец Никиты).

По отцову указу Григорий поставил в Москве, перед царскими приставами, щедро задаренными, пермитина Кодаула. И Кодаул, запуганный насмерть и прельщенный серебром, свидетельствовал, будто южнее Чердыни по Каме до Чусовой земля лежит пустая, без пашен и дворов.

Так добились Строгановы, в 1558 году, грамоты Грозного:

«Се яз царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии пожаловал есми Григория Аникиева сына Строганова, что мне бил челом а сказывал, что-де в нашей вотчине ниже Великие Перми за 80-т за 8 верст по Каме реке, по правую сторону Камы реки, с усть Лызвы речки, а по левую деи сторону реки Камы против Пызновские курьи, по обе стороны по Каме до Чюсовые реки места пустые, лесы черные, речки и озера дикие, острова и наводоки пустые, а всего деи того пустого места 146 верст».

Земли было 3 415 840 десятин. Он получил ее, Аника, так, здорово живешь, по челобитью Григорьеву и по лжи Кодауловой, — и она была не пуста, на ней издавна жили люди, охотились, ловили рыбу, сеяли хлеб, платили пошрины и то же, как Аника Строганов, варили соль. Они, и отцы их, первые пришли в глухие места, срубили лес, чтобы поставить жилье. Были свободными, но теперь — со всем своим добром — стали Аникины. Вот как начал он.

Он ставил варницы там, где сочились соляные рассолы. Яма, выложенная камнем, служила печью, а из деревянного ларя рассол стекал в црены, железные ящички-сковороды, висевшие на столбах. Люди стояли у цренов; соль проедала одежку и кожу на теле — язвы не заживали.

Работали с восхода до заката, осенями вставали затемно и ложились ночью. Приказчики покрикивали на крещеных: «Эх, работнички, радейте хозяина для!» Соль была дорога, мужицкий хлеб с мякиной дешев.

Дозволил царь созывать людей неписьменных и нетяглых, а письменных, тяглых и беглых боярских людей, буде забредут они в камские места, — велел хватать и отсылать господам их.

Аникины люди спускались в шахты-колодцы, и в раскаленных горнах уже клокотало железо. На склонах гор, в сланцах, желтели медные кристаллы. Аника, не раздумывая, сам завел у себя все, как у царя: и железное, и медное, и оловянное литье. Он лил свинцовые пули и делал порох.

Приказчики его рыскали по Руси, зазывали на Каму новых подданных. Где тут было разбирать, тяглый ли, «письменный» ли человек, или даже беглый холоп? Всем находилось место.

А воры еще ниже гнутся в земляных колодцах, еще теснее льнут в прожженных портах к горнам, крепче стоят в сторожевых башнях, у чугунных пушек: знают воры, что им некуда податься от камского владыки-благодетеля.

...«А что будет нам Григорей по своей челобитной ложно бил челом, или станет не по сей грамоте ходити или учнет воровати, и ся моя грамота не в грамоту».

И за царской подписью — приписи дьяков Петра Данилова и Третьяка Карачарова, да окольничих Федора Ивановича Умного и Алексея Федоровича Адашева, да казначеев Федора Ивановича Сукина и Хозяина Юрьевича Тютина.

И на шелковом шнурке — красная печать.

Он не платил в казну оброков с соли и рыбных ловель, ни ямских денег, ни податей. Ходил по своей земле в мужицком армячишке жилистый старик с суровым лицом угодника, строил не покладая рук, считал копейки.

Он был жив еще, когда в 1568 году, по челобитью другого сына, Якова, от царя снова подвалило счастье — по вые 4 129 217 десятин.

Так неслыханно росло Аникино богатство. Он умер через два года, в ангельском чине, в городке Сольвычегодске. И грамота царева так и не стала «не в грамоту».

Что ни делал Аника, ничто не доходило до Москвы.

Серебро раздуло его мощну, серебро затыкало рты пермских воевод. Как собачонки, они стояли на задних лапках, выпрашивая подачки у сурового и могучего камского властелина.

По грамоте 1568 года завладели Строгановы Чусовой и построили в пятидесяти верстах от устья Нижний Чусовской городок с крепостью при нем. Татары, остяки, пришедшие русские люди жили вокруг городка в старых деревнях — Калином Лугу, Камасине, Верхних Муллах, Слудке; многие из этих деревень есть еще и в наши времена.

Из городка правили Строгановы слободами Яйвенской и Сылвенской.

На Каме стоял город Орел, он же Кергедан, в нем девяносто дворов крестьянских и пищальничьих, церковь, соляные варницы.

В городки, под широкое крыло Строгановых, слетались мелкие купчишки, черный народ жил в землянках, неподалеку от тюрем стояли дворы попа и палача; аманатов, заложников от лесных племен, кормили юколой — гнилой рыбой, пищей ездовых собак на Югре.

Завели Строгановы и свой монастырь, — под горой, в устье Пыскорки. Монастырю были отведены земли от Чашкина озера до речки Зыряны, со слободой Канкаррой, деревней Новинками и десятью деревушками, пожнями и покосами, рыбными и звериными ловлями, бобровыми гонами и медовыми улазами, чтобы прилежно молились монахи о многогрешных строгановских душах.

Молодые Строгановы жили по заветам Аникиным. Еще больше строили они; веницейским стеклом и серебром засверкали их палаты; диковинные хоромы, башни, церкви, выстроенные по чертежам, поднялись рядом с крепко, помужички, сколоченными амбарами Аники; на реке снастили суда; книги в пергаменте и в телячьей коже, с драгоценными застежками, завелись в подклети.

Но так привыкли жить Строгановы, чтоб всегда во всем был двойной смысл: рядом с открытой дверью — потайная, рядом с человеком — другой, ему неведомый, за каждой мыслью иная, несходная с ней.

Может быть, скажем, чуточку опасались они, как бы страшный и необычайный волжский атаман (за которым, как и за многим в мире, давно и пристально следили они), как бы не вздумал он сам явиться на Каму, — потому и зазывали так рьяно...

Семен Аникиевич грузно сидел на лавке. Дурная кровь переполняла его оплывшее старческое тело, он еле вмещался в красном углу. Боль тупо сверлила то в груди, то в боку, то где-то в животе.

Поутру к нему являлся лекарь, арц.

— Вы спали лучше, — говорил он, склонившись, — в вашем глазу я вижу ясный кристалл. То мой инфузум расширил зрительную жилу, и пневма пробила ход сквозь слизь, эксцелленц.

Он подавал чашу.

— Тут симпатическая сила антимония и эссенция золота. Золото влажно и горячо снаружи, но сухо и холодно внутри. Оно подобно солнцу. Ваша болезнь спиритуальна, эксцелленц.

Кланялся.

— Благородная тинктура для благородной болезни.

Напиток был красноват и противен. Лицо врача, большое, костлявое, с широко расставленными неподвижными водянистыми глазами и двумя круглыми пятнами румянца на щеках вызывало представление о мертвой голове.

Семен Аникиевич морщился. Он не сомкнул глаз ночью, он не знал, зачем глотает эти отвары ценою в целую деревеньку с народом.

Он подумал, что баня, водка с селитрой и сотовый мед перед сном помогли бы ему больше и что при отце никакой целитель не переступал порога этого дома.

— Ты как лечишь? — сказал он, мутно глядя на бритого человека в епанче. — Я не церковный купол, что меня золотить. Печень горит у меня, печень в нутре. А ты — червонцы толочешь. Не травмишь ли?

Он вспыхнул и потух. Но череп, обтянутый румяной кожей, испуганно поник.

— Не смею прекословить, эксцелленц. Планета Юпитер отворит ворота печеночной жилы. Я принесу вам эссенцию аурипигмента. Она уничтожит черную желчь и усладит горечь желчи желтой. Так написано в книге «Парамирум».

А Семен Аникнев думал, что этот голос, скрипучий и вместе вкрадчивый, больше всего напоминает кваканье лягушки, помазанной лампадным маслом.

Когда врач ушел, тупая боль поднялась из живота и заняла в груди. И для Семена Аникиевича боль эта сливалась с неотступной мыслью, что не увидать ему ни княжества, ни строгановской Сибири. Зачем же звали воров, шли тайно от Москвы на опасное, дорогое дело?

Что же теперь, уж их и не выдворить? Шевеля губами, морщась, Семен Аникиевич, чтобы обмануть боль, пытался считать, сколько строгановского хлеба зря съело это не в добрый час зазванное разбойничье войско. Бормотал, качая головой:

— Мышь в коробе — что князь в городе!

Гнев поднимался в нем, помутневшие глаза начинали сверкать:

— Оле ж тебе, приткий Никитушка!

На стене висела клетка, в ней сидела пестрая заморская птица. И ему казалось, что заморская птица не принимала его попреков Никите. Она кричала из-за прутьев человеческим голосом—Семен Аникиевич, глава строгановского рода, так слышал ее слова:

— Чорта впряг, аж лысина взмокла, хворый байбак!..

И он стаскивал с потной головы замызганную мурмолку.

#### 4

Но Строгановы не отступались от игры. Не в их привычке то было. Игра была самой большой, какая когда-либо затевалась в строгановском роду, игра и с казаками, и с воеводой, и с самим царем.

По гнилым мосткам через четверо чердынских ворот вползали обозы с щедрыми строгановскими дарами воеводе. Дары нужны были затем, чтобы око государево дремало и не видело ничего, что творится в Усолье.

Око государево был вдовый князь Елецкий. Чердынские люди также носили ему, по заведенному обычаю, свои дары, кому сколько по силе. Сила у них, правда, была невелика, но князь Елецкий не привередничал. Если «нос» был не денежный, а вещевой — кованный ларец или медвежья шкура с оскаленной мордой, — воевода оглаживал его рукой; дареный мед сам непременно пробовал деревяною ложкой. Затем кричал ключнице, правившей домом:

— А мы с носом, Агафьюшка, мы с носом!

Когда через болота, через бездорожные леса добирался в Чердынь посланный из далекой Москвы, воевода испы-



тующе разглядывал его и неприметно среди разговора наводил:

— Государь-то где?

Московский человек отвечал, что царь в Слободе или что на малое время приехал в Кремль.

— Ты видел его? — И, понизив голос: — Как он, ну?

И если воевода не ошибся и человек был надежен, то после чарки, когда между ним и князем наставало доброе доверие, — отвечал, что царь грозен и лют.

Воевода чувствовал внезапную слабость в теле, и лоб у него покрывался испариной. Собеседник ухмылялся на воеводино смятение.

— Да ты чего, князь? Люди-те свои. Тебе-то все едино, будь хоть сатана из пекла. До тебя и в год не доскачешь...

Тогда, отеревшись рукавом, воевода шептал:

— От обычаев прадедов отступился... Камизольщиков полна Москва... Аглицкий царь!.. У нас душой отдохнешь, боярин.

Еще раз оглядевшись и убедившись, что они одни, приезжий, однако, тоже понижал голос до шопота. Слышалось:

— Коль в одиночку... один конец... По дереву — так и весь лес недолго...

Воевода кивал:

— Сборне надо. Сборне...

## 5

Казаки несли свою службу в Усолье.

Разбившись на отряды, они караулили страну.

Она лежала чащами и взгорьями, болотами и каменными грядами, огромная и пустынная, вдоль пустынных рек. Лось, фыркающая, сбрасывая с отростка рога застрявшую ветку, неся папоротниками к скрытому водою, эхо повторяло дробный стук его копыт. Желтая вода сочилась в медвежий след, похожий на человечесью ногу. Пожар красной ягоды охватывал в августе поляны. Стервятники кружились над тем местом, где валялся павший зверь, расклеванный, ободраный до кости голодными зубами.

Среди лесов катились быстрые реки.

Ночами обступал человекье жилье, волчий вой.

У околиц слободок валили деревья, корчевали и жгли всковые пни. Бурелом занимался от палов. Он горел, как

порох, с треском и пальбой, листва никла и скручивалась, горький дым, медленно вращаясь, восходил между берегами. И солнце висело в мертвенных венцах на тусклом, померкшем небе.

Тогда в непролазной глуши из своего жилья, похожего на трухлявый пенек, выходил вогул. Он тянул носом гарь, нахлобучивал шапчонку из бересты и брел медвежьими лазами, под бородами лишаев на столетней коре, в еще более глухую дичь, где в медной воде шевелились черные пьявки. Брел, согнувшись, его одежда словно поросла мохом.

Шли месяцы.

Угрюмо надвинулась осень и мочила дождями, и по черным ночам завывала в логах, пока не улеглась зима.

Светлые, узорно-разубранные, окованные, лежали камские места под низким солнцем короткого дня. И, отряхнув белый прах с пимов, потирая лица в дымном избяном тепле, говорил народ: «Старик шутник на улице стоять не велит, за нос домой тянет».

Миновала и долгая зима. Побурел в ямах последний снег, весна зеленым пламенем пробежала по клейкой глине обрывов.

Девушки с венками на головах собирались на лугу, расплетали косы, пели, плясали и пускали венки по воде.

И опять жар подымался от земли. В сумерках волки подходили к варницам и лизали соль.

Стояли белые ночи.

К концу лета лилово зацветал высокий узколистый Иван-чай. По утрам обкатывали росы.

Год завершал свой круг.

Гаврила Ильин летом ездил с казачьей станицей на север. Отъехал от станицы и взял путь напрямик — все ополночь. Увидел мочажины, и выворотни, и лесные кладбища — пенки. Крошечные булавы кольчатой мышьиной травы торчали на болоте. Открылась гора, вовсе черная, как из печной сажки. Внизу сгрудились избы — ворота их были с кровельками, как в шапочках, наличники резные, расписные ставеньки, островерхие крыши с венцом. Коза блеяла из подворотни, высовывая бледно-розовый язык.

Ильин постучался в избу. Хозяева были хмурые. Но угостили сытно. Вечер долго не угасал. Казак вышел на

улицу. Конь его жевал под навесом хрусткую траву с жесткими болотными резунцами. На топкой слани молча, без песен, плясали парни и девушки. Только слышалось чавканье ног в грязи, короткий смех, негромкие голоса. Казак постоял, поглядел, его будто не замечали, он вернулся в избу.

Хозяин тоже не спал. Он вращал при свете тяжелое точило. И диковинные камни были разложены кругом. По одному бежали багряные и молочные жилки и складывались так, точно ладья ныряла посреди ледяных глыб. Был камень кровавик. Камень волосатик. Был камень орлец. Были камни, полные дыму. И тусклое солнце сияло внутри как бы застывшей водяной капли.

В приголоку стукнули. Вошел сосед. Согнувшись, он долго рассматривал на светец то, что обтачивал хозяин.

— Вода текет? — спросил хозяин. Тот утвердительно хмыкнул. — А искра... Куда искра?..

— Тепла добавь, — решил сосед. — Поточи. Дай радость.

— Погодь, как полно-то силу отворю, — с суровым торжеством ответил хозяин.

Радуга, чуть поблекшая, цвела в руке высокого мужика.

— Злат цвет! — сказал Ильин.

И хозяин поднял на него тяжкий неприветный глаз.

— На себя накликай. Цвёл да отцвёл. Я не видел, и ты не видел, чур меня. Каменна Матка одна видела...

Ночь не надолго смежила глаза — и вот уже белая кошка пляшет в окошко. Хозяин с подождком-щупом, мешком да лопатой зашагал из избы. Он долго заглядывал в яницу на боку горы, как в глядельце. Казак поднялся на гору. И оттуда, на краю неба, он увидел раздвоенное облако. Было оно прозрачно и сине и огромно высилось надо всем.

— То что, дед? — спросил он у старика, дремавшего на солнышке.

— Камень-горы! — ответил старик.

— Далеко ль?

— Пряма дорога. Сам гляди. Он тихой, путь-то по нашим местам.

Но зыбка туманилась даль за черными дорогами. Туманами здесь называли еще озера...

Ильин заторопился из узорчатой деревни угрюмых людей. Но навсегда запомнил он то облако, которое было

дальше всего, за самой дальней далью, и все-таки нависало исполински надо всем... Он не умел рассказать об этом и, вернувшись на Чусовую, только про одно сказал казакам: про черную гору и каменные цветы в ней.

— А слышь, ребятушки... Нам бы клады те, — у шепелявого мелколицего казака Селиверста загорелись глаза. — И не хаживать бы отселева никуда!..

Бурнашка Баглай ответил:

— Сребра хочешь аль злата? Научу тебя, слышь. Змеин след примечай. Есть крылат змей. Проползет — гора донизу расселась. Дна нету, и ухаёт там, бабьим причетом причитает. Улетел, значит, а хозяйку поставил девку, горю-красу беречь... Там ищи!

6

И опять воронье, садясь тучей, отряхивало листву с берез. Под слепым осенним небом, собравшись кругом, казаки затевали песню:

Эх, да дороженька тырновая-я,  
Эх, да с Волги-реки!..

Но ветер хлестал сырые камские песни, скудно тлели лучины в низких срубках, бородачи, погорбясь, сумрачно слушали песню, — лица их казались земляными, опущенные узлистые руки — как корни... И гасла песня.

Скудная шла жизнь на строгановских хлебах, зряшная жизнь без обещанного прощения вин, без чаемых несказанных богатств, без своей воли.

Со злой тоски иные, захватив кулек пищи и лодчонку-душегубку, — кто с оружием, а кто и так, — убегали тайком, по последней воде, искать дороги на веселую Русь, на Волгу. И вода смывала их след.

Другие осели тут, на Каме, поманили их блудящие огоньки кладов и тоскливая бабья песня. И охолопились казаки.

Гаврила Ильин приручил трех ласок. Они бегали по нему, когда он спал, обнюхивая ему волосы и уши крошечными злыми мордочками. Под утро они сами забирались в кошель.

— Когда же через горы, батька?

— Чем потчуешь, атаман? Землю боярскую пахал. Ка-

ты рвали тело мое. Ты гляди, ты гляди-тко! На вольной Волге остался — вон каким стал. И опять — к тебе ушел. Тебя догонять...

Филька Рваная Ноздря выпрямился на искалеченных своих ногах, но были скривлены они в коленях, и оттого стал он ниже ростом, и странным казалось теперь большое, плотное четырехугольное туловище его.

— Все отдал, тело и душу, всю жизнь мою не пожалел за вольную волю. Николи не поклонюсь барам и боярам. Ты скажи, скажи прямо. Я не побоюсь. Я камень за пазуху да в Каму головой...

И Кольцо:

— Казаки мы? Ответь! Сожжем хоромы, серебро и соболей — в тороки, уйдем на Яик!..

Сурово ответил Ермак:

— Жди.

Так и эти, и другие, самые близкие атаману, не добились ничего. Только зубы обломали о жерновой камень, ибо «ермак» на языке волгарей значило не только таган, но еще ручной жернов. А по-татарски означало то еще протока, — куда ж текла теперь по ней вода?

Он сказал Кольцу:

— Казаки ли, пытаешь? Вот тебя с сего дня набольшим атаманом и ставлю. За меня. Помни ж. Пока сам по стругам не кликну, для всех нет в войске главней тебя.

Приезжал Никита Григорьевич, спросил о том, о сем, под конец настойчиво и нетерпеливо сказал:

— Что не видно тебя? Заходи, покалякаем.

А в хоромых в упор повел речь, что давно пора в Сибирь.

— Ржет воронко перед загородкой — подает голосок на иной городок, — сказал он пословицей.

— Орел еще крыл не расправил, — ответил Ермак.

— Пока расправит, как бы его вороны не заклевали. Да и не обучен я птичьему языку, — криво усмехнулся Никита Григорьевич.

На еланках бурели полоски сжатых хлебов. Дожинали позднюю рожь. Котин, тихий казак, садился на обмежки во ржах — высоко подымались колосья и клонились, согласно шурша. Осторожно пригибая стебель, он оглаживал два золотых рядка с прямым чубом на конце. То была Русь.

Они давали имена здешним безыменным ярам и холмам: Азов-гора, Думная гора, Казачья... Уже начиналось баловство: заметив путников с одной горки, сообщали знаком на вторую; пропустив, брали потом «с кички» и «с кормы», чтоб было все, как на Волге. А кто были их жертвами? Лесные охотнички, о ком некому порадеть! И называли казаки это самовольство на строгановской земле именем того, кто привел их сюда, на службу купцам. Пошли *ермачить*, — говорили, уходя в лес: так высоко навсегда стала в их умах прежняя грозная слава атамана. И это слово, и названья гор, перенесенные за тысячи верст со светлого юга казачьей тоской, жили потом еще века и дожили иные до наших дней...

Но уж выучились казаки глухому местному говорку, не как на Руси, — с одним повышением голоса на последнем слоге фразы. Погреб стали называть голбец, про глаза говорили — шары и о красивой девке — баская девка.

Ермака же неделями никто не видел.

Остроносая лодчонка уносила его по быстрым на-смурным рекам. Он выводывал, разузнавал, выпрашивал коренной народ, знавший окрестные земли.

Еще раз побывал у Никиты Григорьевича.

— Ну как, отрастил крыла-то? — спросил тот.

— Парусины ишу паруса ставить.

— Плыть через горы? — сказал Никита. — «Косят се-но на печи молотками раки».

— Дивно тебе? Скажи: откуда пала Чусовая?

— С Камня пала. С крутизны.

— А за той крутизной какие есть реки-речушки? Велики ли? Куда им путь на стороне Сибирской?

— Не знаю, не слыхивал. Водяной путь через Камень? Конные тропки по гольцам — и те кружат, день проедешь, а где вечер был — вон оно, глазом видать...

— Гольшом докинешь? То и не с руки нам — вкруговую плясать да гольшами перекидываться. Путь войску должен лечь — как стрела летит.

— Невиданный путь. *Как стрела летит!* И никто тебе его не укажет — ни русские, ни вогуличи и ни татары

даже. Чертеж в светелке помнишь? Человечек есть, кто чертил его. Мой человечек. С ним, разве, потолкуй. Он про то царство сибирское все ведает.

Под лестницей в строгановских хоромах ютился чертежный человек. Это был тощий старичок в подряснике. Книжки заваливали весь его закут. Огромные, чуть не в полпути, старинные пергаменты в телячьей коже; малые, на немецкой бумаге; книги, крытые бархатом, книги с серебряными застежками, книги с фигурами зверей... Лежали развернутые темные круги арабских землемеров, гснүэзские портоланы со звездами компасных румбов. Человек жил в горькой пыли, носившейся над вязью скорописи, над неровными новопечатными строками московского дьякона Ивана Федорова и Петра Мстиславца, — над ярью, киноварью, золотом заставок, похожих на тканые ковры.

— Чертеж, что в верхней горнице, истинно сотворен мною, — сказал он. — Не скудоумам изъяснить его. Зримое видят в нем и прелестное. Сорок лет затворен я тут от суесловия мира. И знай: я один скажу тебе о стране Сибирь!

Он воздел руки, перепачканные в черной и золотой краске.

— Тремя поясами перепоясана земля. Где пролег пояс хлада, там все обращено в твердый камень. Под горячим поясом текут реки свинца, там гибнет всякое дыхание. На среднем поясе — рождаются люди и звери, прозябают злаки.

И, втянув во впалую грудь затхлый воздух, он воскликнул, ликуя:

— Слушай! За Камнем, в азиатской стране, стоит царство попа Ивана. Три тысячи шестьсот царей покоряются ему. А живут в нем одноглазы и шестируки, псоглавцы, карлы и великаны. Бродят звери леонисы и урши и зверь бовеш о пяти ногах. Лежит море золотого песку. Камень кармакоул огнем пылает ночью. Текут там белые воды — белая река Геон. Не слыхивали в том царстве о татях, о скупцах, о льстецах, ниже о лжецах. Как идет поп Иван, несут перед ним блюда с землей, чтобы помнили люди, что от земли взяты и пойдут в землю. И нет там ни бедных, ни богатых. Подвизаются жители того царства Мафусайлов век, не ведая болезней. Ибо горесть, кривда и болез-

ни — то прельщение людское. Скажи: «Тьфу, блазнь!» — и нет их.

Он задохнулся, кашель потряс его тщедушное тело, и в тряпицу он отхаркнул кровь.

9

Легкой синью на небе возникли горы. Воздух двигался и переливался вдали. И вот уж в прозрачности погожего осеннего полудня видно стало, как зеленая пена взбегает по склонам и, словно разбившись о каменные гряды, отпрядывает обратно.

Ермак сказал наконец слово. И по тому слову казаки, не оповестив купцов, сели в струги. Проплыли Чусовую и повернули в Сылву. Тут был конец владений строгановских и начинались «озерки лешие, леса дикие».

У реки появились городки зырян и вогулов. Земляные кучи, лесные муравейники. Казаки дивились на них. Плыли неспеша, с частыми привалами, с одного из привалов выслали отряд «кучу разгрести, муравьиных яиц добыть». Отряд вернулся через малое время.

— Что за люди? — спросили у воротившихся.

— Оружья не ведают, — рассказал ходивший с добытками Бурнашка Баглай. — Зелья слыхом не слыхивали. Такой кроткой да утешной жизни, что им да веру христианскую — с ангелами б им говорить. Как овны беззлые — сами все богатства и отдали.

— Ты бы и остался там, с теми богатствами.

— Мое, малый, от меня не уйдет. Великого сокровища жажду. Жизнь-то я чуть почал — она, голубица, все мне еще в клюве принесет, как ветвь масличную, — пропищал великан.

Но богатства были — немного желтых дырявых лисьих шкур да несколько кубышек горьковатого меду, а сам Бурнашка был полунаг: и малые сокровища не держались в его длинных громадных руках, торчавших по локоть из рукавов рубища с чужого плеча.

И казаки гребли дальше мимо городков, уже не разгребая убогих земляных куч.

Суровая непогода поздней осени опустилась на ущелья.

И тогда понял Ермак, что «обмшненились», что по Сылве выхода в Сибирь нет.



А уже коченела земля: салом подернулась вода; белая муха зароилась в воздухе.

Где застигла беда, там и остановились. Насыпали вал, зарубили лесу, построили городок.

И вскоре голод подобрался к городку. Люди, посланные Ермаком, на лыжах прошли ущельем и—в мути, в колючей снежной замяти — разглядели черную тайгу загорной страны.

Были дни удачи.

В берлоге взяли медведицу. Убили сохатого и из жилы напились горячей крови.

Но все круче приходилось казакам. По утрам находили обмерших на ночном дозоре. Мертвых выволакивали за тын, зарывали прямо в снег.

Мутным кольцом облежала метель, выла над ледяным ущельем Сылвы.

Не все возвращались с охоты.

Бережочек зыблется,  
Да песочек сыплется,  
Ледочек ломится,  
Добры кони тонут,  
Молодцы томятся.  
Ино, боже, боже!  
Сотворил ты, боже,  
Да и небо, землю;  
Сотвори же, боже,  
Весновую службу!  
Не давай ты, боже,  
Зимовые службы!  
Зимовая служба —  
Молодцам кручинно  
Да сердцу надсадно.  
Ино, дай же, боже,  
Весновую службу!  
Весновая служба —  
Молодцам веселье,  
Сердцу утеха.  
И емлите, братцы,  
Яровые весельца;  
А садимся, братцы,  
В ветляны стружочки;  
Да грянемте, братцы,  
В яровы весельца,  
Ино, вниз по Волге!  
Сотворил нам боже  
Весновую службу!

И не выдержали слабые духом, они бежали по сылвенскому льду.

Тогда снова на страже лагеря Ермак поставил суровый донской закон.

Строго справлялась служба. Артели отвечали за казаков, сотники за артели, есаулы за сотников, казачий круг и атаман — за всех.

Недолго сочился мутный свет — и снова тьма. Дым и чад тлеющих головешек в избушках, в землянках, тошный смрад от истолченной коры, которую курили в огромных долбленных трубках, похожих на ложки; тяжелое дыхание тесно сбившихся людей. Опухшие, с кровоточащими деснами молча, недвижимо лежали. Только охнет, застонет в забытии да грузно повернется человек. Долгий, нескончаемо долгий вечер; ночь. Иногда, как бы очнувшись, кто-нибудь распластанный на шкурах подыметя, пошатываясь, толкнется к выходу — там сугробы выше человеческого роста, оттуда влетит, рассыплется белесый обжигающий столб.

Раздался голос атамана:

— Уныли? Рассолодели? Не мы первые, не мы последние. Грамотеи! Сказку расскажи. Что так сидеть?.. Послушаю.

Колыхнулась черная масса — стало различимо, что сложена она вдвое: сидящее туловище и перед ним ноги с поднятыми коленями — и колени и макушка одинаково чуть не упираются в потолок. Тонкий голос пропищал:

— А вот хоть я... Да сказки из головы давно вымел: сорока на хвосте принесет, в одно ухо вскочит, в другое выгоню. Быль скажу.

— В книгах прочитал или люди передали?

— Было. Вот слушай.

### *Быль казака Бурнашки Баглая*

Про свои дела не стану рассказывать. Не терплю похвальбы. Я и так всему войску ведом. Может, я не только что тут — и в Сибири бывал. А расскажу вам не про себя, а про казака, который в здешних местах бродил и не хныкал, не то, что вы.

Собрался тот вольный человек на охоту. Взял щепотку соли и наговорил на нее: «Встану, не благословясь, пойду, не перекрестясь, в чистое поле. И пусть сбегаются ко мне белые звери, зайцы криволапые и черноухие, со все четыре стороны, со востоку и с западу, с лета и с севера»

В лесу встречу ему — медведь. Сытый был, не кинулся, захрапел и наутек. Долго гнал его казак. Слышит бег медвежий перед собой, треск ветвей, на ветвях видит клоки шерсти, а нагнать не может. Распаллся.

Вдруг — смолк топот, шатнулись дерева. Показался медведь — голова с пчелиный улей, встал на дыбы, пасть, как дупло, дымом курится.

У казака и сердце зашлось. Шепчет: «Ставлю идола идолова от востока до запада, от земли до неба и во веки веков, аминь».

Сгинул медведь, будто и не было. Глядит казак — место неведомое. Дубы трехвековые, черные, топь в гнилушках. И ничего у казака — ни ножа, ни ружьишка, — где девалось!

Сорвал можжевелевой ягоды — да кисла, — бросил. Видит: уже смерклось, вышел в вышине пастух рогат на поле немеряно — пасти овец несчитанных.

Звезда одна скатилась, пала на землю и, как свечка, горит. Нагнулся к ней казак. Да обернулся во-время — катит к нему в черной свитке по трясине, как по-суху. Казак и ударь его наотмашь, — звякнул и рассыпался: куча злата жаром горит!

Мне что: я своего часа жду. Навороти передо мной чего хошь — и не колупну. А казачишка был тороплив. Слаб духом, значит, забыл, что и брюхо пусто: пал на ту кучу, в полы гребет, руки трясутся.

Только захлопало вверху — птица села на ветку. И говорит ему птица человеческим голосом:

— Ты кинь все это золото и серебро кинь. А возьми, слышь, простой малый камень.

Обмер: место черное. Не слыхивал, чтобы птицы говорили. Золото и серебро жаль кидать. Но поднял камешек. «Что, мол, такое?»

Так, кремешок. А глянул — глаза протирает. Будто солнце горит в камне, и зеленая трава по пояс, и листочки шелково шелестят. А в траве — пестрые шляпки грибные. И не шляпки грибные — крыши изб и теремов, окна резные, верхи позолочены. И народ травяной сует, — с ноготок — и того меньше. Бороды зеленые, ножки — стебельки, глаза — маковы росинки. Рос там желтый цвет — козлородник, раскрылся — стукнул, как воротца распахнулись. Выглядывает будто княжна или царевна, сама желтая, волосы желтые, нагнулась, вни: чего то кричит. А там

возы едут, плотники топорами стучат, бревно к бревну подгоняют, дом ставят.

А из самого большого терема выбежали слуги, расставили на дворе столы и скамьи, покрыли скатертями. И народ повалил — откуда взялся! Из щелей, из-под корней, на челнах — по луже, как по озеру, — а челн — лист, жилами шшит. И все разодеты — прямо бояре или, сказать, стольники. А столы полны. Печенья, соленья, и птица, и рыба, и ковши с медами да брагами. И трубы трубят, выговаривают: ту-ру-ру!

Помутилось с голодухи у казака. Пошел он по улице. Красота, строганные доски настланы вдоль домов, девки поют по теремам. Только идет, а народ вовсе его не замечает. Он — к одному, к другому: даже не поглядят. Будто и нет его.

Приходит на площадь. Бьет там водомет двумя струями: направо струя — чисто золото, налево — каменя самоцветные. Бери кто хочет! Да никто и не подходит. Зачерпнет разве кто ребятишкам на забаву.

А кругом сидят портные и шорники. Из маков да лопухов кафтаны и порты кроют, нитки сучаь, длинными иглами шьют, седла чинят. Утомятся или оголодают — выкинут изо рта язык в поларшина, полижут угол дома, губы оближут — и опять за иглу.

Пришел к большому терему. У ворот — стража. Хохлы из перьев на голове, сами в белых рубашках, стоят на одной ноге. И то ли копыя держат, то ли не копыя это, а просто клювы.

Пропускают: и эти не видят его.

Он — на двор да к столу. Пир горой, ковши вкруговую; песни орут, служки в платье цветном бегают, суетятся, еле гостям подносить успевают. А уж запахи, сладкие да сдобные, — за версту у сытого слюнки потекут.

Никого не стал спрашивать, хватить серебряное блюдо с вареной щукой. Ан перед ним на черепке лягушечья икра. Ого, братику! Лебединое крыло потянул в рот. Выплюнул: оса изжеванная. Хлебнул браги из ковша: гнилая вода болотная, черви красные извиваются, и в руках его — мертвая собачья голова.

А кругом — едят, не нахвалятся, пьют до доньшка. Гам, звон. Иные уж — и в пляс под музыку. И пар, примечай, духовитый: караси там в сметане, зайчатина плавает в соку.

Тут уж разобрало: как брякнет казак, как гаркнет, ска-терть долой, блюда оземь. Вот переполошились! Сбились в кучу, пальцами тычут, будто впервой увидали. Девки сбежались, тоненькие, как тростинки, тоже устались. И все галчат.

Тут он чует — опутало его будто нитками, тонкие, не видать даже, а не разорвешь. Поволокли в терем. Стража копьями — стук, растворила двери. Темно, как в домовине. Дорога тесная, то вверх, то вкось, то вниз — как в кривом суку. Прошли еще через двери. По сторонам их — летучие светцы. И видны вдоль стен какие-то сидни с мерзкими морщинистыми харями.

А за третьими черными дверями — пенек, весь в сморчках и поганках, трухлявый. Выходит из пенька старенький старичок, лицо в кулачок, на бороде мох, на одной ноге берестяной лапоток.

— Ты кто, — говорит, — с какой земли по наши души?

А казак отвечает: нашего, мол, царства человек, вольной-де жизни сыскать хочу, лиха на вас не мыслю, — отпустите Христа-ради.

Древесный старичок весь затрясся, руки в боки, хохочет, лист на башке прыгает, и бояре хохочут, пуза под кафтанами ходуном ходят, и стража — влѣжку.

— Тысячу лет, — говорит старичок, — я в Муравии державу держу. И богов твоих не ведаю и царства твоего не знавал. Хо-хо, — говорит, — твой царь-государь... Ла вон оно, понюхай, вольное царство. Худо же, — говорит, — ты искал его. Одно наше вольное царство и стоит на свете, никакого другого нет. А ты его и не приметил. И какая-токая у вас скудность и теснота, ты потешь, расскажи нам. Места, что ль, на земле не стало?

Тут он сморщился и — как чихнет, — черная пыль из поганок полетела.

— Эй! — сипит. — Мертвым духом пахнет. Сведите-ка его в погреба да попытайте, откуда он такой взялся и какое-токое его царство Московское. Чтой-то не пойму.

Потащили казака в кротовину у корня дуба. Стали под ногти загонять колючки — подноготную выпытывать. Крепится, только шепчет: «Небо лубяно и земля лубяна».

Да не вытерпел, крикнул и уронил камень.

Оглянулся — ночь, топь, и нет ничего. Пошарил — и клада нет.

Как и выбрался с того места! Пришел — одеждонка в

ключья. Только срам прикрыт. Отошал, одичал, как зверь лесной. А рука снятая, до плеча раздулась.

После — три дня вином душу отмачивал да похвалялся, будто сам атаман подносил. И я с ним пил, да что с него спросишь: мне б доведись до того старичка-сморчка, я б с ним не так поговорил!

Однажды красное без лучей выкатилось солнце в мглистом тумане. И странный красноватый отсвет лег на землю. Ермак поглядел на солнце. Резал мороз, туман был острым и сухим. Тусклый выпуклый шар висел высоко на небе. Широко шагая, Ермак вышел за тын, отломил ветку. Тягучая зелень открылась на волокнистом сломе.

Заметенный снегом, казался мертвым стан. Зычно, весело разнесся голос Ермака:

— Эй, заспались!..

А в эту самую пору стукнуло окошко терема в Чусовой. Максим Яковлевич Строганов выглянул, рукой придерживая кудрявые волосы, которые зашевелил ветер. Там не было тумана, искрился снег, но какая-то желтизна проступила в его сахарном блеске. Народ толпился у реки, оттуда доносился говор, звонкие окрики. И вдруг полнозвучно и протяжно ударил колокол, подхватили впереводку малые колокола, красный звон полился по всему сияющему миру.

Был воскресный день.

Максим Яковлевич глубоко вдохнул резкий, пахучий, радостный воздух, схватил шапку с собольей опушкой, накинул шубу. У паперти он раскрыл кошель, горстью черпнул денег.

— Лови, православные... ух!

Нищие затянули стихиру.

— Пляши! — крикнул Максим.

Лихо, боком, играя бровями, раскинув шелковые кудри из-под заломленной шапки, подошел он к девке, залюбовавшейся на щедрого веселого синеглазого красавца, выхватил ее, закружил на умятом, отпотевшем снегу, сам запевая высоким чистым голосом:

Овсень! Таусень!  
Все ворота красны,  
Верей все пестры, —  
Ты взойди — погляди  
К Филимону на двор!..

Ермак не торопился обратно к купцам. Место страшной зимовки, место, где многих закопали в землю, а все ж выдюжили, — то было первое не строгановское — его место. Его, Ермака, и его войска.

Да и новсе ли зря миновалось грозное испытание?

Нечто переломилось в казачьем стане под сылвенскими снегами, долой отпало многое — занялось, укрепилось иное. Пришла буйная, хотя и покорная атаманскому слову вольница. А теперь, по весне, становилась она — войском.

Ермак медлил на этом своем, казачьей кровью купленном, месте, устраивал свой первый, самый дальний русский городок на неведомой земле. И чтобы крепко стоял он, Ермак построил в нем часовенку и освятил ее 9 мая, на Николу Вешнего.

И доньне есть там — на левом берегу Сылвы, в устье реки Шатлыки — деревенька, и зовется она: Хутора Ермаковы.

11

Три месяца прослужили еще казаки Строгановым.

Неспокойны были эти три месяца.

Камская земля глухо волновалась и сотрясалась.

Сначала, скатившись с Каменных гор, тучей налетели на нее вогулы. Вел их мурза Бегбелий Агтаков. По селам и починкам побежал красный петух.

Мурза подступил под Сылвенский острожок и под самые Чусовские городки. Тут переняли его казаки. Бегбелий не выдержал боя и побежал.

Он был Кучумов мурза. От людей его, захваченных казаками, еще многое узнал Ермак о вогульских становищах, о земле Сибири и о племенах — данниках Кучума...

Но теперь уж не гостить, не выведывать и не служить купцам вернулся Ермак в Прикамье.

Новый срок отплытия указал он своему войску — на месяц раньше прошлогоднего, но все же к осени, когда собирают и обмолотят урожай в тех местах, где должно прой-

ти казачье войско. Таков был расчет Ермака. То был тоже урок зимовки на Сылве. И не только в одном этом был урок.

Толпа казаков двинулась к амбарам у причалов. Яростные крики долетели оттуда. Грохнула тяжелая дубовая дверь, обитая железными полосами.

Максим Яковлевич прибежал на шум.

— Что тут у вас? — спросил он с брезгливой гримасой.

«Не уберутся никак, — чорт не возьмет. Добро, Никитушка! Умней всех!» — злобно подумал он.

— Грабят! — взвизгнул приказчик. — Максим Яковлич, жизнь порешить хотят...

Он стоял, раскинув руки, будто распятый, защищая дверь.

— На кой ляд нам твоя жизнь, тля, — проговорил высокий, с черным кляком. — Пльвем, слышь, купец, в Сибирь пльвем! Припасу отвали!

Максим pokrивился.

— Какого припасу? И с тобой ли толковать про то?

— А со мной! Со мной потолкуешь! Отворяй! — рявкнул высокий.

Максим оглядел его, не двигаясь. Крупное гладкое смуглое лицо, большие блестящие глаза на выкате, черные, почти без белков, с длинными ресницами, густые широкие брови. «Бабы любят», — подумал Максим.

Твердо сказал:

— Твой атаман дорогу ко строгановскому крыльцу знает. А ты пьян, эй, уймись по-хорошему!

Но высокий возразил:

— Я — Кольцо, атаман.

— Главный где твой?

— Я тебе главный, слышь!

«Что тот, что этот», — мелькнуло у Максима. Насмешливо, голосом брата Никиты, и горделиво он сказал:

— Чего ж тебе надо, главный?

И тогда отдельно, на память Кольцо перечислил то, что велел ему запомнить и вытребовать Ермак: три пушки; ружья безоружным (он счел, сколько ружей); на каждого казака по три фунта пороха; по три фунта свинца; по три пуда ржаной муки; по два пуда крупы и овсяного толокна;



по пуду сухарей и соли; по половине свиной туши; по безмену<sup>1</sup> масла на двоих...

— Не давай, хозяин! Не соглашайся, батюшка! — запричитал приказчик.

Максим снял с головы шапку и с поклоном подал казаку:

— А то и рубашонку с себя скинуть? Ты говори, чего там!

Приказчик голосил:

— Уговор был... Максим Яковлич, ваша милость, вдесятеро тянет, безбожник! Пороху даем два боченка. Ржицы пять четвертей... Креста нет, бесстыжий!.. Хорюгви даем...

— Хорюгви? — крикнул Кольцо. — Хорюгви? А тебе Сибирское царство? — Он пнул подкованным сапогом дубовую дверь. — Вот мой уговор! Будя лясы точить. Отворяй!

Максим надменно вскинул голову:

— На кого гаркаешь? Поберегись! Шиша же получишь.

И вдруг, вкрадчиво, с любопытством спросил:

— А того, другого... в машкере... ты уходил, что ли?

Лязгнула сабля, выхваченная из ножен Кольцом. Он подскочил к Максиму с бешеным ругательством.

— Башку долой! Падаль твою по клоку расстреляем!

Максим слышал гоготанье толпы. Он озирался, как затравленный волк. Приказчик, с побелевшим лицом, отпирал замок.

Когда Максим, повернувшись, пошел домой, он ощутил, что держит что-то в руке: серебряная подковка, «на счастье». Она была согнута, исковеркана. Он отбросил ее прочь.

День и ночь строгановские приказчики меряли, насыпали в мешки, отвешивали на контарях — весах с одной чашкой — хлеб, крупу, толокно, порох. День и ночь грузили казаки струги.

Когда затухали огни варниц, собирались глядеть на необычайные сборы люди в язвах, выжженных солью, и

<sup>1</sup> Примерно, один килограмм.

подземные люди-кроты из рудных шахт. Во тьме они выползали наружу, ковыляя и харкая черной мокротой. все еще поживаясь от могильного озноба. Крoясь во мраке, сходились у своих землянок лесовики. Хмурo смотрели на движущуюся цепь теней, протянутую от тусклых светцов в распахнутых амбарах до белесой дороги реки. У амбаров и на пристани кипела веселая работа — с по-свистом, с окриком, с ладным стуком молотков и крепкой руганью. Неслыханная в этих местах работа. Неведомые затеяли ее пришельцы, путь-дорогу выбрали себе не указанную. И сами Строгановы поклонились им.

13

Настало небывалое в строгановских вотчинах. Белый волк пробежал по улице слободы при всем народе, ратные люди палили в него, да пули не взяли, -- так и ушел в леса. Баба родила младенца — весь черный, с лягушечьими лапками.

И пополз слух: «Будет за все управа; великие предостоят перемены».

— Кровью крестьянской жив хозяин! Возьмешь у него лычко, отдай ремешок.

— Роем землю до глины, а едим мякину.

В лесах и горах вогульских скрывался Афонька Шешуков, а с ним — вольная ватага русских людей, и зырян, и вогулов. А у Афоньки царская грамота — все-де переменить, кончить купцов-людоедов...

— Приспееет время. Придет Афонька. Все сделает Афонька по царской грамоте. Варницы окаянные поломают. Не соль — мясо крестьянское в них варят. Камни, серебряну руду — кто добыл, тот, не таясь, и бери себе. Недолго царевать Строгановым. Гарцовал пан, да с коня спал.

— Чего казакам одним уходить? Они путь кажут. Айда с Ермаком! В казаки!

— Воля, ребята!

— Воля!..

14

Вышел человек из дебри. Смело пробрался к самой Чусовой. Люди в починках и деревнях пекли и варили, чтобы было чем встретить гостя, если завернет в их жилье.

Бедняки велели своим хозяикам вытаскивать последние припасы. Но он отыскал сперва неказистый шатер в казачьем стане.

— Тебя хочу видеть, — сказал человек, одетый в звериную шкуру. — Твоя дорога поперек моих. Отойди в сторону, не мешай народу.

— Мне идти поперек гор, — ответил Ермак, — тебе — под горой. Жди, пока разминемся.

— Горе не ждет. Кричит горе!

— Чего хочешь?

— Казачки твои чтоб слыхом не слышали, видом не видели ничего, когда свершится суд мужичий.

— Я тут еще стою. Поберегись!

— Ай раздавишь?

— Свое слово один раз молваю.

Помолчали.

— Не счесть, сколько годов кроюсь в дебри, — заговорил покрытый шкурой. — Малым жив бывает человек. Воздух сладкий, ручей студень, щокот птичий, дерева зеленые — все ему дается. А жаден он, ногу поровит на хребет другому упереть и кричит: «Мое!»

— А ты крепче стой за свое!

— Не глумись! За свое и пришел постоять. Мало злодеев, да всё землю топчут. За них ли подымешь саблю?

— Не строгановской правды ищу, а правды войска моего.

— Одна на свете правда. Хрестьянская. Со злодеями сразись, с теми, кто хребет мужичий ломит; о живых душах кричит: «Мое!» Вот она и будет правда — святая, всем просторная, правда живота, не смертного тлена...

Тогда Ермак сказал ему то, что когда-то Филимону Ноудре:

— От какой тесноты я ушел — ведаешь про то? Какого лиха хлебнул? Сколько батоков спину мою полосовали — считал ты? Рубцы от лямки щупал? Язвы соляные видел? С полночи на полдень вот этими ногами протопал. С заката до восхода. Светлый Дон оставил — темен он мне показался. Приволья матери широкой Волги не пожалел. Ты ли меня остановишь? Узок твой кафтан, боюсь, на плечи накинута — по швам поползет.

— Народ, — ответил лесной человек, — как травяное поле. Выкоси его — отрастет. Выжги — зазеленеет. Нету

переводу народу. Нету истребленья. Мир — он свое по-дымет. Нынче ли, завтра ли... А мимо его — пути нет, ты помни!

— Сильный смерти не трепещет, жизни но себе ищет. Крут мой путь. Горсть веду на целое царство. Приставай к нам, коли смел.

— Так, атаман, — покончил Афанасий Шешуков, вставая. — Твой путь — для горсти, а мой вселенский, да еще круче. Не белые воды, не соболина казна — плаха на нем. Не знаю, перешагну ли. Да прямо на нее итти людское горе велит!

## 15

На реке груженные доверху казачьи суда не выдержали, стали тонуть. Ермак велел прибить с бортов широкие доски. Но и доски не помогли, и тогда выгрузили и оставили часть припасов, не трогая военного снаряда.

И вот — готово к походу казачье войско.

Под Ермаком атаманы: Кольцо, Михайлов, Гроза, Мецерьяк и Пан. Под атаманами есаулы, выбранные из простых казаков. Есаулы знали грамоте и — когда надо — были за полковых писарей. Войско поверстано по сотням, в каждой — сотник, пятидесятники, десятники и знаменщик со знаменем.

За попа был старец-бродяга, Мелентий Нырков, ходил без черных риз, но знал исправно церковный круг и знатно варил кашу.

Были еще трубачи, зурначи, литаврщики и барабанщики.

Оружие войска: легкие пушечки, доспехи, сабли, копья, бердыши, тяжелые двухаршинные и семипядные пищали. Ружей все же нехватило на всех — у иных были луки.

Приехал на малое время Никита. Он показал вид, будто ничего не случилось. Деловито осведомился, всем ли довольны казаки. Сам осмотрел пушки и несколько доспехов, прищурясь, пересыпал из горсти в горсть муку.

Потом сказал торжественно:

— Ну, вижу, удоволили вас. Ужину<sup>1</sup> наперед выдали. Чаю, не забудете того, когда общую нашу добычу дуванить станете. За прежние же вины словцо замолвим —

<sup>1</sup> У ж и н а — пай, доля (из будущей добычи).

строгановское слово не мимо перед царским слухом молвится.

Он кивнул писарям. У них уже были готовы кабалы на казаков за все — добром и недобром взятое. Что ни случалось, все умели Строгановы обернуть выгодой для себя: на том и возвысился строгановский дом.

Максим выступил вперед.

— Про вас говорят: ни в сон, ни в чох... А вы бы, разудалые, идучи на подвиг ратный, христианский, перед богом обеты положили... По обычаю, атаманы.

Он чуть приметно покривил губы. Божба разудалых показалась ему забавной.

Строгановские люди держали принесенные хоругви — дар вотчинников идущим на подвиг. Святители, угодники яркого, нового, пестрого, хрупкого письма — не похожие на смурых казачьих.

К этим хоругвям оборотился Ермак. Озорная мысль мелькнула в нем.

— Мелентий, — позвал он погоду. — А освяти ты, Мелентий, хоругви вот эти, дар нам... Строгановским, слышал, клялся я, а ты их по-нашему, по-казачьи, окрести! Толпа, поняв, грохнула. Но он возвысил голос.

— Освяти их на жесточь, на бездомовность нашу. Пусть ведают одну крышу над головой: небеса. Освяти их на вихри и бури; чтоб от дождей не вымокли, чтоб вьюга не занесла. На стрелы каленые, на пищальный гром, на дым пороховой освяти. И чтоб всегда билось казачье сердце в груди того, кто понесет их, — так освяти!

Толпа казаков слушала в молчании. Все как один поскидали шапки.

Потом грянули литавры, забил барабан. Кинулись по стругам.

Всех отплывавших было счетом шестьсот пятьдесят четыре; много охочих строгановских людей пристали к войску.

Атаман Ермак поднес ко рту рог. На головном струге весла рванули воду.

Было 1 сентября 1581 года.

Всего прожили казаки у Строгановых два года и два месяца с днями.

Никита Григорьевич тотчас уехал в Кергедан.  
И во-время.

Едва стая стругов скрылась за поворотом реки и пропала из глаз камских людей, еще в крутых берегах отдавалась, затихая, стоголосая песня, как уже полетела весть по камской земле:

— Казаки ушли!..

Как на крыльях неслась от села к селу, от починка к починку.

И тогда пельымский князь Кихек, стоявший наготове, спустился с гор с вогулами, татарами, остяками, вотяками и пермяками.

А в строгановских вотчинах поднялся черный люд.

Забили в набат на ветхих звонницах по погостам. Вешали приказчиков и дома их сжигали, чтоб и семен не осталось строгановских холоуев. Как на праздник, в белых рубахах и в кумаче двинулись к острогам с косами, серпами, молотками и рогатинами, разбили колодки колодникам, выволокли на волю людей из смрадных земляных ям. Потом пошли расшибать варницы. И золоченые чешуйчатые кровли, причудливые, на Руси невиданные церкви, то о многих углах, то похожие на диковинные корабли, смотрели, озаренные багровым светом, как бушует народный гнев.

В окна строгановского дома на Чусовой были видны зарева и пламя пожаров. Максим Яковлевич не ложился спать. Раздраженно по кругу он обходил горницы. И в каждое окно светило зарево.

В комнате дяди перед темными ликами в серебряных окладах горели толстые свечи. На сбитой постели валялась шуба.

— Где челядь?—брюзгливо спросил больной Семен Аникиевич. — Почему темно во всем доме?

Он поднялся, сел у окна, зябко кутаясь.

— Челядь! Вылезут из щелей, как увидят, чья возьмет. Да братнина подмога спешит из Кергедана. Скачет, торопится — нас от лютой смерти избавить.

Максим насмешливо сжал губы, но левое веко его дернулось.

Окна закрыты наглухо, все же сквозь них донесся вопль толпы и затем тяжкие удары. Может быть, то били стволом дерева в тын Чусовского городка.

— Пиши! — закричал Семен. — Пиши об окаянстве Никитином! Пиши, что он весь род Строгановых извести задумал. Челобитную государю пиши на собаку!

В башнях по углам сидели строгановские пищальники. Их было мало; жидко звучали выстрелы.

Сумрачный, суровый сновал в городе народ. Слушал удары в городской тын и только ждуще хмурил брови с мрачной усмешкой.

Вдруг истощный крик донесся из-за тына. Страшный, далекий тоскливый, смертный вопль.

Тихо, совсем тихо стало в городе. Недоуменно, настороженно вслушивались люди, еще не понимая.

Вмиг широкое, плещущее пламя взвилось в черное небо. Зловеще светло стало на городской площади. В тишине, сквозь крики, сквозь вой и грохот у стен, явственно слышалось смоляное шипенье и потрескивание гигантского костра.

— Братцы! Что же это?!

— Девоч бьют! Баб! Братцы! Ребят жгут огнем!

— Женка моя... Сама осталась! С тремя малыymi... Люди добрые, а-а!..

И грянул громкий голос:

— Что делаем? Русские мы? В оружейну избу!

Тотчас отозвалось:

— Оружье бери!

— К стрелецкому голове!

— Вар варить!

— Стучат. Ворота высаживают.

— Не высадят!

Кто-то крикнул:

— К Максиму Яковличу! Пусть дает пики, топоры.

— В оружейну избу!

Колыхнулась, метнулась толпа. Иные бежали к башням на подмогу к стрельцам. Ядро же толпы быстро двинулось к стрелецкой избе. Во главе, без шапки, хромя и подергивая спиной, шел высокий человек. То был кузнец Артюшка Пороша, битый кнутом, потом брошенный в подземную тюрьму и пытанный по наговору тайного строгановского доглядчика.

Кихек подступил к Чердыни, очень удивив воеводу Елецкого, который никак не представлял себе, что ему придется воевать и что его позеленевшие пушки могут сгодиться на что-нибудь, кроме как на то, чтобы безвредно стоять на ветхих станках.

Воевода затворился в городе. А Кихек, нагнав страху на князя и простояв малое время, опустошил всю местность окрест и двинулся на юг. Он взял, разграбил и сжег Соликамск. Подступил к Кергедану, и очень ошибался Семен Аникиевич, торопясь послать в Москву челобитную с черных замыслах Никиты Григорьевича против строгановского дома.

Кихек не взял Кергедана. Далеко в горах устоял Сылвенский казачий городок. Но на четыреста верст край был разорен. Кихек все выжигал на своем пути, вырезал много людей.

И весь народ поднялся против вражеского нашествия.

Большая беда заслонила все остальные беды. Строгановские кабальные теми же косами и топорами, которыми убивали приказчиков, теперь косили и рубили отряды Кихека, подстерегая их в лесах, на скрытых тропах. Вместе со стрельцами грудью отражали нападения на городки.

И, захватив, что мог, Кихек ушел. Он торопливо скрылся в ту сторону, куда уплыли казаки.

На свое счастье он не догнал Ермака.

Когда, в декабре 1581 года, в Пермь приехали царские гонцы с грозными грамотами Елецкому и Строгановым, они увидели пустынную страну, обугленные срубы вымерших деревень, груды развалин, где ютились голодные, одичалые, кое-как прикрытые шкурами и рублищем люди.

Страшная память о нашествии Кихека жила в крае еще триста лет.





## ПУТЬ ПТИЦЫ

**Х**ан Кучум сидел двадцать пять лет на Сибирском юрте.

Три с половиной века стояло Сибирское царство. В древние времена по великим рекам, на равнинах и по окраинам тайги жили племена земледельцев и охотников. Вблизи озера Зайсан бродило племя усунь. Дулгасцы рылись в горах Алтая, плавил руду в глиняных горшках, а золото возили караванами в Скифию. И греческие колонисты с берегов Понта Евксинского рассказывали Геродоту о муравьином народе — аримаспах, похищавших золото у грифов. Грифы стерегли его в далеких горах, где лютая стужа на восемь месяцев в году обращает почву в камень.

От Енисея до Оби с Иртышом жили, постепенно сливаясь друг с другом, народы диньлинь и хакасы. Они были рыжеволосы и голубоглазы, знали искусства и ремесла, разводили скот, а в степях и на таежных палах сеяли хлеб. И ученые хакаские купцы писали по-уйгурски письма купцам Китая. Эти письма они посылали с богатыми караванами, отправлявшимися в Китай по издревле проторенным путям.

Новые народы явились на Иртыше: жуань-жуани и гунну. Вскоре гунны потрясли мир, и затем земля забыла о них. А жуань-жуаньский хан в VI веке стал властителем Алтая.

Прошло еще шестьсот лет. Многочисленные городки стояли по Иртышу и на Алтае; два богатых города было в

киргизских степях. Когда Чингиз-хан прошел через Азию с востока на запад, уже была известна какая-то страна Шибир. О горе Сьюбвыр пели на Оби и Енисее.

А в зауральских лесах рассказывалась легенда об основании сибирского татарского царства.

Был народ сыбыр, некогда многочисленный, но мирный. Доныне будто бы остались от него курганы и городища. Когда ворвались татары в его землю, люди сыбыр вырыли ямы, вошли в них, подпилили столбы, державшие земляные крыши, и заживо похоронили себя. Нет больше ни людей сыбыр, ни татарского царства, но имя древнего народа, любившего свободу больше жизни, живет в названии великой страны.

Так рассказывает легенда.

Летописцы же говорят об этом иначе. Чингиз, вскоре после разорения Бухары, убил будто татарского князька Мамыка, а Мамыкина сына послал в дальний улус *тайбугой* — собирать ясак с покоренных племен — вогулов и остяков. На крутом Красном Яру, при впадении Ишима в Иртыш, тайбуга поставил городок Кызыл-туру и окружил его тремя валами.

И от тайбугина рода пошли сибирские ханы. Народ узкоглазый, ловкий в обращении с конями, тугими луками, кривыми ножами и седельным арканом, на котором можно было волочить пленника и раба, — сохранил облик и обычаи татар-ногаев. Сибирские татары пили кобылье молоко, реки переплывали охотнее на коне, чем в лодке. На рослых светлоглазых казанских татар сибирские татары мало походили: те рано сели на землю, отяжелели, посмирнели, сея ячмень, торгуя козьими и конскими шкурами у великой реки Волги.

Тайбугин род правил среди смут и раздоров.

Из ногайских степей пришел Ибак и убил ишимского хана Мара. Но молодой Махмет, внук Мара, отомстил за деда: он убил Ибака и, восстановив власть тайбугина рода, построил на Иртыше новую столицу — Кашлык, ту самую, которую русские летописцы звали городом Сибирью. Но города Тюмени, или, как раньше он звался, Чимги, на реке Туре, Махмет не покорил, и там основалось отдельное Тюменское ханство.

Произошло это в самом конце XV века.

Русские летописцы рассказывают еще, что при последних ханах и князьях тайбугина рода в Сибирском царстве

стало замечаться много весьма странных и тревожных знамений. Над местом, где русские построили потом Тобольск, вдруг появился в воздухе город с церквами, и слышен был даже колокольный звон. Однажды летом вода в Иртыше и вся земля по берегам сделались красными, как кровь, а потом почернели. А мурза Девлет-бей, что жил в городишке Бицик-туре, недалеко от Кашлыка, ясно видел, как из утеса Алтын-Аргинак вылетели золотые и серебряные искры и с неба спустились огненные столбы.

Тогда, сообщают летописцы, братья-князья Едигер и бек Булат обратились к Грозному с просьбой принять Сибирское царство под свою высокую руку.

Впрочем, к этому времени пала Казань, вся западная равнина вплоть до Урала и югорские зауральские места на севере были уже русскими, а в ногайских степях поднимался на тайбугин род «шибанский царевич», — так что у обоих братьев и помимо вмешательства небес в судьбы татарского царства было достаточно поводов для обращения к московскому царю.

Из Москвы приехали счетчики. Они насчитали тридцать тысяч семьсот податных людей в Сибирском царстве. Едигер, старший брат, обещал платить царю Ивану дань соболями и белками; соболей тысячу в год и еще «дарожскую пошлину» — в пользу сборщика дани — «даруги».

Всего Едигер с братом успели доставить в Москву в 1556—1557 годах семьсот соболей, потом тысячу соболей, да сто соболей дарожской пошлины и еще шестьдесят девять соболей вместо белок. Но больше им ничего не пришлось платить.

Шибанский царевич отнял их царство и, как водилось, убил обоих братьев. Но корень тайбугина рода ему все же не удалось вырвать: беременная жена бекка Булата бежала в Бухару и, укрывшись там в доме одного сеита, разрешилась от бремени сыном, названным Сеид-Ахматом или, проще, Сейдяком.

Шибанский царевич был хан Кучум, внук Ибака: внук снова отомстил за деда. Шибанским же царевичем Кучума называли потому, что он, следом за своим отцом Муртазой (который был недолгое время ханом в Астрахани, а может быть, всего только у какого-то из мелких кочевых племен), считал род свой славным, древним и происходящим от Шейбани, Батыева брата и сына Чингиз-ханова первенца Джучи.

Кучум был лихим наездником и смелым воином.

Он покори́л Тюменское ханство. Ему подчинились все татарские волости и племена от Исети и Тобола до верховьев реки Омь и озера Чаны. И царство Кучума приняло форму груши, верхушка которой упиралась в тайгу на Иртыше, верстах в полутораста ниже устья Тобола, а широкая часть лежала на юге среди ногайских кочевий, в Барабинской степи.

Кучум перебил послов Грозного и перестал платить дань.

Вокруг царства-груши хоронились в лесах и тундрах княжества остяцкие и вогульские. Они были данниками Кучума.

Даже с самых низовьев Оби, с берегов Ледовитого океана, слали ему ясак. И власть сибирского хана переваливала временами через Уральский хребет, достигая Камы.

Никогда еще Сибирское царство не было таким обширным, как при хане Кучуме.

Кучум открыто казнил и велел тайно придушить непокорных и строптивых князьков и беков, а преданных ему одарил, по примеру великих ханов, улусами и землями.

Двадцать пять лет правил Кучум царством, и была ему удача во всем.

Но хан одряхлел, темная вода застлала ему глаза: он почти ослеп. Ханское тело, изнеженное подушками, отвыкло от седла и вольного ветра. Одетый в пестрый халат, хан сживал теперь целыми днями среди ковров и курений.

И подобно тому, как толпа слуг окружала хана, так и толпа городков окружала ханский город Кашлык, чтобы не подкрался к нему никакой враг. Был там городок, отданный мурзе Аттику, городок карачи—ханского думчего; недалеко от устья Вагая — городок князя Бегиша. Ясаулу Алышаю было отдано для береженья узкое место на Тоболе. Возле Ишима собирал дань со своих владений мурза Чангул. Каждому дан кусок разодранного на клочья государства — лишь бы все вместе уберегли одного...

Гарем Кучума стал теперь многочисленнее, чем прежде. В нем были уже отбывшие свой женский срок старшие жены, с черными от табака зубами, сытые, розовые женщины средних лет и совсем девочки, которых отбирали среди

рабынь. Их увешивали монетами и серебряными побрякушками, закармливали приторными клейкими сладостями, и скоро, в душевной праздности, эти полурабыни-полужены начинали оплывать желтоватым нездоровым жиром.

Тогда их заменяли новыми.

Кучум верил (и табибы — врачи — поддерживали в нем эту уверенность), что юное дыхание должно молодить старческую кровь.

Женщины плясали для него, — он привычно глядел, взор его почти не различал их, — и пели, перебирая струны, непонятные песни своей родины, которые они еще не успели забыть.

Полюбившимся ему он также дарил городки — из свиты городков-крепостей, толпившихся вокруг Кашлыка, на горе, которая называлась по-арабски Алафейской, то есть «Коронной».

Иногда хан садился в колымагу с пологом над ложем из ковров и подушек и ехал к какой-нибудь из жен в дареный городок — в Сузгун-туру, в Бицик-туру или в излюбленный свой Абалак.

Выходя от жен, он совершал омовение, слал скороходов к мурзам и муллам с повелением еще ревностнее нести в становища неверных Магометов коран — опору ханов, копьё и щит державы.

Из Бухары в Сибирь явился шейх. Ему было открыто, что кости семи мучеников за веру покоятся в сибирской земле. Следом за шейхом явились многочисленные служители пророка — бухарские ахуны, муллы и абызы — и вместе с ними брат Кучума — Ахмет-Гирей.

Тогда многие татарские орды в страхе разбили болванов, приняли обрезание и закон Магометов. Но другие, жившие у кочевий Епанчи на реке Туре, в Лебауцких чортах по Иртышу, при устье Тары и в Барабе, говорили:

— Богов, сделанных нашими отцами, можно попросить отвести гром. И если боги будут глухи, им не надо давать пищи и жертвенной крови, пока голод и жажда не отворят их ушей. А пророк Магомет умер давно, и никто не знает верного о боге Аллахе. Зачем нам новая вера?

И тогда имамы, улемы, ахуны, абызы и муллы укрепили руку хана Кучума и брата его Ахмет-Гирея, и кровь упорствующих досыта напоила кости семи мучеников, что покоились у берегов Иртыша, как то увидел сквозь землю святой шейх.

Однажды Кучуму донесли, что на песчаном острове в устье Тобола в полдень явились два зверя: один, пришедший с Иртыша, — большой белый волк, другой, пришедший с Тобола, — черная приземистая собака. И звери начали бороться, маленький одолел большого, а затем оба исчезли в воде.

Хан Кучум призвал толкователей корана и улемов, которые знали тайны и объясняли сны. Он спросил, что значат два зверя. И спрошенные ответили, что большой зверь означает хана, а малый — врага: он придет, свергнет хана и завоюет Сибирь.

Хан велел разорвать мудрецов лошаадьми и с той поры потерял спокойствие.

Маленький черный пес! Откуда кинется он?

Угасший взор хана ласкал племянника, Махмет-Кула, богатыря. Со своими воинами из благородных родов — уланами — Махмет-Кул пронесился по стране, по степям и чащобам, и вероломные лесные и болотные князьки снова, как псы, лизали руки старому хану. В Махмет-Куле чуял хан свою молодость и — кому ведомо сокрытое? — брызнувшую снова через много поколений страшную кровь родоначальника Чингиза.

Махмет-Кул сидел на корточках у ханских ног, бритоголовый, и сплевывал желтую табачную слюну. Рукоять его ножа блестела над коленом. Оборотясь к востоку, хан молился, чтобы Махмет-Кул грозой прошел по землям, истоптал конями и в дым развеял селения и по горячей золе проволок женщин-рабынь.

Враждебный мир окружал владения старого хана. Там, в безмолвном пространстве, откуда прилетали четыре ветра, хан мысленно отыскивал врага.

Он обратил на запад свой умственный взор, но скоро отвел его. Сейчас он не боялся московского царя. Конн Махмет-Кула знали дорогу в Пермскую землю. Царского посла, ехавшего за данью, на аркане приволокли к хану. Воевода Афанасий Лыченцев бежал, потеряв пушки и порох.

С юга явится черный пес.

Там лежала Бухара, многоликая — город-раб, пресмыкающийся во прахе, город-господин, чья гордыня поднялась превыше звезд, вечный город, державший в дряхлых

ладонях судьбы людей и народов, бесчисленных как песок...

Не тогда ли, когда Чингиз пришел в Бухару, было зачато сибирское ханство? И не в Бухаре ли на протяжении трех с половиной столетий рождались молнии, ударявшие по этому ханству? За бухарские стены укрывались беглые князья и беки во время раздоров в тайбугином роду. Из бухарских земель приходили те, кто оспаривал власть сибирских ханов.

И вот там, в Бухаре, сокрытый, возмужал последний тайбугина рода князь Сейдяк.

Брат Ахмет-Гирей сидел рядом с Кучумом.

Может быть, потому Ахмет-Гирей остался здесь, что и он боялся Бухары, откуда вместе со святою верой шли ковры, сверкающие ткани, тайные яды и клинки, на которых кровь не оставляет следа. У него, у Ахмет-Гирея, в Бухаре тоже был мститель — князь Шигей, поклявшийся кровью свести некие старые счеты. И знал Ахмет-Гирей, что ничем иным и нельзя смыть того, что было.

Он взял в жены худенькую болезненную девочку, дочь Шигея. Он был сластолюбив. Она была почти ребенком. Она забавляла его три лунных месяца. Но червь точил ее, жалкая ее худоба и слезы прискучили Ахмет-Гирею. И он отдал ее своему рабу.

Он не жалел и не вспоминал о том. Но с тех пор остался в Сибири.

Кашлык, город-стан, лежал перед братьями. Глиняный и деревянный, сосновые дома богачей и полные черного дыма лачуги. Каменные кузницы на высокой площади, где нели в толпе слепцы, выли, гремя железом, голые иссохшие дервиши и боролись силачи. Рысьи шапки северных охотников, птичьи перья пришлых лесных людей, козловые штаны степняков, залубяневшие от лошадиного пота... И надо всем — над нищетой, кизячным дымом и пестрыми лоскутьями — верблужий рев, конское ржание и собачий лай.

Таков был Кашлык, вознесенный на желтой горе, неприступной, как утес. Но он уже вырос из тесной одежды своих рвов и стен и выплеснул наружу, под гору, жилища воинов и непроходимую толчею юрт и копаных нор бедняков.

Он рос и раздавался вширь, город, построенный сто лет назад ханом Махметом. А в той земле, где он стоял, на-

ходили еще почернелые бревна срубов и кирпичи, обожженные некогда народом, которого никто не знал. И потому многие называли Кашлык также Искером — старым городом.

Зазвякали колокольцы. Стража заперла железные ворота, пропустив караван. На выюках, покачивающихся посреди узких и крутых улочек, — пыль тысячеверстного пути.

Хан нетерпеливо послал людей опросить прибывших. Но то не были бухарские купцы. Хан напрасно ожидал их. Что же их задержало? Кровь стучала в висках у Кучума. Почему не везут из Бухары крошенный табак, молитвенные коврики, девочек-рабынь, говорящих птиц, хорезмские седла и лекарства для больных глаз хана, чтобы встал хан, оглянувшись в широком мире, увидел свет и меткой стрелой сразил врага?

Но он сидел спокойно, опустив веки. Страх не было в нем. С яростной и суровой радостью он ждал и желал борьбы.

Молодость его ушла, но в жилистом теле сохранилось довольно сил. Он не думал о конце, о смерти. Он хотел долго, еще долго жить на этой жестокой, напитанной желчью и ядом, жгучей и вожделенной земле.

Настал вечер. Хан поднялся. Поднялся и Ахмет-Гирей. За целые часы братья не сказали друг другу ни слова. Но хан любил, когда Ахмет-Гирей вот так сидел рядом с ним — молчаливое его присутствие помогало, как братский совет, созреть мыслям и решениям хана.

Теперь он решился. Он предупредит удар. Он выследит врага. Пусть мутны глаза хана. В мир, змеиным кольцом обвившийся вокруг сибирской державы, он пошлет заемные глаза — соглядатаев.

Он кивнул. И быстро, легко пошел, не опираясь на раболепно подставленное плечо мурзы.

В укромную камору, пустую, с земляным полом и сандалом, на котором хан грел свои зябнувшие ноги, впустили троих татар. Они были из числа самых преданных людей Кучума, живших наготове в Кашлыке. Даже мурзы и карачи ничего не знали об этих потаённых слугах. Для всех то были: шорник Джанибек, цырюльник Муса и площадной силач Нур-Саид.

Хан затворился с ними. Такие дела он делал один. Сильный вождь не просит, чтоб его коня вели за повод по ука-



занной дороге; и нет приближенного, которому бы он открывал, как шаткая духом женщина, все пути свои.

Говоря с татарами, он думал о черном псе, пришедшем с юга, с Тобола. Но Кучум был хитер и осторожен. Он не забывал, что среди притоков Тобола все-таки есть текущие с Западных гор. Потому к тайным своим велениям он прибавил еще одно. Еще одну нитку следовало отпрясть лазутчикам в многоликой Бухаре, где в великий узел связываются все пути.

#### 4

Они миновали земли степных людей, живших в круглых кибитках с одним отверстием сверху: через него входил свет и выходил дым. Степняки мочили кожи в глиняных чанах и сшивали цветной войлок так, что на нем показывались очертания птиц, зверей и виноградных лоз. Все кочевье поднималось с места; на повозках, запряженных быками, увозили кибитки. И там, где вечером шумел стан, утром, насколько хватал глаз, раскидывалась степь.

Тайные посланцы хана проехали бледное, лежащее в песках и в скудной глине Аральское море. Птицы кружили над ним, рыбаки железными крючьями вытаскивали сомов, истекавших желтым жиром.

Дальше пошли камыши и тянулись день, другой и третий. Лес без ветвей, в рост всадника, вокруг окон гнилой воды. И ночью хлопьями, метелью, против высоких звезд и белой луны, роились и проносились комары.

На тропе соглядатаи догнали караван. В нем была тысяча верблюдов, — раскинувший палатки в полуденный жар, караван походил на город. «Кучумовы очи» прикинулись купцами и пристали к каравану.

С ним вместе они проехали мимо гор, снежные вершины которых пылали на закате.

Так прибыли они в светоч мира — Бухару.

Был вечер. На улицы вышли водоносы с козьими мехами на головах. Улицы прядали из стороны в сторону между глухих стен, спутывались в клубки и затем снова терялись в глиняной желтой толще города. Если бы с птичьего полета взглянуть на этот город, показался бы он печелиными сотами, в которых пробуравил ходы какой-то прожорливый червь...

Утром лазутчики попрощались с караван-баши и пошли

на базар к башне Калян, минарету смерти. Он суживался кверху, к венцу окошек. Оттуда сбрасывали в дни казней преступников, вырубая на камне их имена. Минарет возвышался над проходами, где по бархату и золотой парче работали тюбетеечники, над лавками, устланными тафтой и терсеналом, над навесами гончаров, обувщиков, медников, изображавших на кованых подносах дворцы и гробницы, над рядами, где торговали изюмом, миндалем, сахарными рожками, винными ягодами, сарацинским пшеном, тутой, исходившей синим соком, и сладким месивом, которое зачерпывали горстью.

Удивительный город, где всего много — и нищеты и богатства! Город, где так же трудно отыскать человека, как в дремучем лесу!

Он уже оглушил и зачаровал пришельцев из суровой страны, сибирских людей. Они расположились на кошах, им подали зеленоватый чай и странный хмельной напиток; впрочем, для блюстителя священного шариата, запрещавшего правоверным опьяняться, это было только забродившее кобылье молоко.

Сюда сходились вести с половины мира. Врачеватели язв, купцы и площадные виршеплеты щеголяли языком Фердоуси и Гафиза. Лазутчики держали уши открытыми и вели хитроумные разговоры. Но еще до того, как напиток ударил им в головы, они обнаружили, что среди тьмы князей, переполнявших великую Бухару, никто из собеседников не знает ни князя Сейдяка, ни князя Шигея.

Но зато об одном человеке постоянно говорили вокруг, и знали его, видимо, все.

— Он объявил, что в хвосте его осла ровно столько волос, сколько в бороде имама Бахчисарая.

— В городе Ак-Шехире он накормил судью ужином, сваренным на звездном свете.

— В Кони он приехал на мельницу верхом на торговце рабами.

— А разве вы не слышали, как он научил читать коран осла нашего повелителя хана (пусть вечно сияет в подлунной его имя)? Насыпал овса между страницами, и животное, поедая зерна, перелистывало книгу.

— Что такое? — сунул свой нос между беседующими шорник Джанибек. — Кто этот могучий человек, который ничего не боится? Он правнук пророка? Непобедимый эмир? Или богач, чьим деньгам ведет счет один Аллах?

— Нет, — ответил один из собеседников. — Когда гор забрался к нему в саклю, он сказал жене: тише! Не пугай его! Может быть, он все-таки найдет что-нибудь, и мы узнаем, что не так уж мы бедны, что кое-что у нас есть...

— Но как же, будучи нищим, он мог объехать столько городов — Бухару, Конию, Ак-Шехир, Бахчисарай — и везде оставить по себе славу?

— Спроси у птицы, как она летает.

Удивительный город. Когда они удалялись от чайханы, там все еще слышался хохот...

Возможно, что у татар несколько кружились головы от выпитого и услышанного, и шли они не совсем ровно, а как бы колеблясь из стороны в сторону, но все же они направились прямо туда, куда им и следовало направиться, чтобы раздобыть нужные сведения. Правда, они не заметили, как следом за ними поднялся еще один человек, — был он вовсе невидный, какого-то мышиного цвета. Правда и то, что не так уж легко было выбраться из базарной толчи, полной всяческих диковин.

Вот смуглые высокие люди с желтыми значками на лбу развешивали ткани, расшитые деревьями, на которых сидели птицы с женскими головами: искусная вышивка изображала леса Индии, родины продавцов.

Недалеко от них расположились другие, неподвижные, как изваяния. Их одежды играли ослепительным, струящимся блеском. Из-под шапок, напоминавших башенки, на спины падали волосы. На лакированных блюдах перед неподвижными людьми лежали корни, похожие на человеческое тело, имевшие силу возвращать молодость, пузатые фигурки, будто отлитые из легчайшего прозрачного молока, зеркала, оплетенные драконами, разинувшими пасти.

На невольничьем рынке и вовсе не протолкаться. Продавцы щелкают бичами, зазывалы кричат, выхваляя простоволосых полячек, рослых ливонцев, маленьких генуэзцев, восьмилетних девочек-персиянок. И все хозяева рабов клянутся, ударяя себя в бороды, что среди их товара нет москвитов, неукротимо склонных к бегству на волю.

У входа на рынок сидит меняла. Он зеваает и смотрит по сторонам.

— Эй, почтеннейший! — кричит он всаднику, у которого к стремени прикована вереница рабов. — Неужели остался еще хоть один человек в тех странах, откуда вы их всех ведете?

Меняла сидит под аркой, о которой сказано поэтом, что небеса, приняв ее за новую луну, прикусили палец от удивления. Над аркой между гнездами священных аистов вьется по голубому полю изразцов белая надпись: «Царство принадлежит Аллаху».

Вот наконец и нужная татарам дверь.

Гулко отдался стук бронзового кольца. Коридор за дверью шел коленом, чтобы породить даже в самый удушливый жар легкое движение воздуха. В высокой комнате, убранной пышными коврами, у светильника сидел старик, важно читавший книгу в половину своего роста.

Татары смущенно ощупали свои пояса. Много ли весит сибирское серебро среди роскоши этого города, куда со всей подлунной текут серебряные реки?

Осанистый старец приветливо встал. Он повел своих гостей во двор. Прислужники тотчас приволокли туда громадного жирного барана. Старик важно посмотрел на него, помедлил, погладил сначала себе бороду, потом шелковистую баранью шерсть и пожалел барана. Те же прислужники его увели и взамен принесли горстку костей и золы. Старик удовлетворенно кивнул головой. Он вытряс золу на песок и кинул кости. Джанибек, Муса и Нур-Саид поняли, что их серебро оказалось довольно легковесным, но все же терпеливо и безмолвно просидели на корточках во время всей церемонии. Покончив с нею, хозяин разомкнул уста:

— Две головы рогатых баранов нельзя сварить в одном котле. Земля тесна для двух великих. Я вижу одного: князь Сейдяк возрос, и руки его тянутся далеко от дома сеитá, мир ему. Но глаза мои стары, и больше я не вижу ничего.

Татары снова распустили пояса.

Старец начертил круг, посыпал его просом и молча дождался, пока все просо склевала курица. Тогда он сказал:

— Слишком поздно. Ваш повелитель долго дремал. Уже оседланы и ржут кони. Может быть, тот, кто их подковывал, скажет вам, куда обращены их головы.

Он назвал далекую глухую улицу, где жил ковач, и добавил:

— Если вы летаете, как птицы, вы опередите всадников.

— Как птицы! — с досадой сказал огромный Нур-Саид, борец. — С утра я слышу щебет вместо человеческой речи. Лучше укажи нам того, кому ведомы птичьи пути!

— Разве ты знаешь такого? — подозрительно спросил старик.

— Не нам — тебе, мудрейший, он должен быть знаком. Он живет в вашем городе, — вежливо возразил Муса.

Но когда он пересказал слышанное на базаре, вся важность слетела со старика. Он затряс бородой, жилы на его лбу вздулись, он забрюзжал, яростно вращая глазами:

— Глупые сказки черни! Знайте, что такого человека нет и никогда не существовало!

И, выпроваживая татар, он сказал им вдогонку:

— Постарайтесь выйти из моего дома так, чтобы вас никто не видел.

Но чуть захлопнулись за гостями двери, человек мышиного цвета, незаметный, как дорожная пыль, показался из-за поворота улицы.

Глиняные норы снова проглотили сибирских посланцев. Они пробежали крытые кварталы, куда падали лишь редкие пятна лучей сквозь дощатый настил. Глухое пение доносилось временами из-за осыпавшихся стен...

Внезапно на перекрестке толпа преградила дорогу татарам. Как ни торопились они, все же вынуждены были остановиться, оттиснутые к стене.

Подняв над головами длинные прямые трубы — карнай, трижды протрубили трубачи. Горнисты сыграли на рожках. Телохранители гигантского роста сомкнули круг. У каждого был колчан с оперенными стрелами, кривая сабля, щит и в руках длинное копьё с красным бунчуком.

В кругу телохранителей шел хан, тень Аллаха на земле. У него было странное бледное лицо с поднятыми бровями. Он шел в китайском шелковом кафтане, золото блестело на витых рогах у его пояса. Рядом несли роскошные носилки. Хан мелко переступал ногами, обутыми в красные шагреновые башмаки.

Мальчики с нарумяненными губами плясали позади телохранителей, вскидывая узкие руки, унизанные кольцами и браслетами. И с каменными лицами выступали рядом с ними толстый куш-беги — великий визирь, мехтер — министр стражи, тощий диван-беги — хранитель казны и топчи-баши — хранитель оружия, в чалме, затканной золотыми полумесяцами.

Оружейники, чеканщики, гончары, ножевщики, тюбетечники и продавцы «чахчуха», платья «с шорохом», —

Все они робко смотрели, как проходил хан-повелитель, тень Аллаха.

— Ля иллях! — сказал в молчании чей-то голос, .. легкое движение вдруг пробежало по толпе.

— Это он! — прошептал один.

— Он сказал: ля иллях — нет бога! — выговорил другой.

— Глупцы! — закипятился тучный краснолицый купец в чалме из тончайшей белой материи. — Он не кончил речи. Он сейчас скажет: «ля иллях иль алла...»<sup>1</sup>

— Ля иллях! — повторил звучный голос, и все обернулись к говорящему. Это был высокий тощий человек средних лет, с крючковатым носом и козлиной бородой. — Ля иллях! Люди бухарские, истинно сказано, что для тысячи таких ворон, как вы, достаточно одного комка глины.

Он стоял лицом к середине улицы и подмигивал черным смеющимся глазом туда, куда смотрел, — в сторону ханского шествия, о котором все забыли.

— Это он! — закричал мехтер, министр стражи.

По всей улице прокатились звуки рожков. Пристава и стражники кинулись в толпу. Началось смятение.

Во мгновение ока улица опустела.

Только бледнолицый хан с высоко поднятыми, словно приклеенными бровями двигался по пустой улице среди своих слуг и телохранителей, как будто его ничто не касалось. Хан поднялся в арк, дворец, возносивший свои крепостные стены на искусственно насыпанном холме.

— Кто говорил с народом? — спросили татары, когда смятение улеглось.

— Ходжа Насреддин! — ответил прохожий.

— Его поймали?

— Ты видел птицу, пойманную черепахой?

Ковач был закопченный полуголый человек в тибетейке, сдвинутой на ухо.

— А, вы от Абдурахмана-Эффенди. Знаю, — отозвался он, когда татары ему рассказали, кто их послал. — Еще что знает ковач? Только конские копыта. А вам, конечно, хочется услышать, кто сидит в седле?

Он засмеялся.

<sup>1</sup> Начало магометанской формулы: «Нет бога, кроме бога».

— Сказал ли вам старый чудодей, что в некоей северной стране предстоят перемены и мирным торговым людям лучше выждать их конца? Потому-то тропы на Иртыш и зарастают травой.

Этот кузнец был странно осведомлен не только в княжеских, но и в купеческих делах. И слишком вольно отзывался о достойном старце, испытывавшем неверную судьбу пеплом бараньих лопаток. Поистине, в славной Бухаре все люди были не теми, кем казались!

Когда же пояса татар еще значительно облегчились, ковач лукаво прибавил:

— Мои руки не касались тех коней: для Великих псков подковы не нужны. Впрочем, может быть, я найду человека, который помогал седлать. Но к чему вам это? Если у вас нет крыльев, как вам опередить всадников?

Который раз они слышали эти пернатые сравнения и советы? Можно подумать, что тут крылатый народ, которому гораздо привычнее летать, чем ходить по земле.

Они вышли со злобой против этих людей, скользких, как угри.

В глиняном лабиринте, куда они углубились, путая следы, как лисица, они нашли наконец дом князя Шигея.

У ворот стояла стража, ночью в доме горели яркие огни. Но огни лгали: князь уехал на охоту. Больше лазутчики Кучума не вывели ничего.

Прилежные поиски привели их даже к тайному пристанищу Сейдяка. Цырюльник проник туда легче, чем можно было ожидать. Но он увидел темные комнаты в странном запустении, с паучьими гнездами по углам и крысиным пометом на ложе.

Охота Шигея, исчезновение Сейдяка, всадники, ускользавшие в северную пустыню!.. Сибирские лазутчики словно описали круг: он снова возвращал их к ковачу на глухом пустыре.

5

К беззаботно сидящему толстому, почти безбородому человеку, с круглым лоснящимся лицом, подскочил дервиш в остроконечной шапке.

— Я ху! Я как! Ля иллях илла ху! (То он. Он, справедливый! Нет бога, кроме него!) — выкрикнул дервиш и протянул свой чуп-каду, сосуд из тыквы.

— Гм, — сказал круглый человек. — Тебя обмануло сходство. Но я все-таки не тот, о ком ты говоришь. Тебе надо вот куда...

И, взяв дервиша за плечи, он повернул его к мечети, в свод которой был замурован ларец с волоском из бороды пророка. В одно мгновение вокруг обоих собралась хохочущая толпа.

— Ты видел, откуда он пришел?

— Да. С большого базара. Я шел за ним.

— Верно! Он убедил ростовщика на базаре, что зист снес алмазное яйцо.

— Нет, он сказал ростовщику: «Брось в пустой мешок столько пул<sup>1</sup>, сколько ты отдал в долг беднякам, и вместо каждой вынешь тилля». Ростовщик тотчас стал кидать в самый глубокий кожаный мешок все слитки и вещи, какие у него были, потом просунул голову и половину туловища в мешок, чтобы посмотреть, как растут деньги, и застрял там.

— Я сам видел зад лихоимца, торчащий из мешка, а у меня зоркие глаза, потому что я охотник на джейранов.

— Ради бога! — взмолился цырюльник Муса. — О ком вы говорите? Кто тут был?

— Ходжа Насреддин! — отвечали ему.

— Но ведь это совсем другой человек.

— Ты, должно быть, никогда не видел его. Это он пошел в Балхе на базар ни с чем, а вернулся в шубе, на коне и с полным кошельем.

— Это он научил в Дамаске нищего заплатить жадному харчевнику звоном денег за запах плова.

— Ведающий птичьих пути! — воскликнул цырюльник Муса, торопливо продираясь в середину толпы.

Тревожные вопли рожков наполнили воздух. Стража с обнаженными мечами оцепила улицы. Людей пропускали по одному. Однако круглого человека в толпе не оказалось, хотя глухие стены тянулись с обеих сторон и в них не было норы, в которой могла бы укрыться белая бухарская кошка — не то, что такой толстяк...

## 6

Двое, каждый в трех драгоценных халатах и в сорокаоборотной чалме тильпеч, сидели на расшитых подушках.

<sup>1</sup> Пула — самая мелкая медная монета. 64 пулы составляли теньгу (около 15 копеек), а 20 тенег — одну тилля.



Ковры Абдурахмана показались бы в этом доме нищенскими лохмотьями. Между резными столбами галлерей огромные зёвы цветов краснели в тяжелой тусклой листве, окутанной неподвижным облаком приторного аромата.

Тут не было ни высокопарных обиняков, ни кур, склеивающих просяные зерна. Эти двое никем не старались казаться. Хань возносились и низвергались; они же были из тех, чье могущество неизменно. То было само могущество Бухары.

И перед ними сидели не шорник, борец и цырюльник, но посланцы сибирской земли.

Выполняя особое веление Кучума, Джанибек начал:

— Где великие ханы Золотой Орды? Настали глиняные времена. Чтобы покорить вселенную, каган Чингиз соединил народы.

— Азраил отверз ему двери рая, — медоточиво вставил старший из двоих.

— Глиняные времена, — повторил Джанибек. — Нет Казанского и Астраханского ханств. В Югре — власть врага. Горы не остановили его. Что ханство Кучума рядом с державой Московита? Тайбугин род уже платил дань. Вот слово хана Кучума: если воины Московита придут на Иртыш, их должны встретить не джигиты Сибири, но священное войско ислама. За Кашлыком черный жребий в некий день выпадет Бухаре. Но будет, как вы рассудите.

Ни один мускул не дрогнул под белыми чалмами. Послышалось тонкое пенье комара. Дом был поднят над городом, как ханский арк. Внизу необозримо раскинулись плоские крыши, позлащенные косыми лучами. На помост посреди небольшой площади вышел фокусник в высокой шапке. Он выкрикивал, но всего несколько человек остановилось перед помостом.

— Пусть гавкающему помочится в рот лягушка! — наконец сказал молодой, с широким, как луна, лицом в редкой рыжей бороде.

Старший взял пиалу, отхлебнул из нее, долго, со сладью обсасывал ус и только тогда обратился к Джанибеку:

— Ты зачат в год мыши. Ван-хан Московский двадцать лет воюет на западе — каких воинов он пошлет на восток? Чингиз испепелил Бухару. Железный Хромец ниспроверг арк. Но двенадцать поколений сменилось с тех пор, как

зарыли в стране желтых гор Чингиза; пять поколений знают о черной плите, лежащей над костями Тимура в Гур-Эмире.

Он отсчитывал годы и поколения, как серебро в мешках. Рыжебородый выпустил клуб дыма.

— Моря воды и мертвые моря песку — вот стены Бухары. Пусть стрелы Московита перелетят через них. Бухара владеет богатствами земли. Где сила сильнее этой силы?

— Слагатели стихов, — продолжал старик, — говорят о стоглазом звере. У нас тысяча тысяч глаз. Мы знаем, какие корабли плывут по реке Итиль<sup>1</sup>, о чем думает диван<sup>2</sup> Московита, велики ли смуты в стране Булар<sup>3</sup>, сколько арбалетчиков в земле Башгирд<sup>4</sup>, ловцов раковин у руми<sup>5</sup> и бочек с соком виноградных лоз у франков. Но мы знаем еще о делах и событиях в царствах Великого Могола и Хатай<sup>6</sup>, где живет в сорок раз больше людей, чем в странах Булар, Башгирд, во Франкистане и на земле руми и русов. Мудрец держит весы. Если враг кинет свой меч на одну чашку, разве не отыщется тотчас иной меч, еще тяжелейший, который сам прыгнет на другую, чуть посеребри его ножны? Пусть ослепленные яростью проливают свою кровь; она потечет рупиями и дирхемами к прозорливому. Мудрый подобен всаднику, правящему буйствующим миром, как горячим конем — легким движением поводьев.

— Глупца же, — сказал луннолицый, — и на верблюде собака укусит.

И он засмеялся тоненько, словно заблеял.

Фокусник внизу потерял терпение. Он вытаскивал змей из рукава и глотал огонь, но кучка зрителей не увеличивалась. Тогда он сердито топнул ногой. И из щелей вылезли, одна за другой, тринадцать крыс — по счету людей, стоящих перед помостом.

---

<sup>1</sup> Волга.

<sup>2</sup> Правительство, дума.

<sup>3</sup> Польша.

<sup>4</sup> Венгрия.

<sup>5</sup> Так называли византийцев, потом преимущественно малоазиатских христиан, вообще греков.

<sup>6</sup> Китай.

Зубчатая стена с одиннадцатью воротами окружала город. За стеной огромного кладбища теснились каменные гробницы. Люди в страшном рубище, прятаясь, как звери, при звуке шагов, ютились там вместе с бездомными собаками, рядом с истлевшим прахом.

Сюда, когда начало смеркаться, пришли, по указанию ковача, татары, чтобы встретиться с человеком, седлавшим коней.

И вот к ним подошел человек, серый, как пыль.

— Вы искали знающего птичьих пути, — сказал он.

— Ты знаешь, где он? — воскликнул Нур-Саид.

Человек повел их между сводчатых гробов, сложенных из камня и алебаstra. Он остановился у могилы, любовно украшенной конскими хвостами и множеством рогов.

— Вот он.

— Где? Укажи, — прошептал Муса, озираясь.

Человек засмеялся.

— Говори громче. Его не разбудишь.

— Ты лжешь. Его здесь нет.

— Смотри.

И при неверном свете татары прочли древнюю искрошившуюся надпись:

«Здесь Наср-Эд-Дин ходжа. Старайтесь не входить сюда. О моем здоровье спросите у того весельчака, который выйдет отсюда»<sup>1</sup>.

— Я тот, — сказал человек, — кто выучил караван Сейдяка и Шигея. Не огорчайтесь: я проведу вас путем птицы. Караван движется с утра до вечера уже целый день, но медлительны те, кто везет на ослах серебро для хивинского войска, готового выступить на Иртыш. Конных четверо: князя и слуги. Вы отнимите серебро и захватите живьем врагов вашего хана и его брата. Хива не дожидается гостей.

Тогда злоба и отвращение к этому городу охватили души татар, и степная удадь проснулась в них. Они почувствовали тоску по горячему потному конскому телу в своих кривых ногах наездников, выросших в седле.

<sup>1</sup> Такова подлинная эпитафия на так называемой могиле Насреддина в Ак-Шехире. Но в пятнадцати городах Востока показывают могилу ходжи.

Под утро они выехали с отрядом верных людей, набранных в Бухаре.

Человечек, серый, как дорожная пыль, стал их проводником.

8

На рассвете они встретили всадников с соколами на руках. То были охотники на диких лошадей. Когда вдали взлетала пыль проносащегося косяка, охотник снимал колпачок с головы сокола. И красноногий узкокрылый хищник, настигнув жертву, долбил ей голову до тех пор, пока лошадь не обессилевала. Тогда охотник, подскакав, накидывал ей на шею аркан и широким ножом разрезал горло.

Река, бурая от глины размытых берегов, неслась на север. Татары переправились через ее крутящиеся воды. Они вступили в восточную пустыню Черных Песков.

Зелень и тень исчезли из глаз. Растительность, серая, безлистная, похожая на хворост, торчала кое-где на песчаных грядках. Но стада овец, лошадей и верблюды отыскивали и здесь себе пищу. Кум-ли, песчаные люди, жили в пустыне в круглых юртах. Они пили кобылье молоко, обходясь почти без воды.

Татары проехали место в истрескавшейся глине, называемое «полем змей», и плоскую возвышенность, называемую «полем тигров», где пятнами и полосами выступала соль.

Они видели кривые, перекрученные стволы саксаула, похожие на вывихнутые, пораженные опухолями сочленения.

Они миновали местность, заросшую бурой колючкой, и местность, где над бескрайним морем песчаных холмов стояло мутное марево и не было троп.

На копые, воткнутом острием вниз в небольшой бугор, висели переломленный лук и тряпка. Под бугром лежал убитый, в его крови была вымочена тряпка. Но она засохла, неотомщенная кровь успела порыхнуть; песок до половины засыпал копые.

Однажды татары встретили следы конских копыт, среди которых не было ни одного отпечатка ноги верблюда. То были следы хищной стаи: добрые люди ездят с верблюдьми караванами.

Татары совершили омовение пылью и песком, предпри-

данное пророком в безводной пустыне, и произнесли сикры, исповедание имени божия. Оно обладало силой отгонять джиннов, имевших обыкновение угрожать путешественникам, приняв вид омерзительных стариков со свиными ушами.

Во время короткого привала проводник каравана вместе с одним из бухарцев двинулся пешком по конским следам в пустыню; остальные ждали их, не смыкая глаз.

Бухарец был верным человеком, тоже татарин. За полночь он вернулся один. Правый рукав его халата болгался. Отвердевший от запекшейся и смешанной с песком крови, он странно сохранял округлую форму, как будто его попрежнему наполняло живое тело. Проводник, человек мышиноного цвета, исчез. Но изувеченный принес его слова: «Кто богаче князя Шигея? Кто могучей его джигитов? Знайте, что князь — в Хиве и что джигиты его видят след мыши в песках пустыни. Или забыл об этом нищий слепец с Иртыша, подсылая слепцов к Бухаре, сияющему оку мира?»

И тогда татары поняли, что игра окончилась. В лисьей травле жертвой оказалась та лисица, которая считала себя охотником.

Бросив изувеченного, отряд, охваченный ужасом, поскакал в пески. Но через двести шагов свежий конский след пересек дорогу. Он кружил, как ястреб, и бегство было бесполезно. Поставив животных кольцом, головами в пустыню, стали дожидаться утра.

На рассвете показалась поднятая всадниками пыль.

Не было ни верблюдов, ни ослов, а только конные люди, и было их больше сотни. Лошади, накормленные териаком, неслись как джейраны. С пронзительным визгом главарь, курбаши, рубил воздух кривой саблей. Рядом с ним летел вчерашний проводник.

Татары и люди их встретили нападавших стрелами, потом схватились за ножи. Но резня была короткой. Наемные воины отряда пали на колени. Они ловили руками уздечки коней и вопили:

— Аль-аман! Аль-аман! (Пощады, пощады!).

И джигиты саблями снесли им головы одному за другим.

Но посланцы Кучума не стали ждать конца побоища. Им удалось уползти на брюхе во время битвы. Они выждали за барханами, пока смолк лязг оружия. Потом они побежали.

Когда они свалились, обессилев, колючий песок обжег

им тело сквозь клочья одежды. Кругом рябили желтые холмы. Человеческий крик замирал за ближним холмом, как в слое ваты.

Беглецы выбрали путь по солнцу. Но временами они замечали, что кружат. Они не были кум-ли, людьми песков, и не умели отыскивать тайные колодцы, что узнаются по надломленной веточке саксаула или чуть более пышному кусту джузгуна. И скоро в их тыквенных бутылках иссякла мутная теплая вода.

Неглубокие впадины протягивались поперек пустыни. Озерца блестели на их дне. Казалось, чудовищное животное пронеслось здесь гигантскими прыжками, вдавив отпечатки своих ног в испепеленную землю. Это было опустевшее русло Аму-Дарьи, — она текла тут, через Кара-Кумы, до того, как повернула из Каспия в Аральское море. По краям озер еще рос камыш, но красные суставчатые растения уже теснили его. Соляные отложения ржавыми корками выступали на почве. И вода была горькой от соли. Валялись окаменелые раковины. Птицы с розовыми зобами неспешно поднялись над водой.

Полузасыпанные песком арыки отмечали узкие полосы и квадраты брошенных полей. Среди них беглецы нашли глубокую щель колодца. Они зачерпнули воды шапкой, опущенной на связанных вместе ползучих стеблей. И вода покрыла бурым налетом руки и лица людей.

...Однажды татары увидели столбик костей, пирамиду друг на друга положенных человеческих скелетов меловой белизны. Безмерный круг пустыни, бугристый, словно изрытый черной оспой, замыкал их в себе. Пепел чешуйчатых растений посыпал змеинные хребты барханов.

Под барханом беглецы наткнулись еще на труп верблюда, огромный и вздутый. Но чуть нога коснулась его, он провалился, рассыпался мелкой истлевшей трухой.

В этом месте упал на песок цырюльник Муса, натянул на голову лохмотья халата и больше не встал.

На другой день показались стены. Высокие, сырцового кирпича, они сохраняли кое-где зубцы, узкие просветы бойниц. Песок насыпался в пустые ложа арыков. Мертвый город вырастал из пухлой беловатой, словно пропитанной селитрой, почвы. Город без тени, с рухнувшими сводами ворот.

Лица оставшихся в живых обуглились. В углах губ пузырилась кровавая пена.

Ночью холод судорогой сводил их тела.

На четвереньках один из беглецов взобрался на бугор из глины, твердой, как камень. Зеленое пламя било на горизонте в небо. Росло дерево. Невероятного, невообразимого цвета, забытого, казалось, навсегда за эти дни или недели блужданий по пустыне.

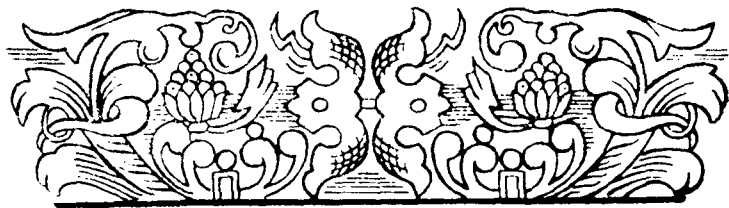
Увидевший впился зубами себе в плечо, чтобы прогнать мираж. Потом он хрипло зарычал. То был Джанибек. Исполнинский Нур-Саид, борец, лежал, скорчившись, у подножья бугра; глаза его уже остеклянели.

А в это время люди князя Шигея уже доехали до Иртыша. Князь Ахмет-Гирей, брат хана Кучума, забавлялся ястребиной охотой.

— Добрые вести! Добрые вести! — закричали ему через реку люди Шигея. И почтительно показали знаками, что привезли письмо, которое означает радость.

Ахмет-Гирей сел в лодку с тремя слугами и переплыл реку. Но едва только он ступил на южный берег, бухарцы привязали его к хвосту коня и поскакали в степь. Мертвое тело Ахмет-Гирея нашли у Тобола, там, где впадает в него речка Турба.

Князь Сейдяк, достигший в Бухаре совершеннолетия, также прибыл с отрядом в Сибирь и остановился в Саусканском ауле, в нескольких верстах от Кашлыка. И гатары, приходившие в аул, приставали к войску сына прежнего своего правителя. Но все же их было еще не много, и Сейдяк, помедлив на Иртыше, вернулся назад в Бухару: его время не пришло. Не он был «черным псом», который одолел белого волка на песчаном острове у Тобола.



## КУРЕНЬ ХАНА КУЧУМА

О, Русская земле!  
Уже за шеломянем еси!  
(«Слово о полку Игореве».)

С каменной стены Урала текли реки. Одни — на запад, на Русь, другие на восток, в Сибирь.

По их берегам стояли леса. На каменную осыпь смаху выносился козел и застывал, упираясь передними ногами, вскинув граненые рога. В урманах, сопя, роняя пену с толстой губы, тяжело схватывались лоси-самцы. Лисица тыкала остренькой мордочкой в заячий след. Припав на коротких лапах, по-змеиному изгибая гибкую спину, крался к беличьему дуплу соболь. А ночью, кроясь у вековых стволов, выходила на охоту неуклюжая росомаха.

Круто пала с Уральских гор Чусовая. Водовороты пеной били о скалистые берега.

Медленно двигались против шалой воды казачьи струги.

Первые летучие нити осенней паутины сверкали на еще знойном в полдень солнце.

Суда были гружены тяжело, на быстрине и крутых поворотах они черпали волну.

Днище заскрежетало о камни. Раздались крики. Люди со струга полезли в воду. К ним бежали пособлять с соседних судов.

Поплыли. Но река приметно мельчала.

— Чусовой до Сибири не доплыть, — говорили казаки.

— А кто тебе сказал, что плыть Чусовой? Тут речка будет. Повернуть надо.



— Где же речка?

— Вона... Катится тиха, полноводна...

— Не, ребята. Атаманский струг миновал. Не та, значит, речка.

— Батька знает, куда путь взять...

— Батька... Ой ли. А Сылву забыл?

Это сказал мелколицый, шепелявый Селиверст, донской казак, мечтавший о кладах в камской земле.

Десятник прикрикнул:

— Веслом греби, языком не мели.

Ночами расстилали на берегу шкуры. Драгоценную рухлядь кидали прямо в осеннюю грязь. Все-таки разжились кой-чем за два года на Каме, все и волокли с собой в будущее свое сибирское царство.

Только у Баглая опять не было ничего — что было, спустил по пустякам, кидая кости для игры в зернь на серой чусовской гальке, как некогда на высоком майдане у Дона.

Но Баглай не унывал. Срезав ножом еловые лапы, он настилал их для ночлега.

— Вот он мой зверь. Вишь, шкурка чиста, мягка.

И укладывался, приминая хвою тяжестью своего огромного тела.

— А зубов не скаль. Мое от меня не уйдет.

Костры горели дымно. Но когда, охватив подкинутые полдеревя, вскидывалось пламя, прибежал от сотника десятник.

— Не свети на всю околицу. Не у Машки под окошком. Растрезвонить захотели: мы, таковские, идем, — встречайте?

Плыли дальше. И тесней сходились берега.

Атаманский струг остановился. Остальные, набегая, тоже останавливались.

— Что там? — спрашивали на задних судах.

— Перекат... Пути нет...

— Выгружай! — разнеслось с атаманского струга.

Люди с недоумением схватились за мешки. Еще припасу покидать — с чем ехать?

Но тотчас разъяснился приказ. Не муку и толокно — нажитые войсковые богатства, которые всегда до последнего возила с собой вольница, даже ото всего отказываясь, — их-то и велел выгружать Ермак.

Отвесный утес в этом месте надвигался на реку. Гулко

отдавались голоса. На вершине гнулись ветви сосен, раскидывая в ветре, неслышном внизу, синеватый отлив хвои. В срыве крутизны зияла пещера.

...И с тех пор уже не одну сотню лет ищут в уральских пещерах несметных богатств, положенных Ермаковым войском.

2

Боковые речки спосили в Чусовую осеннюю муть и опавшие листья. Одна из них катилась в кедровых лесах, и вода в ней была прозрачна.

— Серебряна река, — сказал Бурнашка Баглай.

И он увидел, как передний атаманский струг повернул в нее.

Больших гор не было. Обнажились камни. Исполинскими гнилыми зубами торчали скалы. Извилистые гряды преграждали кругозор, и река виляла между ними. За каждым поворотом — новая тесная лощина. Каждая походила на западню. И без громких песен, засылая вперед бережной, ертаульный легкий стружок, двигались вперед казаки.

На привале атаман призвал двух татар, из строгановских людей, толмачей и переводчиков. Он посадил их вместе с собой. Он был хмур и молчалив.

Моросило. То не был дождь. Каплями оседала сырая мгла. Она цеплялась за скалы, за вершины деревьев. Ключья тумана висели неподвижно, словно тут было их гнездо.

Лица людей покрыла сизая сырость. К утру одежды делались пудовыми. На дне стружков перекачивались лужицы воды.

Один из стругов трянуло. Люди привскочили, и сошедшие с обоих берегов кедровые ветви скинули с них шапки. Казаки завозились у струга в стылой воде. Под днище подсовывали ослопя.

— Сама пойдет... Сама пойдет...

Борясь с волной, приблизился Ермак. Серебрянка тут была быстра и узка. И Ермак, махнув все еще возившимся людям, велел раскатать сложенные паруса (мачты давно посрубали на судах), на живую нитку стачать паруса лыком и перехватить речку за кормой застрявшего струга.

Вода вздулась около плотины. Качнулся струг. С протяжным криком протолкнули его мимо изъеденного камня-утеса, одетого мелким ельником.

На другое утро еще в темноте люди будили друг друга. Весть мгновенно облетела стан.

— Убежали.

Не спрашивали — кто. Скрылись, несмотря на крепкую охрану, татары-проводники.

Тяжелой тишиной встретили в стане мутно сочившийся рассвет. Дико и пустынно было вокруг.

К парусному навесу атамана три казака привели человека, малорослого и скользкого, покрытого черной кожей. На коже были остатки чешуи: человек был в рыбьей одежде. Он забормотал скоро-скоро на непонятном языке. Баглай, подойдя, склонился над ним.

— Твоя врага, моя не разобрала, — сказал великан.

— Убить поганца, — сквозь зубы, с ненавистью произнес Селиверст.

Один из конвойных отозвался, как бы оправдываясь:

— Вогул, рыболов... смирный.

— Смирный? Наше будет жрать. Чтоб как на Сылве?

Спокойный голос перебил:

— Ты, что ль, врага еще не повидав, убивать рад?

Селиверст онемел перед Ермаком. Вдруг маленькое, в кулачок, лицо его исказилось.

— Я... А то ж?.. Татаровья убегли... Кровное наше кому в пещере поскидали? Им поскидали! Татаровьям! Всех поганых убивать! Погибаем! — выкрикнул он, все более распаляясь и уже не помня себя.

— И про Сылву ты кричал? — так же спокойно спросил Ермак.

— Зима — вот она! Память коротка, думаешь? Не забудем Сылву! Что ж мы? Без обуток... Голы!.. До одного сгинем! Погиба-а-а...

Два раза с короткого размаха Ермак ударил его по лицу. Он шатнулся, отлетел и, падая навзничь, еще кричал:

— ...а-а-а!..

— Живым оставляю, — сказал Ермак. — Людей мало. Но как еще услышу, не посмотрю, что малю голову долой! Гноить войско не дам. Гром же свой — не на таких вот бессловесных, не на вогуличей, рыбой живых... При себе оставьте, еще понадобится ему грянуть!

И скорыми шагами пошел прочь.

К Селиверсту приковылял на искалеченных вывернутых своих погах Филька Рваная Ноздря. Медвежьими могучими руками он приподнял его, постелил рогожку и сидел около друга, пока тот не заворочался и не застонал.

Тревожный говор слышался в стане. На весь стан раздался окрик Кольца:

— Чего гамите? Верна дорога, бурмакан аркан!

Посланный дозор воротился с вестью, что невдалеке, в двух-трех часах, есть речка и течет она в сибирскую сторону.

Водяная дорога, через Каменные горы, короче всех, никому до того не ведомая, никем не слыханная, была найдена.

Зимний острожок обнесли стоячим тыном.

Место, где стал этот второй городок Ермака, известно и сейчас: его называют «Ермаковым городищем» или «Кокуй-городищем», так как поблизости течет речка Кокуй.

Вокруг лежала охотничья страна. С вогульских стойбищ казаки привозили юколу и соленое мясо. Стойбищ не разоряли; но не все отряды блюли атаманов запрет.

Один отряд забрел далеко — до Нейвы. И татарский мурза, по волчьему закону тайги, перебил гостей всех до единого.

Ходили на охоту. Подстерегали сохатых у незамерзающих быстрин — водопоев. Из норы подняли лисий выводок. Лисят покидали в прорубь, с лисицы сняли шкуру.

Перед весной, подделав полозья под струги, казаки паташили их волоком.

— Разом! Ну-ка! Взяли! Сама пойдет...

Но струги были тяжелы. Казаки «надселись», как вспоминает песня, и кинули весь строгановский флот.

Еще двести лет спустя на Казачьем волоке лежали Ермаковы струги. Сквозь днища их росли вековые деревья.

Подошла весна, медленная и холодная. В погожие дни ручьи становились голубыми от небесной синевы.

По рекам Жаравлику и по Баранче казаки на связанных плотах спустились до реки Тагила. Тут остановились. Валили лес, строили новые струги. Гудели уже первые хрущи. Тяжелой, черной работой было снова занято все вой-

ско. На этом месте стал третий городок Ермака. В него, в случае беды, могли бы вернуться казаки.

Построили струги, погрузили припасы и поплыли вниз по Тагилу.

Урал исчез, будто его и не было, рассыпался редкими синими холмами.

Там садилось солнце. Неяркий, жидкий закат растекался холодной желтизной.

Уже в чужой, неведомой стороне двигалось войско. Русская земля была далеко, за невидимыми горами...

#### 4

Разведчики рассказывали о покинутых юртах. Земля лежала пуста. Казалось, она примолкла, затаив дыхание. Настороженная, она молчаливо тянулась по обеим сторонам реки.

Но пока ничто не преграждало пути. Воды Тагила вынесли струги в Туру. Сосновые и кедровые леса сменялись степями. Около речных стремнин берега становились отвесными.

Однажды толпа всадников в острых шапках, с круглыми щитами на руках показалась на берегу. Раздался звук, похожий на быстрый свист кнута. И тотчас одно весло повисло в уключине, движение струга прижало его к борту. Гребец удивленно смотрел на стрелу — как сна торчала в его руке и как вздрагивало еще ее оперение; и он неловко пытался вытащить ее. Рядом выругались. Звоющий голос крикнул: «А ну, шугани!» Стукнули ружья, в них, торопясь, вкатывали пули; пищальники по-двое брались за пищали. Но не успели зарядить и изготовиться, как спереди заорали неистово:

— Клади оружье! Клади!

Подчинились не вдруг, с ропотом.

— Гроби! Налегай! — орали спереди. — Таи огненную силу! Передавай назад!

На атаманском струге забил барабан. По барабанному бою струги подтянулись кучнее. Барабан ускорял дробь. Весла сверкали все чаще. И еще учащал удары барабан. У гребцов еле хватало дыхания. А барабану все было мало. Он частил, он сыпал скороговоркой. Пена закружилась в следе атаманского струга. И за ним летели, рвали речную воду остальные струги. Всадники неподвижно за-

стыли на берегу, словно пораженные видом этого необычайного каравана. Потом исчезли.

На новом речном изгибе показалось несколько земляных юрт с торчащими кверху концами жердей, и тут выскочило к реке вдвое больше всадников.

— Не проскочить, — сказал Брязга. — Ударим, юрты пошарпаем.

— Вон там отлого, — указал на берег Кольцо. — Мне десятка довольно. Слышь, батька? В миг обойду!

Ермак смотрел из-под руки, ответил:

— Тороплив.

На берегу молча ждали. Но едва ертаул поровнялся с юртами, стрелы косо вжихнули перед носом его и за кормой. Кто-то охнул на струге. Толпа на берегу испустила вопль.

— Не пробьемся, — повторил Кольцо. — Десяток давай, отгоню!

— Родивон в крови...—Ермак выпрямился, обернулся к Кольцу: — Бери ж струг, Иван. Ин по-твоему! Только стой: языка мне надо.

Кольцо перескочил на подбежавший стружок, и тот развернулся, обогнул атаманский струг и, враз ударив всеми веслами, понесся наискось к отлогому месту выше юрт. Всадники на берегу заколебались. Конной дороги к месту, куда летел струг, не было. Одни поскакали прочь от берега, оглядываясь. Другие спешивались. А Кольцо стоял во весь рост под жужжавшими стрелами.

Все струги Ермака проскочили тем временем вперед.

Отдаленный крик донесся до них: раскатились два выстрела. Скоро плотный черный дым встал там, где были юрты.

Казаки гребли медленно. Они услышали нестройную песню раньше, чем показался нагонявший их стружок. На дне его лежал связанный лыками, в одежде, измазанной кровью, татарин с бритой головой. Он ответил на вопрос, чьи юрты:

— Епанча.

— Вы похотели злого, — сказал Ермак. — Но я не поднял руки. То был только один мой палец, а твоих юрт уже нет. Иди с миром. Скажи всем.

И он приказал перевязать раны татарину, накормить его и выпустить, где пожелает.

Плыли в тюменских пределах. На берегах виднелись клочки ржаных и овсяных полей. Там, где стоял некогда город Чимги, теперь были только кочевые юрты.

Старики принесли мяса, хлеба и шкуры зверей в знак мира.

— Власть Кучума кончилась, — объявляли казаки.

— Кто снимет ее? — спросили тюменцы.

— Мы сняли ее с вас!

— У Кучума воинов — как листьев в лесу. И мы не помним, когда мы жили по своей воле. Вы уйдете, откуда пришли, — что скажем мы хану, горе нам?

Тут, прервав путь, остановились казаки.

## 5

Ночью свет месяца дробился на быстринах и широко разливался над разводьями, повитыми тонким туманом. Там сонно и сладко пели лягушки, и казался безгранично мирным этот серебристый простор. С высокого берега слышались голоса: то гуляли молодые казаки, и девушки с мелко заплетенными жесткими косичками смотрели на них, чуть откинув худенькими руками кошмы в юртах.

Мало-по-малу замолкали голоса. Пустел берег.

Гаврила Ильин воротился к стругам, когда уже померк серебряный блеск, лягушки перестали стонать, уснув, и ровно-тусклая поздняя желтизна от заходящего месяца одна лежала на безмолвной реке.

Место Ильина было на большой крытой барке с припасами. С чуть слышным скрипом качнулась под ногой барка, и сильнее потянуло тиной от воды.

Тогда сиром и одиноко стало Гавриле.

Он взял дуду. Сдавленный, тянувший звук помедлил и нехотя слетел с нее. Но другой был чище, легкокрылей. И уже рассыпчатые звуки понеслись вослед первым. Затеснились, бойко подхватывая друг дружку, чтобы вместе взбежать по тоненькой, как ниточка, дорожке. Тугая, хлопотливая, ликующая жизнь билась теперь возле Ильина.

И будто не он им — они ему рассказывали, он только прислушивался, чтобы не проронить ни слова.

Они рассказывали о стране с синими жилами вод, с бегучими тенями облаков. Той страной плыли казачьи струги — походила она на пятнистую звериную шкуру. Лебеди-

ный клик раздавался с озер. Белые камни высились над потоком, иссеченные письменами неведомых людей.

Костяки древних неизвестных воинов тлели под курганами — позеленели медные острия их боевых копий...

На высоте звуки становились хрупкими, как льдинки, и потом падали, ширясь, делаясь горячими. И от этого щекотный холодок пробегал вдоль спины Ильина. Он больше не видел мертвенной пустынной желтизны, не замечал, как гасла в ней осторожная, негромкая его игра — иной мир был кругом, просторный, светлый, щемящая радость жила в нем. Возносились к небу острые скалы, ладьи бежали с моря. Войско шло в лихой набег. Заломленные шапки, острые ножи за поясом. Всадники с красными щитами выметнулись на берег, стрелы преградили путь войску. Но сквозь стрелы вел его непобедимый атаман — мимо мелей, через перекааты, по голодной черной земле. И был он подобен тем великим атаманам, о которых давным-давно на берегу реки Дон поминал старый старик: Нечаю, Мингалу, Ендюку. Он вел войско затем, чтобы раскинуть шелковые шатры — как самоцветы на лугу, под птичий щекот под ясные песни белогрудых женщин...

— Про что играешь?

Наплыл туман — Ильин только теперь заметил человека, стоящего на носу барки. И тотчас перестал играть и робко спросил:

— Не спишь, батька?

Человек, переступая через кладь, подошел, чуть блеснули глаза против перерезанного чертой земли, уже не светящего месяца; под бортом булькнула черная вода.

— Хорошо играл. А про что?

— Ни про что... Сердце веселил.

— Про наши дела, значит, — утвердительно кивнул Ермак. Присел на борт, заговорил: — Много игры я слышался — и нашей русской, и татарской, и немецкой, и литовской. Песен много разных. Всяк по-своему тешит его — человечье сердце... Под золоту-то кровлю всякого манит... — И помолчал. — А такая запала, парень, что не тешила, не манила...

Вдруг — мутно виделось — он закинул голову, торчком выставив бороду, протяжно, низко — утробой — заты-



Не грозная туча подымалась,  
Не сизый орел крылья распускал —  
Подымалась рать сто сорок тысячей,  
С лютым шла ворогом биться  
За землю, за отчину.  
Подымался с той ратью великой...

Нехватило голоса, он тряхнул бородой, отрезал песню.  
— Кто подымался, батька? — подождав, спросил Гаврила.

Ермак точно не слышал.

— А то будто женка причитает, — под березой нашла ратничка, порубан он — меж бровей булатом: «Век мне помнить теперь того ратничка на сырой земле, на истоптанной, да лицо его помертвелое, алой кровию залитос, да глаза его соколиные, ветром северным запыленные... Ты за что, про что под березу лег?»

Распевно повторил, отвечая за мертвого:

— За родимую землю, за отчину...

И шумно передохнул.

— Унывная песня. А на смерть с ней идут. Нет сильней того, с чем на смерть идут, парень.

— Где ж то — в войске царевом?

— Млад ты, что видел? Ты посуди: сколько нас? Полтысячи... Своей, думаешь, силой сильны? А там — калужские, московские, рязанские, камские, новгородские, устюжские, и обо всех одним словом молвится: Русия. Вот какой силой мы сильны. И Дон не сам — той силой стоит. Пошатаешься сызмала по миру, ног не пожалеешь, — все поймешь, ровно на ладошке увидишь...

Сказал, подумав:

— Про царя как разумеешь, кто он?

— Нешто мы царевы! — отозвался Ильин.

— Эх, ты...—Ермак досадливо выругался. — Понимать надо. Не сослепу, как кутята... Подо мной полтысячи, говорю. Сочти, сколько под ним. Тому телу ныне он один — голова. Весь закон его такой — знает, куда гнет. Шей без числа упрямых согнул. А какая не гнется, та сломится...

Скрылся месяц. Забелел восток, и, наклонясь вперед, голову подперев рукой, медленно говорил Ермак:

— Он выедет, выкажется на светлом коне, выше всех... бугорок там, шихан, значит. Волос вьется из-под шелома, а конь ничего, добрый конь, набор простой. Строганов Максимка пышней ездит. А все поле — черным-черно от ратничков, — и как ахнет сила-то, поле-то одним кликом гря-

нет: вона царь всей Руси! — Странный восторг проступил в его голосе, — дивно стало Гавриле. — С шихана обведет взором, крикнет: «Крест целовали!» И пошло всё на приступ...

Замолчал. Вдруг качнулся, сплюнул за борт.

— Горлопанили на Волге—потягаться с ним... Дуроломы! Понимать надо...

Уж высветлилось небо. С береговой кручи — протяжный крик:

— а-а... он!

Тотчас отозвалось близко на стругах:

— Сла-авен До-он!

И дальше:

— Тюмень-город!

Перекликались дозорные.

— Раздоры видел, Черкасы, — сказал Ильин. — Орел-город... Какая ж она, Москва?

И зябко скорчился, — на худых коленях лежала покрытая тусклым оловом влаги дуда.

— Живут люди. — Ермак повел плечом. — Кругом живут люди... Все — на потребу человеку. Дерево, трава, зверь, река — бегучая водица-матушка... Москва, спрашиваешь? Дивен город, дивней нет. А тесно живут, скудно. Как скупец на злате — человек на земле...

Нагнулся, поднял топор, валявшийся у ног.

— Твой?

— Селиверстов.

— Добро кидаем, парень, — топоришку ль, струг ли. Состроили и кинули, что жалеть! — Он постучал о борт топором, чтобы плотнее насадить его. — Иной скоротал век, хлеба скирду стравил, а не жил — обмишенился... Силой бы русской простор земной пробудить!

Он глядел на реку — в белом холодном тумане безжизненно чернели недвижные струги.

— Злата кровля манит, — повторил он, — жизнь как полегше... да смех легкий. А куда полегче! Тропочками хоженными топают — узки они, собьются на них, грызутся по-звериному, силу-то дарма расточают. Тешатся: завтра — как я!.. А ты знай: нынче не выдюжишь, завтра крышка гробовая пристукнет.

Сунул топор под рогожку, потер сомлевшую ногу, встал. Сказал озабоченно:

— Нынче борты подобрать: поплывем — быстрины не

такие будут, волну черпнете. Припас весь перебрать, пере-сушить на парусах. Порох — надежней укрыть, в середку. Пуще всего беречь. Смолы насмолить, пока стоим здесь...

На соседнем струге кто-то поднялся, ошалело озираясь спросонок, пошел, кутаясь в рваный зипун, к краю за своей нуждой.

Ермак рукавом отер мокрую бороду, лицо.

— Вот тоже... Обносился народ. Без баб томятся, парень.

Пошел, бережно ступая через кладь, отойдя, кинул:

— Спи. Будет тебе.

— А ты, батька?

— Свет уж...

Гаврила смотрел — безмерное небо сливалось на востоке с безмерным в тумане, зыбким и белесым простором водяной казачьей дороги.

Наутро, поставив ногу на трухлявый пенёк, оглядывая казаков впальми глазами из-под шапки, говорил батька:

— Жители окрест не держатся за Кучумову власть. Тут тюменское царство. Казачьим бы отрядом разведать дорожку вперед — что там за юрты, чьи? Чтоб добром встречали войско. Слышно, что даже в трех, а то и в четырех днях пути сидит еще не Кучумов раб, а тархан, который хоть платит дань, а сам себе вольный господин.

— А я один пойду, без отряда, — вызвался Ильин.

— Ты? Далеко ль уйдешь?

— Короб возьму...

И Ермак кивнул, будто знал, что так должно быть, только сказал:

— Далеко не забирайся.

Ильин набрал товару попестрей. И бугор скрыл короб за его спиной, колышущийся в лад с широким ровным шагом, и непокрытую голову, на которой встер разведал русые волосы.

Раненный в грудь Родион Смыря лежал, угрюмо морщась; когда ему было очень больно, он мял и крутил подстилку, иногда пальцы его сами шевелились в воздухе, но не стонал, молчал.

Его, с другими ранеными, положили в юрте: он попросил перенести его на струг. Вечером, услышав трубы, он вдруг сказал:

— Жидко играют. Дуют, надрываются. Радости, игры нет... Гаврюшка пришел?

От Ильина не было вестей уже пятый день.

На горке над Турой поставили особый дозор. Дозорной вышкой служило дерево, как на рубеже Дикого Поля на Руси.

Внизу улы юрт лепились друг около друга и бежали с горки вниз, в лабку речки Тюменки. Над юртами курились дымки, тянуло кислым запахом кочевого жилья.

Уже возвращались многие казачьи отряды. Завидев их издали, дозорный кричал:

— Наши!

Но Ильин как в воду канул.

Бурнашка Баглай сидел на пригорке, на солнышке.

— Бурнашка, — сказал ему красноглазый Лешка Ложкарь, — и чего ты все думаешь? Где ж наш Рюха, скажи?

Думал ли Бурнашка? Он грелся на припеке, выжидал, пока кликнут к каше.

— Что тебе, человеке, мои мысли? — ответил Бурнашка. — А про Гаврилку ведай, что друг ему — я. Ничего не станется с ним, пока я жив, помни! Мне б пойти вместо него: я б того тархана вмиг кругом пальца обежать заставил и себя в зад поцеловать!

Он встал, мигая светлыми глазами. И пошел с серьгой в ухе, жмурясь от солнца, покачиваясь на длинных, как столбы, ногах. Вечером он вернулся на горку. Короткий кафтан не сходил с его груди, под кафтаном был полосатый халат, на голове наверх какой-то тюрбан...

Казачьи отряды ходили по окрестным селеньям. Объявляли: «Кучум больше не владеет вами» — и в знак перехода тюменцев под новую власть брали поминки, небольшую дань мехами.

Но в иных местах не дали ничего: «Вы берете, хан вдвойне возьмет». Казаки попали там шалаша.

Ермак сказал:

— Пути к хану нам не миновать. Сам посмотрю, чего вы не высмотрели. Со мной — полусотня. Без себя ставлю главным Михайлова Якова. Войском пришли, не жечь — пуще всего теперь строгость нужна, тороватость.

Шашку попробовал пальцем, остра ли, но опустил ее, проговорил:

— Мужиков тюменских видели. Теперь пусть тархан покажет, одной ли вострой саблей воевать нам или и среди князьков найдутся помощники против Кучума. — Усмехнулся: — Да и Гавря — что ж он там, проторговался? Еще купцу товару подвезем.

Юрты попадались редко, иные были пусты, жители укрылись, в других старики выходили навстречу, покорно сгибая морщинистые шеи. Почти не останавливался нигде Ермак, плыл все дальше и дальше. Брал поминки, кидал на стружки, торопил своих:

— Отдохнем после. Недосуг.

Городок стоял, окруженный саженным рвом, за перекидным мостком — стража с копьями и толстыми пуками стрел в саадаках.

Стружки атаман оставил поодаль, взял немногих людей.

Из городка вышел начальник стражи:

— Гости московиты?

Ермак ответил:

— Московиты.

— Из Бухары идете?

То был неожиданный вопрос. Но Ермак не сморгнул:

— Так, идем.

— Тархан жалеет, что вы продали верблюдов барабинским людям. Тархан говорит, что вам надо было ехать прямо к нему, а потом, если захотите, в Барабу!

Дивясь, но без запинки отвечал Ермак:

— Нам сказали, что тут нет верблюжьего ходу — есть водяной. Товары не все расторгвали — нарочно оставили, везли для сильного господина — тархана.

Начальник стражи цокнул языком:

— Господин видел. Товары хороши. Сколько вас?

— Десятеро, — сказал Ермак.

— Войдут пять.

— Малым числом пускают, — шепнул Брязга. — Ты — голова войску: я войду.

Повел пятерых. Оружие у них было под полами. Ермак остался за воротами.

Тархан сидел на цветных подушках в грязной, грубо срубленной избе. Он был полный человек с лысым высоким лбом и заплавышими глазками, тусклыми и безучаст-

ными. Но иногда они вдруг выюркивали из своих узких щелок и делались рысьими, зоркими.

Гаврила Ильин, на корточках в углу избы, играл на жалейке. Тархан перебирал, не глядя, ворох побрякушек из мелкого строгановского товара. Напротив сидел тощий надменный татарин с желтым лицом скопца и курил.

— Долго ждал, — сказал тархан. — Твой человек говорил: через два дня будешь. Я рад. Больше товару надо. Мой город богат. Мои воины могучи. Нет могучей их! — крикнул он, и было очевидно, что это относится не к гостям, а к невозмутимому курильщику.

Развязали короба. Ильин ловко, встряхивая кудрями, разложил товары. Тархан еле взглянул:

— Мои. Беру. Еще?

Говорил: «мало», а даже не глядел!

— У тархана Кутугай, — шепнул Ильин. — Из ближних ханских. За данью приехал.

Брязга тотчас обратился к тощему:

— А ты, господин, что потребуешь?

Кутугай презрительно шевельнул веками без ресниц. Ему надоели эти истории с купцами, возящими нищие товары из Московии в Бухару и из Бухары к толстяку, пыжащемуся посреди своих болот, — глупые истории и волюночное дуденье, которыми морочили ему голову трое суток. отводя прямой вопрос о покорности и дани хану.

Дерзкая мысль мелькнула у Брязги. Такого подарка атаман не ждет!..

Возясь с коробами, казаки отгородили Кутугая от тархана.

— Слушай, — вдруг хрипло настойчиво зашептал Брязга желтолицему. — Для тебя иной товар. Покажу, айда, пойдем с нами.

Расслышал ли что-нибудь тархан? Он только сказал Ильину:

— Играй.

И переливы жалейки слились с сипеньем Кутугая, которому затыкали рот кушаком.

С порога казаки низко поклонились тархану. Глаза его были тусклы и безучастны, и он, сидя со своими телохранителями посреди ножей, колец, зеркал и ларцов, даже не переменил позы. Быть может, замысловатые купеческие истории были ему рассказаны так, что не показался

слишком удивительным и необычайный конец его спора с ханским сборщиком.

Всего полтора шага было от избы «вольного господина» до перекидного мостка. Славный город Тарханкалла состоял из берестяных шалашей. Люди с изумлением глядели на гостей, пришедших с корсбами и уходящих с мурзой. Никто не остановил их. И стража почтительно, как ни в чем не бывало, склонившись перед святым Кутугаем, тотчас перекинула мост.

— Богдан, — сказал Ермак, — не сносить тебе головы! Спасибо, брат.

Гаврила видел, как атаман шагнул к Брязге, подняв верхнюю губу, и крепко, долгим поцелуем, поцеловал его. Ильина же потрепал по плечу.

— Знал, что жив. А за службу — от войска спасибо.

Как только понял Кутугай, что не купцы его схватили, он перестал рваться. Он убедился, что его ждет плен, а скорее всего мучительная смерть, и считал, что победитель в праве так поступить с побежденным. И он утих; к этим людям он попрежнему чувствовал презрение и думал о том, чтобы не проявить перед ними слабости духа. Но случилось то, что сбilo его с толку.

Ермак посадил его рядом с собой. Вынесли дорогие подарки, перед которыми в самом деле были ничто побрякушки в избе тархана.

И не успел мурза притти в себя от изумления, что горсточка с виду нищих, неведомо откуда взявшихся людей сначала схватила его на татарской земле, а теперь одаривает, как услышал речь, полную льстивых восхвалений его, Кутугаевых, высоких достоинств и совершенств хана Кучума.

— Славен хан. Нет могучей его, — говорил Ермак, и видно было, как он весел и доволен, точно не он Кутугаю, а Кутугай ему сделал самый дорогой подарок. — А-я-яй! — сожалеет казацкий атаман. — Выходит, вона как принимают ханского мурзу князьки да тарханы! — И Кутугай качал с ним вместе головой и говорил, что не легко быть верным слугой великого хана. — Да уж зато потешу тебя, — старался угодить гостю Ермак. — Байгу тебе покажу.

Пяти стрелкам велел палить. Железная кольчуга была пробита насквозь, как травяная. Мурза содрогнулся.

— Полно! Глухая забава прискучила гостю! В диковин-

ку ль то ему? Прощай. Мне в обрат пора. За ружьядишкой посылали нас Строгановы, купцы, слышал? Да вон куда залетели, еще выберемся ли? То — тебе. А это — хану в почесть, коль примет его милость от казачков...

Клинок с серебряной насечкой атаман с себя снял. И серебристые соболя, лисы, на которые так скуп был тархан...

На глазах мурзы русские погребли на восток и долго махали шапками.

Кутугай же, не допустив к себе тархана, поскакал в Кашлык и вскоре, в русском цветном платье, поцеловал пыль у ног хана. Перед ханским седалищем он разложил подарки Ермака. Затем он рассказал об удивительных гостях, об их щедрости, вежливости, их мудром смирении и об их непонятном оружии. Впрочем, уже гребут казаки против течения по сибирским рекам, — запоздали, спешат до осени вернуться на Русь... Да и всего их — едва полсотни.

Дотянувшись до ханского уха, Кутугай зашептал о тархане. Сердце его черно, как болота, в которых он живет. И хорошо бы, чтобы почернела его голова на копье, воткнутом посреди его городка.

А Ермак в это время поспешно со всем войском плыл вниз по Туре. Теперь-то он знал, что не только в пищалях и пушках его сила!

7

В том году надолго залежались уральские снега, потом быстро растаяли, и вода высоко поднялась в сибирских реках.

От крутого правого берега струги отходили далеко — на полет стрелы. Плыли там, где месяц назад была твердая земля. Ивовые ветки глибо выпрямлялись за судами, сыпая брызгами с пушистой листвы. Еловые лапы и листья берез касались воды, деревья словно присели, расправив зеленые подолы. В лесу вода стояла гладко, без ряби. Лес скрывал ее границы; казалось, она простиралась беспредельно, плоская, плотная, темная в ельнике, светлозеленая в березняке. Волнами накатывал запах осиновой коры. Белыми свечами вспыхивали черемухи, окутанные медовым облаком. Внезапно лес расступался, открывая голубой



островок незабудок. Из зарослей взлетала стая уток и с криканьем падала в воду: утки не боялись людей.

Справа распахивались просторы еланей, немые травы уходили в сияние далей. Глинистые обрывы казались пористыми от дырочек ласточкиных гнезд.

— Сладость тут, — говорил тихий казак Котин, гребя на последнем струге. — Земля-то богатая. Матушка-кормилица...

— Ницья земля, — отзывался кривой Петрушка, строгановский человек. — Осесть бы, сама кличет.

Селиверст сплевывал в тихо шуршащую струю.

— От добра добра ищем — рыщем.

На атаманском струге Ермак говорил Михайлову:

— Дорогие места, да еще дороже будут. Втуне лежит земля. Спит. Сколько в мире, Яков, сонной той земли!

Водяная дорога, как просека, легла в лесу. Осиновые и березовые ветви выносило оттуда в Туру. Неведомо откуда приплыли, но видно было — совсем недавно отломлены, свежесрезаны. На стрежне, где сталкивались струи, завивалась легкая пена. Рогатый жук, шевеля усами, карабкался на щепку, которая перевертывалась под ним. Но он без усталости, без спешки, равномерно, упрямо, упорно двигал лапками, все цепляясь за скользкую щепку. Полуденное солнце освещало реку. И в глубине расходились, оседали тяжелые мутные облачка, качая тонкие волосы водорослей. Это была вливавшаяся в Туру темная вода реки Пышмы.

Шел последний день тихого плаванья казаков.

Рвы и раскаты показались вдалеке над чернолесьем. Сух тут был и левый берег, а на правом толпились и скакали, горяча коней, всадники. Пешие лучники усеивали валы Аквибар-калла.

Кони, с тонкими ногами и выгнутыми шеями, казались игрушечными. В толпе мелькало несколько искр, очевидно, жожаки в шишаках.

Трудно было представить себе, что это далекое крошечное, муравьиное войско, рассыпанное по гребню крутого красноватого берега, значит что-то в необозримом сияющем просторе, в солнечной прозрачности воздуха.

Но сразу, как по знаку, смолкли все разговоры о своем, обиходном; только нарочито громко перекликались меж собой струги. Особенная, напряженная бодрость переполняла людей. Гулко над зеркальной гладью летели голоса.

Вдруг заиграли трубы, забил барабан на атаманском струге. И тотчас, как дуновение, долетел спереди отдаленный многоголосый крик.

Мерно в уключинах застучали весла — все чаще, дробнее. Уже стали видны морщины на обрыве — огромный, голый, дымчатый, повис он над изворотом реки. Люди досадовали: что ж мы, — опять мимо?

Вокруг переднего судна — темное облачко ряби. Задние смотрели, как гребцы рвали там веслами воду, запрокидываясь назад, — и как одно за другим повисали весла. Гул ярости прокатился по стругам. Упруго круглясь, забелели по бортам дымки выстрелов. На берегу гнедая лошадь поскакала, волоча в стремени большое тело человека с завернувшимся на голову аязом. Торжествующий крик раздался на стругах.

Опустел гребень обрыва, но гуще, беспощаднее секли воздух и воду стрелы укрывшихся за валами Акцибар-калла лучников. Только струйки и столбики праха безвредно вздымались в ответ на валах казачьи пули.

И тогда остановилось все водяное войско.

Трое в шишаках вылетели на вал, джигитуя.

Снова заговорила труба на атаманском струге.

Глинистый холм высился у реки правее города. Туда, по звуку трубы, двинулось несколько стружков.

Крючья ухватились за коряги. Гроза, во весь рост, сорвал шапку, размахивая ею в длинной костлявой руке, шагнул на берег. Люди полезли по скользкому обрыву, целясь за корни; трое втаскивали пищаль.

— Миром, ребята, миром!..

Молодые строгановские работники и пахари лезли, карабкались, срывались.

Обессилев под сыпавшимися стрелами, залегали на полугоре, били из ружей. Гроза, оборачиваясь, взмахивал шапкой. Голый шишковатый череп его мелькал все выше, выше по круче; лицо его было искажено.

— ...о, о-а!.. — донес ветер его крик.

Вверху раскачивался чернобыльник — близкий и недосягаемо далекий, за ним — нерушимая небесная голубизна.

Вдруг что-то надорвалось среди взбирающихся на холм. Сперва нерешительно, в двух-трех местах, потом поспешней, по всему скату, люди покатались вниз к реке, оставляя позади себя мертвецов, повисших на корягах. Бешено вертя шапкой, делая странные прыгающие движения, что-

бы сохранить равновесие, Гроза что-то кричал. Что он кричал, не было слышно. Над рекой стоял грохот. Грязные клочья дыма с запахом пороховой гари цеплялись за воду. Спрыгнув с ляди, вытаскивая ноги, глубоко ушедшие в ил, врезался в толпу Брызга.

— Куда, куда? Мухи с дерьма! — взвизгивал он, неистово ругаясь, молотя, рубя по головам, по плечам бегущих.

Две стрелы впились перед ним в изодранного кривого паренька. Глянув на Брызгу налитым кровью глазом, паренек выдернул с живым мясом одну стрелу за другой и снова пополз вверх, осклизаясь по глине.

Люди поворачивали и, поколебавшись мгновение, согнув спину, как перед прыжком в холодную воду, кидались опять на приступ.

Очень высоко на срыве холма лежала, почти висела зеленая тупорылая длинная пищаль, удерживаемая чуть взрытой ее тяжестью землей. «Наша! Не отдадим, ребята!» — крикнул кто-то из передних, и в один миг пронеслось это по казачьей толпе, и все увидели теперь одиноко брошенную пищаль.

Но и татары сверху тоже видели ее. Сильный их отряд уже засел на холме. Станный этот неуклюжий предмет на скате связан с громом «невидимых стрел»; сама необычайная сила пришельцев застряла на крутизне!

Началась борьба за казачью пищаль. Высокие шапки показались над обрывом. Грянули, раскатились выстрелы — несколько тел грузно сорвалось с вышины, перевертываясь, раскидывая руки.

Но выдохлись, отхлынули и русские.

Тишина окутала холм. Замерли залегшие во вмятинах ската живые — рядом с мертвецами. Ласточки, тревожно кружившиеся над рекой, влетели, щебеча, в свои земляные гнезда.

Татары ждали сумерек. И казаки знали это.

То было состязание на выдержку. «Не отдадим, ребята!» Пядь за пядью, на ширину ладони, на вершок, осторожно готовя, выбирая следующее движение, ловчась выискать прикрытие, морщинку на крутом скользком склоне, подтаскивая вместе с собой мертвеца, чтобы казаться вовсе неподвижными, подползали люди к одинокому тяжелому, тусклому стволу.

Их было всего несколько человек. Ружья они передали товарищам, залегшим ниже по склону.

Вот он, ствол, носом зарывшийся в землю, вот оно, голое место кругом него, — и вдруг зачиркали по глине, по сухим былинам стрелы!

Тогда вскинулся кривой Петрушка в измаранной кровью рваной одежде, стрела тотчас пробила его шапку и осталась торчать в ней, он взмахнул обеими руками, как бы разгребая что-то плотное, что было вокруг него, и скакнул вперед.

— Бери-и! Принимай!

И упал на ствол, сбил, увлек его вниз своим телом.

Длинные тени стлались по земле. Был вечер. Струги отошли вверх от города.

В темноте победными татарскими кострами запылал берег, валы Акцибар-калла и холм, у которого легло столько казаков; красноватые отсветы перехватили воду.

На рассвете труба прервала свинцовый сон тех, кто выдержал весь кровавый день накануне. Они слушали. Отбой? Назад в Тюмень? Нет, снова атаман бросал на приступ войско. На этот раз — всех, кто был на стругах. На тот самый холм и на отлогость перед ним, где был открытый простор татарским стрелам с раскатов и с холма.

И, как дельвали это русские рати, казачье войско подняло знамена — хоругви. Атаманский струг среди самых первых уперся в мелкое прибрежное дно. Вскочив на нос, атаман оборотился и махнул мечом во все стороны своему войску. Никола-угодник, суровый и седобородый, иссеченный дождями, исхлестанный ветрами, покрытый пороховой копотью, шествовал впереди.

Все татарское войско было тут, готовое смести казаков в реку, уничтожить их начисто. Чем поможет пищальный гром безрассудным в битве грудь с грудью? С торжествующим кличем и визгом ринулись татары из-за валов, с холма, на бегу измеряя взглядом — сколько тех, пришедших с реки? Вон они — все. Других нет. И все сами пожаловали на вчерашнее место, прямо в середину татарского войска!

Туда, где началось смятение, пробивался атаман. «Погоди, погодь!» — кричал он на бегу. В шлеме и в кольчуге, он тяжело, обеими руками, подымал свой меч и рубил, покряхтывая в лад мерным, несуетливым взмахам, точно основательно, на совесть делая нелегкую, но неизбеж-

ную работу. И громко ободрял своих. Слыша его голос, сами уже захваченные яростью этой битвы, казаки остервенело резали ножами, кололи пиками, били кистенями, глушили, широко взмахивая, как дубьем, ружьями. Они плотно держались около своего атамана, там и сям вырывались вперед, тесня, откидывая, топча врагов. Четверо оказались на венце холма. Но тотчас двое из них рухнули навзничь с обрыва, перекручиваясь в падении, сбивая нижних. «Погодь! Е-ще! Погодь!» Но шаг за шагом отступал атаман с тесной кучей казаков все ближе к берегу.

Об одном беспокоились татары: только бы не ушли! Только бы не выпустить!

В шишаках, в кафтанах с железными пластинами устремились к Ермаку трое, распахивая своих. Не простые воины — князья сами хотели схватить, как зверя, вожака пришельцев.

Тогда отдаленный раскатистый крик раздался позади татар.

То была вторая половина казачьего войска, потайно высаженная вчера, пока татары, торжествуя, отбивали русских от холма и отстреливались с городских раскатов, ночью глубоко обошедшая вражеский стан и ударившая в тыл, когда все, что было в городе и в стане, насело на берег.

Татары увидели высоко летящую по воздуху новую, такую же самую хоругвь. Им почудилось, что она раздвоилась, волшебным удвоив русское войско, и что нарисованный на ней бог или атаман указывал казакам, как поражать татар...

## 8

Пустынны были берега Тобола. Ничто не оживляло эту страну. Ветер трепал седые нити ковыля. Леса сменялись открытыми пространствами, и березовые островки подымались над степью. Там, где высокий обрыв возносился над рекой, воздух под ним был густым и неподвижным. Казаки старались скорее, по стрелю, проскочить такое место.

Ни днем, ни ночью не было теперь им отдыха. Следы конских копыт испещряли мокрую глину берегов. Внезапно раздавался знакомый посвист. Хриплый короткий вскрик на каком-нибудь струге рвал тишину. Не видно было, откуда прилетела стрела...

Влегли в весла, натягивали паруса, чтобы поспешно уйти вперед.

В сердце огромной враждебной страны вступало казачье войско. На редких привалах караульные прикладывали ухо к земле: не донесется ли конский топот? В воздухе ловили запах гари, дымок костра.

Ночевали на стругах.

Не решались раскладывать огня. Грызли сырую рыбу, ели муку, взболтанную в мутной воде.

Гнус столбами стоял над стругами, облеплял лица, руки, забирался под одежду; до свету зудела кожа.

Не вынеся, иные зажигали гнилушки, погружали лица в едкий дым.

Что-то тихо толкнулось о борт струга. Тело колыхалось в воде. Отблеск гнилушки пал на мертвеца. Тогда, выругавшись, казак отпихнул его и заревел:

— Гаси! Гаси огонь!

Сноп огненных искр прочертил воздух. Вода слабо зашипела.

Наутро медленно, осторожно двинулись дальше. Мыс в густых елях темнел на пути. Течение вынесло из-за коряг длинноватый полупогруженный в воду предмет, снова он догнал казаков, прибился к стругам, и казаки опять узнали синие разошедшиеся ступни мертвеца и позеленевшую от тины бороду.

— Нет тебе покою, Митрий Прокофьич, эх!..

## 9

На атаманском струге разговор:

— Что там?

Яков Михайлов козырем надставил ладонь над глазами.

— Бель на волне... Рябит.

— Перекат? У тебя вострей глаза.

— Не, Ермак... Завалы.

— Наскрозь?

— Перебит стрежень. Мельчит струю... Завалы, а меж завалами бом... Останови струги.

Сгрудившись, стали все суда.

Ночью выслал Ермак два малых отряда лазутчиков, по обоим берегам.

Один отряд не вернулся. Другой привел языка.

... Там в тесном месте, где гребнями вздымались берега, хан велел запереть воду — путь казачьему войску. Есаул Алышай приставлен караулить загороженный Тобол, что-

бы уничтожить суда, когда они наткнутся на железную цепь между завалами.

— Пусти в обход, — сказал Кольцо. — Сделаю, как с Епанчой. Аквибар-калуу тем взяли.

— Сколько войска тебе, Иван?

— Алышайка жёсток. Половину отряди.

Яков Михайлов пожал плечами.

— Один раз — удача. Вдругорядь — счастье. То ж третий раз — бабья хитрость.

Гроза покосился угрюмо:

— На два поделимся — вдвое ослабнем.

— Всем войском ударить, — заговорил Брязга. — Ей-ей! Сшибем. А не сшибем...

— С голодухи подохнем, — злобно подхватил Мещеряк, — припас-то что потоп, что подмок, что... крыса сожрала.

— Ходу-то, значит, вперед нету...

— Отступиться? — повернулся Ермак к сотнику Журбе, не по чину встрявшему в беседу. — Вот чего пророчишь? Еще думай! Ты, Никита?

Пан вынул изо рта коротенькую трубочку.

— Як же без хитрости? То ж ветряк попросту руками махает... А было у меня шестнадцать хлопцев — мало; перекрестился, бачу: тридцать два. Так то дело еще с ляхами было, чуешь, батько?

— Добро, — сказал Ермак. — Чую, атаманы. И думаю: не в лоб и не полсилой в обход. Вот как: прямо нагрянем и в тот же час всем войском обойдем. Сладим так?

Два дня стоял Ермак у цепи, запертый на той самой воде, которая делала его неуязвимым.

На третий день он повернул обратно. Но, отъехав несколько верст, он велел казакам ночью собирать хворост. На хворостяные вязанки надели зипуны. В глубокой тьме казаки с Ермаком вплавь добрались до берега. На стругах с хворостяными людьми остались только укрытые соломой гребцы.

Наутро суда с распущенными парусами двинулись к цепи. Татары встретилижданую добычу, которая наконец давалась в руки: стрелы с зазубренными наконечниками разрывали паруса; стрелы гигантских, в рост человека, луков пронизывали толстые борты.

А пока длился бой с соломенными людьми, Ермак, да-

леко обойдя врага по суше, ударил в спину Алышаю. Был вечер. Татары торопливо молились молодой луне.

Казачье войско, приплывшее по реке и заговоренное от стрел, а теперь вдруг явившееся на суше, показалось татарам бесчисленным и волшебным.

Кинув убитых и раненых, отстреливаясь с седел, Алышай и его воины бежали. И Ермак по конскому топоту понял, что поверни ханский есаул в сторону казаков, всех бы перетоптал одними конями.

Место, которое караулил Алышай, Ермак назвал Караульным яром. Название это сохранилось до наших дней.

## 10

Воды катились слева, с запада. Безмолвно стояли залитые лески. Холодно поблескивала чешуя мелкой ряби.

На широком разливе, где встречались прибылые воды с тобольскими, остановились казаки.

— Что за река?

Шалаши лесных людей стояли у ее устья. Здесь рыбачили вогулы-маньси, бродили охотники остяки-ханты. И они называли реку — каждый на своем языке.

А татарин Таузак, Кучумов слуга, не успевший ускакать, потому что короткие и прямые дороги очутились теперь на тинистом дне, сказал третье имя реки, уже слышанное казаками там, на русской пермской земле:

— Тавда.

И заколебалось поредевшее в боях казачье войско: слышало, знало, что по Тавде — последний путь, путь к Камню, на родину...

Вдоль по длинной плоской намытой косе чернели казачьи сотни.

Старик в широких портах, голый по пояс, чинил рубаху. Поднял ее, рассмотрел на свет слезящимися глазами, потер костяшками левой руки красновато-черную, будто выдубленную шею, вытащил кожаный мешочек, набил долбленную трубочку. Рубаху положил на землю, привалил чуркой, а сам поковылял к костру, присел на корточки и раскурил угольком.

Хмурый худощавый казак следил за стариком, лежа на брюхе.

— Дай потянуть, — попросил он.



Старик пососал еще, потом вынул трубочку изо рта, обгер рукой и передал худощавому, примолвив:

— На зельюшко один Мелентий запаслив.

Тот молча выпустил горький дым.

— Ото тютюн, як у турецкого паши, — отозвался молодой казак, без шапки, с короткими бесцветными густыми волосами, покрывавшими его голову, как мех.

— А тебя вчерась паша гостевать звал? — вступился четвертый.

— Был, браты, у меня тютюн, — заговорил пятый, ножом стругавший ветку. — Ех! Креста не сберег, его сберег. Сереге Сниткову дал побережь, дружку. А того Серегу туринская волна моет, нас зовет...

— Шалабола, — зло отозвался худощавый.

Все примолкли.

— Пойти днище постучать, — сказал старик. — Забивает вода в струг, что будешь делать!

— Уж конопатку сменяли, сотский велел, — охотно стал рассказывать круглолицый парень, что пошутил про пашу. — Намедни на «Молодухе» нашей издырявил вражий дух борт, чисто решето. Стрелой бьет насквозь, ровно пикой холст. Где берет таку стрелу?

— Нашву нашить...

— Лес-то мокрый, тяжелый, — валить его, братцы, да пилить с голодухи...

— Да ты какой сотни?

— Тебе что?

— Нет, ты скажи!

— Да он Кольцовый.

— Оно и видно — прыгуны. У нас в Михайловской — служба, ни от какой работы не откачнешься.

— Сумы зато у вас толсты.

— Может, у есаулов и толсты...

— А что, братишечки, — сказал круглолицый балагур, — мужик-то — он мается, землю ковыряет век, скупа земля мужику, — грош соберет, полушку отдаст.

— На Руси, братцы! — вдруг выкрикнул радостно и в то же время со странной укоризной светлоглазый казак в ладной чистой однорядке, обтягивавшей сильные плечи и стройный стан.

Круглолицый балагур повернулся к молодому запорожцу:

— То ж у вас, у хохлов: палку в землю воткни — вишеньем процветет.

Худошавый бросил курить, осторожно вытянул правую босую ногу, морщась, закатил штанину. Колено было замотано тряпкой.

— Хиба ж вишня, — равнодушно отозвался запорожец, пригладив меховые волосы.

Худошавый казак разматывал тряпку. Бурое пятно прошло в ней насквозь, и он прикусил нижнюю губу белыми ровными зубами.

— Саднит, Родивон?

— Не, портянка сопрела, — серьезно вместо Родиона ответил балагур. — Посушить, не видишь, хочет!

— Мажет он чем стрелу, что ли, — сказал казак, сидевший у воды. — Ой, вредные до чего... Царапка малая, а чисто росой сочится и сочится. Не заживает, хоть ты что.

— Сырое бы мясо приложить, всяк яд оно высасывает.

— Ты бы, дед Мелентий, пошептал.

Родион Смыря сказал с сосредоточенной злобой:

— Супротив его стрел не шептать — железные жеребья нарезать вместо пуль. Пусть спробует раны злее наших.

Мелентий Нырков, затягивая пояс, добродушно проговорил:

— И чего это: раньше не сойдется очкур, натачать уж думал. А ноне засупонюсь — как меня и нету. Ангел-то, видать, хранитель полегчил — ходить чтоб способней.

Старик собрался, заковылял, отыскивая топор.

Светлоглазый красавец показал на восток:

— Дождь на нзу-то. И вверху, видать, лило — взмутилась Тавда. До вечера-то развиднеется, а, дед Мелентий? Плыть-то нам.

— Вихорь развеет: бела туча.

— Слу-у-шай! — протяжно разнеслось вдоль берега.

Вдруг зашевелились, закопошились. Раненые подбирали с песка разложенные посохнуть лоскуты.

— По стругам!

Мелентий Нырков, держа наперевес топор, перекинул свободной рукой за плечи зипун, вздохнул:

— Владычица!

Все, разбившись на кучки, двинулись — каждая кучка к своему стругу — на Тобол.

Но вот один казак оторвался от кучки, следом за ним еще несколько, потом многие; они торопливо отбегали обратно, шапками зачерпывали тавдинской воды.

— Ушицы похлебать? — сердито окликнул Родион Смыря, оправляя лядунку.

Казак, к которому он обращался, отпил глоток, но не вылил воды из шапки, и сказал, глядя на нее:

— Вишь: играет. Прах светлый, земляной, легкий! Чисто рыбки...

— А Тобол небесной мутью мутен, так мнишь?

— Черна она тут, земля. Суземь...

Неожиданно лицо Родиона, угрюмое, с багровым шрамом, покривилось.

— Дай-кошь напоследях, — тихо, сквозь зубы, попросил он.

Но уж тот, все держа шапку донцем книзу, кинулся бегом за своими.

И вдруг нетвердо, неуверенно еще, будто только просясь и отыскивая себе место, поднялся над говором, над нестройным шумом запев:

По горячим пескам,  
По зеленым лужкам...

Новый голос поправил:

Да по сладким лужкам...  
Быстра речка бежит,

продолжал запевала.

И разом несколько голосов перехватили:

Эх, Дон-речка бежит!

И уже понеслось над всем берегом в звучной торжествующей чистоте:

Как поднялся бы Дон —  
Сине небо достал.  
Как расплещет волну —  
Не видать бережков:  
Сине море стоит.  
Ветер в море кружит,  
Погоняет волну...

Люди садились в струги; примолкла песня, но не умерла совсем, тихо, с жалобой продолжалась она на другом конце косы — далеко оттуда, где родилась:

А уехал казак...

Заливисто, высоко вступил, запричитал голос Брязи:

Ой, ушел в дальний путь...

Снова охнул берег:

На чужину гулять,  
Зипуна добывать...

Тогда, вырвавшись, овладев рекой и берегом, опять  
взвился голос Брязги:

«Не забудешь меня!  
Воротись до меня», —  
Дон-река говорит...

Подстерегши, чуть только зазвенев, обессилел он, в тот же миг выступил другой, густой, настойчиво зовущий, в лад глухо ходящих, стучающих в уключинах весел:

«Я тебя напою,  
Серебром одарю», —  
Дон-река говорит.

И опомнился, окреп, мощно покрыл серебряный водяной простор хор:

Я твое серебро  
В домовину возьму.  
Ино срок помирать  
Нам не выпал...

— Нам не выпал, братцы, еще, — выговаривал голос Брязги.

Гей та бранная снасть,  
Та привольная сласть —  
То невеста моя!

Из отдаления невнятнее, дробимая эхом, долетала песня, и, когда не видно стало стругов, доносилась она, точно далекий дробный постук копыт конных полков из-под черной крутой, нависшей на востоке тучи.

## 11

Хан Кучум понял наконец, что не следовало верить цветистым речам Кутугая. Стрела — знак войны — теперь была вверена ханским гонцам; но им долго пришлось скакать, пробираясь в отдаленные урочища. Согнанный народ спешно рыл глубокие рвы вокруг городков на Иртыше. В лесах валяли деревья — засекали дороги.

Махмет-Кул сидел рядом с ханом.

Иногда, когда входили и повергались перед ханским седалищем мурзы, беки и вожди племен, молчал старый хан, а громко, смело, повелительно говорил Махмет-Кул.

И хан с любовью обращал к племяннику темное худое свое лицо.

Вечером, когда они остались одни и зажгли в покое светец с бараньим жиром, Махмет-Кул сказал:

— Едигер Казанский и Иван Московит стояли друг против друга. Каждый тянул в свою сторону веревку, что свил Чингиз. Чуть крепче бы мышцы Едигера — и вся она была бы у него. То не был год зайца, но год свиньи. Мурзы, беки — подлая свора — перегрызли силу Едигера. Ты жил уже, когда снова могла бы воссиять слава Бату, а вышло так, что вознесся Московит. Но ты жив еще, и в твоём юрте, хвала богу, свора лижет ханскую руку.

Хан безмолвно кивнул. Не к сыновьям от многих жен — к этому юноше прилепилось его сердце, одинокое после гибели Ахмет-Гирея, брата; любовь и благодарность переполняли душу хана, и не было в ней горечи. Но мудрому не нужны слова, и недвижимым оставалось его лицо.

Махмет-Кул встал; на шапке его был знак полумесяца. Во дворе он глотнул напоенный полынью и гарью очагов ночной воздух. Прыгнул на коня, погнал вскачь, закинув голову; Млечный путь — Батыева дорога качалась над ним.

## 12

Суда плыли, сгрудившись, тесно держась одно к другому, не решаясь растягиваться по реке.

Вечеру тревожно заплакал рожок с бережного челна. Татарская конница тучей стояла на берегу. Всадник, впереди всех, пригнулся к лошадиной гриве. Сзади него не шелохнулись волчьи шапки воинов. Концы коротких копий горели на солнце.

Казалось, одно гигантское тело напрялось и застыло в неподвижности там, на берегу, готовясь к прыжку.

За буграми дымы подымались в небо. Их было много, они располагались широкой дугой. То были костры скрытого войска. Новый отряд на темных конях вылетел на пустынное место, мимо которого уже прошли казачьи струги. Огромная невидимая дуга коснулась там реки другим своим концом и заперла обратный путь казакам.

То было войско Махмет-Кула.

Тогда с громким возгласом атаман Ермак в легкой

кольчуге сам первый выскочил на берег. Он не дал времени своим заробевшим поддаться малодушию, а врагов ошеломил дерзостью.

Так началась эта сеча у Бабасанских юрт.

Тьма ночи была спасительной. Она укрыла казаков, уцепившихся за клочок береговой земли.

Они не сомкнули глаз. Татары подползали, как кошки, и тот, кто вторым замечал врага, через мгновение хрипел с перерезанным горлом.

Утром, припав за телами мертвых, русские били в упор из ружей. Татарские лошади, роняя пену с губ, вставали на дыбы и пятились от вала мертвецов.

Прошел день.

Казаки стреляли, старались обойти врага, резались с хриплыми выкриками грудь о грудь. К вечеру стала мучить жажда, голода не чувствовали. Слышались рядом то русские, то татарские торжествующие крики, гремели выстрелы, то близкие, то удаляющиеся. Внезапно впереди наступила тишина.

Трава была истоптана, следы ног и копыт уходили прочь от берега.

Хмурясь, Ермак послал разведать вражеский лагерь. Разведчики поползли болотом; сумерки поглотили их.

Они возвратились перед светом.

Еще далеко до казачьих караулов их окликнули.

— Ты, батька?! — удивленно отозвался один из казаков.

— За лесом пустое место... Там пепелища велики: костры разметанные... В край пустого того места — колки, островки да лог. Сколько ни иди по-над тем логом, — ржут кони, — донесли разведчики.

Ермак выслушал, как всегда, недвижимо, ничем не обличая нетерпеливой тревоги, которая хлопотала в нем и погнала его в этот пустынно-молчаливый лес, далеко от стана. Только поднялся с мокрого пенька и слушал стоя. Крикнула над головой ночная птица. Ермак молча зашагал к стану. То была вторая бессонная ночь.

На заре показалась толпа пеших воинов.

Внезапно передние присели и за ними открылся ряд гигантских луков, чьи стрелы пробивают еловые доски.

Пищальный гром не испугал лучников. Но яростен был натиск казаков, и татары начали отходить медленно, повертываясь лицом к врагу, чтобы пустить стрелы.

Они отходили на открытое, голое место.

Всадник, нахлестывая камчой коня, нагнал казачье войско, хлынувшее из леса на поле.

— Копай окоп! Копай окоп! — орал он, перекрывая шум битвы.

Лошадь, почуяв степной ветер, потянулась мордой вперед и призывно заржала. Он бешено стегнул ее, она осела на задние ноги, рванулась — и всадник поскакал вдоль войска. Под ним было татарское седло, в котором еще час назад неся на русскую рать воин Махмет-Кула.

Мягкую, жирную землю рыли торопливо. И с поля все тянуло порохом, сухой пылью и сладеньким запахом цветов, пока не были готовы длинный ров и узкие ямы.

Тогда сотня, которая шла за притворно отступавшими татарами, остановилась. Во второй раз настало долгое безмолвие. И первые не вынесли его там, в стане Махмет-Кула.

Словно ропот бегущей воды донесся издали.

Казалось, он не нарастал, только перекатывался неумолчно. И вдруг это стало — будто тысячи горошин катались по железному решетку за краем земли.

Показалось черное пятнышко. И как бы вихрь клубился в нем. Справа и слева, из полукружия чернолесья, вынеслись другие пятнышки. И росли с каждым мгновением.

Не задерживая, не ломая своего движения, конные отряды пристраивались друг к другу, сливались в одно на стремительном скаку. Широко растянувшись на пустом, чуть покато поле, летели, неслись в пыли сотни всадников.

Топот сотряс землю, как бой сотен барабанов. Заполнив всю ширь, стремилась на черневшую тонкую ленту пеших казаков скрытая доселе сила Махмет-Кула. Уже слышалось, в грохоте и реве, тяжкое дыхание лошадей, виднелся оскал их зубов, волчьи шапки пригнувшихся бритоголовых наездников. Гривы развевались по ветру. Не шелохнувшись, ждали казаки. Когда истаяла, пожираемая вихрем, свободная полоска между черным рядом пеших и конной лавой, — казалось, вот смешаются они, — сверкнула одиноко вздетая сабля. Грянул залп. И казаки исчезли. Вмиг. Лошади с опаленной шерстью смаху перескочили через ров и ямы. Страшный удар пришелся по воздуху.

Но острые лезвия, взмахнувшись снизу, распарывали

брюхо лошадям. И новый залп загремел в спину перескочившим.

Тогда впервые в этом долгом бою у Бабасанских юрт замешательство охватило татар. Десятки воинов, сорванных с коней, легли на землю.

И с этого мгновения повел бой не Махмет-Кул, а Ермак.

Двое суток еще, таясь в ложбинах, внезапно налетая, пытаясь прорваться к стругам, жестоко вымещая на захваченных казаках свое бессилие и непонятную гибель лучших воинов, — двое суток оспаривал Махмет-Кул у Ермака Бабасанские юрты.

На пятый день боя он разодрал концом окровавленного меча свою одежду и повернул коня прочь.

Но было измучено, обессилено и казачье войско. Казаки также ушли — в лодки, на воду, в свои текучие рубежи, недосягаемые для врага.

Они отстояли землю на берегу — холмы, лес, болото и равнину — и были вынуждены покинуть их. Они одолели врага в пятидневном бою — и вот два струга полным-полны ранеными, изувеченными, и нечем их накормить, кроме тощей размазни из толокна, и нечем напоить, кроме мутной тобольской воды. Они победили, но нет им сна и отдыху — и нельзя остаться у места победы: кто знает, с какой новой ратью явится завтра сюда Махмет-Кул.

И по властному звуку атаманской трубы взялись за весла истомленные гребцы.

— Татары!..

Берег был высок и тянулся стеной насколько глаз хватал. Атаманы говорили:

— Не пробиться...

— Одну голову срубишь, другая растет...

— Посуху бы ударить...

— Посуху? Ты после Бабасана отдышаться дай!

— А проскочим — силу-то какую позади себя оставим!

— Долог яр, краю не видать, Ермак...

Он поднял воспаленный, тяжелый взор.

Словно слушал в эти грозные, сумрачные дни и в бессонные ночи не то, что говорили вокруг, а то, что немолчно звучало, говорило внутри него.



— А тылом обернемся — гладка дорожка: юрты Бабасанские, Алышаев караул, Акцибар-западня, Тарханов горюк, Чимги-Тюмень, Епанчовы гостинцы, Камень студен да ледян, — и к Строгановым — голы, как соколы...

Он исчислял все это стремительно, с каким-то страстным напряжением — будто не им говорил, а давал выход тому неумолимому, что захватило, несло его.

Прищурясь, окинул взглядом всех в атаманском челне. И вдруг:

— А ну-ка, песельников!

...На самом переднем стружке в голоса впелась труба. Гаврила Ильин поднялся во весь рост, лицом к казачьему войску. Все громче, смелей трубил он и, когда завладел песнью, вдруг задорно повернул ее, заиграл другое. Как бы испытывая свою власть над певцами, он нарочно еще пустил лихое коленце и смотрел, как покорно зачастили весла — в лад новой песни. На берег не глядел, не слышал ветра, плеска воды, крика татарских всадников. Ему чудилось, что труба выговаривает человеческим голосом — то был его голос и в то же время не простой голос, а властный, могучий, и, как всегда, когда он раздавался, он заглушал для Ильина все и возносил надо всем, ото всего отделял прозрачной стенкой и делал сильнее всех. И с веселым ознобом между лопатками Гаврила то высоко вскидывал песню, то заставлял звуки залиvisto, протяжно стелиться по реке, то рассыпал их мелким бисером. «Эх, трубач, язви те!..» — восторженно, умоляюще ругнулся певец, у которого пресекался голос. А Ильин трубил атаку и победу при Акцибар-калла, у Бабасанских юрт, выпевал те песни, которые играл тархану — песни о казачьей славе. Ему казалось, что это он ведет все струги и управляет всеми покорными веслами; и до тех пор, пока не иссякнет сила, жившая, по его воле, в медной трубе, — до тех пор не опустятся весла и будет невредимым он сам и все войско.

Истомленный, он оторвал трубу от пересохших губ, бесильно сел. Далеко уже позади в сумерках прятался Долгий яр.

Тут остановились струги. И новых мертвецов принял топкий левый берег.

Могилу вырыли общую, над ней воткнули крест из двух березовых жердей.

И поспешили опять на струги, чтобы день и ночь, без остановок, сменяясь у весел для короткого сна, — плыть и плыть...<sup>1</sup>

На правой стороне Тобола в шестнадцати верстах от устья вытянулось узкое озеро. Возле него жил Кучумов карача. Ему полагалось доносить хану «обо всем хорошем и обо всем дурном, обо всяком, кто бы ни пришел и кто бы ни ушел».

Нежданные, нагрянули сюда казаки.

Правда, доходили и раньше вести о них. Но карача, маленький старичок, насмешливо кивал безволосой головой, когда слышал о них. Полтысячи — против всего сибирского ханства! Где-то, во многих днях пути вверх по Тоболу, истекают кровью безумные пришельцы. Не о чем доносить хану.

Явление этих неведомых «казаков», неуязвимых, с непостижимой быстротой пронесшихся сквозь все высланные им навстречу тысячи и тьмы и внезапно очутившихся в глубине ханства, ошеломило карачу.

Но он не сдался, а затворился в городке.

А они ворвались в город. Они были голодны, изнурены сверхсильной тяготой этих недель. На теле почти у каждого из них горели раны. В тобольском илу и в черной болотной земле остались десятки их товарищей. На двух тесных, смрадных стругах помирали тяжело изувеченные.

И жестока, страшна была ярость Ермакова войска.

Они не пощадили никого из пораженных ужасом защитников городка и трупы побросали в озеро.

Тут им достался хлеб, мясо, мед в сотах и бочках.

И в этот день они были сыты и пьяны.

Но сам карача успел бежать...

#### 14

Медленно поднималось — раскачивалось лоскутное царство. Неспеша извергало оно из своих недр войска и посылало их под дряхлеющую руку хана.

Люди в берестяных колпаках на голове приехали из тайги. Вокруг поджарых оленей с лысыми по-летнему бо-

<sup>1</sup> Плаванье мимо выстроенного, как на смотре, татарского войска у Долгого яра было одним из тех дерзновенно смелых решений, которые уже современникам Ермака внушили мысль о его походе, как о чудесном и совершенном с помощью сверхъестественных сил.

ками заливались лаем своры длинношерстных собак, которых держали в голоде, чтобы они были злее.

Воины остяцких князьков вступили в Кашлык под звуки трещотки. На их щитах скалили зубы намалеванные страшные хари, а стрелы были вымазаны ядовитым соком лютика.

Степные кочевники пустили вскачь своих косматых лошадей на крутом въезде в ханскую столицу. Облако пыли осело у жилища Кучума. Безбровые лица всадников казались покрытыми мукой.

Тогда хан медленно двинулся верхом через свою столицу. И люди, мимо которых он проезжал, поднимались с места и следовали за ним. Так он повлек за хвостом своего коня пестрые лоскутья сибирского войска.

Было его несколько тысяч.

Но грозна была слава казаков, и Кучум не решился напасть на них. Он только отошел недалеко от Кашлыка и велел устроить засеку на высоком берегу Иртыша возле мыса Чуваша или Чувашия, в двух верстах выше впадения Тобола.

Сам же укрепился на верху горы.

Вперед выслал большой отряд, чтобы запереть выход из Тобола в Иртыш.

Так стоял Кучум на полдороге между своей столицей и казаками. И те знали, что теперь предстоит встреча с главными силами Кучумова царства.

Уж год как вела по неведомой стране водяная ниточка, чуть прерванная только у каменного темени Урала, — там, где прорастали древесные побеги сквозь днища брошенных строгановских судов. Но страна, мнимо преодоленная, снова смыкалась, пропустив струги. И как бы ничего не было: ни побед, ни отчаянной смелости, ни чудесной мудрости, ни богатырских, будто былинных подвигов.

Все еще только предстояло.

Ермак оглядел свое поредевшее войско, кусок русской земли, далеко залетевший...

Кто ставил городки на Кокуе, на Тагиле? Разве не сама русская земля городками этими перешагнула через Камень и, ширясь, стала в неизвестных местах? Кто и чьим именем брал «поминки» у покорных тюменских стариков, думая не только про то, как бы «пошарпать» кровавой саблей добытые богатства, кто шел неотступно вперед, хотя и не было богатств, а была вме-

сто них смертная бранная тягота? Кто складывал ханскую дань с земель, где он прошел, и низвергал хищную власть мурз, кто в долгие бессонные ночи думал, как привлечь к себе эти земли, оставить крепкими за собой, по-своему, по-хозяйски, устроить их? Вольница, не знающая удержу, не воевала так во время удалых аламанов на Волге, в ногайских степях... И монголо-тюркские покорители — джехангиры не так проносились над миром: развалины на века отмечали их путь.

Нет! То шли люди Русской земли — русское войско шло на простор.

Донскому закону подчинялись казаки. Но хоругви были не донскими, а русскими ратными знаменами.

Казак-кашевар, справно знавший церковный круг, дед Мелентий, когдатощний смерд, а потом бродяжка по русской земле, — бормотал перед знаменами обрывки ектеньи вперемешку с непонятными словами, похожими на заклинанья. Набрав в горшок тобольской воды, он шептал над ней и брызгал потом на вылинявших от солнца и непогоды угодников, на землю-мать и на казацкие сабли. И молился Владычице и Николе.

Тут, во время долгого сиденья в городке Карачине, когда надо было принять последнее нелегкое решение, Ермак больше не говорил о калачьем царстве.

— Поститесь! — приказал он войску.

Из сорока четырех дней, проведенных ими в Карачине, они постились сорок, хотя успенскому посту положено быть только две недели.

В глубине татарской страны далеко закинутое крошечное казачье войско сурово укреплялось обычаями русской службы, чтобы не колебался его дух.

«К смерти бесстрашные, в нуждах непокоримые»...

Кровавое крещение окрестило их, нужды закалили.

Но перед последним неслыханным подвигом атаман еще испытывал их нуждой.

«Что мимоходом урвали, то и добыча наша». 'Здесь, в пошарпанном Карачине-городке, тоже и это переламывал атаман. Не на нее одну, не на вострую удалую саблю будет опёрто его дело, когда свершится тот подвиг.

...Впрочем, Мещеряк, не мигая водянистыми кроличьими глазами с красноватыми веками, по косточкам расчел, что припасу мало, на чужой холодный берег стучится осень, неведомо, что ждет впереди.

И рачительный хозяин, отдавая приказ поститься, усмехнулся в бороду:

— Будем беречь припас.

Четырнадцатого сентября казаки снялись и поплыли дальше. Они с боем дошли до устья Тобола. Светлое, белесое под пасмурным небом, пространство раскрылось перед ними. То был Иртыш.

15

Широкая волна, как на море, ходила на нем, завивала гребни.

Ночная тьма окутала все. И во тьме казаки увидели огни.

Не приставали к берегу. Ермак улегся на пахнущих смолой и сыростью досках струга. Ню не спал. То лежал тихо, чтобы не побудить спящих — им надо было сберечь силы, то неслышно вставал и, без шапки, подолгу смотрел на далекие огни.

Они подымались дорожками ввысь, к звездам, тянулись длинной цепочкой, повиснув высоко, смешиваясь со звездами, и можно было понять, как высок там берег.

О чем думал тот человек, фрязин, генуэзец, про которого рассказывал Никита Строганов, — о чем думал, смотря ночью с корабля на огни в океане, огни своего Нового Света?

Сквозь шорохи и плеск воды слышался слабый, всюду разлитой как бы тонкий гул, звук ночи.

К утру засвежело. Ветер стал перебирать волосы казака. И он стоял и смотрел, широкоплечий, с посеревшим лицом, пока чуть видная розоватость не примешалась к тусклой белизне гребней.

Казаки проснулись. Натянули паруса. И с первым лучом поплыли против иртышской волны.

Высадились в городке мурзы Аттика.

Теперь они находились в самом сердце татарского стана. Темным горбом подымался навстречу Чувашев мыс.

Там виднелись татарские всадники и люди, рывшие землю.

Когда затихал ветер, доносился скрип телег. Обозы шли нескончаемо по невидимым дорогам.

Река отделяла казаков от Кучума.

Миновал день, за ним другой.

В городке было тесно. Спали на голой земле. Холодная роса покрывала по утрам блеклые травы. Голые ветви в лесу за низким валом чернели сквозь облетающую листву и качались со свистом. В дождь черная жижа заливала земляной городок.

Струги колыхались у берега, сталкиваясь друг с другом. Их вытащили из воды, чтобы не сорвало с чалок и не унесло.

Ермак ждал.

Он рассчитывал, как тогда, у Бабасанских юрт, что враг не выдержит испытания терпением, что хан сам прыгнет, чтобы вырвать занозу из сердца своего ханства, — и последний бой будет тут, у городка Аттика, выбранного Ермаком.

Ханская конница впрямь закружила близ городка. Ястребиные глаза кочевников издали различали, что делается у казаков.

Но хан не давал знака к нападению. Только татарские стрелы подстерегали неосторожных, тех, кто показывался из-за насыпи. И все теснее сжимали свои круги подвижные татарские отряды.

Стало голодно. А татары открыто зажигали свои костры близко от городского вала, и в городок тянуло жирным запахом жареного мяса.

Обросшие, оборванные казаки подымались тогда, как косматые звери, из накопанных берлог-землянок...

И уже роптали.

...Темной ночью сесть на струги и бежать на Русь. Вот она — стылая осень, а за ней зима. Ни один казак не доживет до зеленой травы...

— Волков накормим своим мясом.

Ермак слышал это.

На все доставало силы до сих пор, неужели не станет ее на последнее?

Но разве он не знал, что на той дыбе, на которую поднял он войско, еще раз заколеблется сила самых испытанных?

Теперь ни дня не ожидал он, пока глухой ропот станет открытым или заглохнет сам собой.

Он сам вышел навстречу ропшущим и поклонился, как в кругу на Дону или на Волге.

Он сказал:

— Думайте, братья-товарищи, отойти нам от места сего или стоять единодушно?

И в ответ понеслось, что слышал до того: кинуть все, бежать на Русь.

Он подождал. Потом сказал с сердцем:

— Псы скулят, а не люди. Как шли вперед, вороги бежали. Сами побежите — перебьют поодиночке. Не множество побеждает, а разум и отвага.

Показал через реку, к востоку.

— Вон он, Сибирь-город. Полдня осталось. Там честь и слава.

Заревели:

— На гибель завел! Смертную тоску сердце чует! Назад веди! Не поведешь — сами уйдем, другого поставим над собой!

Озираясь, Ермак крикнул:

— Все так мыслите? Все так присягу помните?

Толпа колыхнулась. Сзади раздалось:

— Вины нам высчитывать. Это что ж... Ханские саадки сочти!

Загудел медленный, густой, сиповатый голос:

— Фрол Мясоед... Сумарок Сысоев... Филаг Сума... Митрий Прокопьев... Пётра Дуван... Васька Одинцов...

Считал пустые места в казачьем войске, выкликал тех, чьи кости тлели в сибирской земле. И слышно было, как после каждого имени с каким-то всхлипывающим шумом человек втягивал воздух.

Над головами толпы Ермак видел высокий берег. Он тянулся с запада на восток. Крутые овраги местами прорезали его. На самых высоких буграх стояли городки. Вот он — тот, что называли татары Алафейской — Коронной горой! Кто укрепитя там, будет неуязвим. Но и этот берег придется брать. Это тоже не минуло.

Он жадно смотрел за реку. Перевел суженные, пылающие глаза на толпу.

Нет, не все тут мыслили так. Он услышал Брязгу:

— Могильный выкликатель! Камень за пазуху!

Вот казак высокого роста, необычайно толстый, выступил вперед. Он был в бисерном татарском платке, в чужаках на босу ногу. Оправил полы балахона, похожего на монашескую рясу.

— Куда это я побегу, атаман: вона как раздобрел! На Чусовой отоцал было вовсе. Пытают, пытаются: с чего жи-

ресшь? Ведь только арпа-толкан<sup>1</sup> и ешь! А я говорю: как по весне тагильская вода поднялась, так в меня водянойкой и кинулась.

— Бурнашка! — отозвались в кругу, и несколько человек засмеялись.

Кто-то звонко и молодо крикнул:

— Не год — пятнадцать лет шли встречу солнышку: куда ворочаться — к дыбе и колесу? Нагие — шелком прикроюся; кому горько — ханши уластят шербетом. По следу же своему не казаку — зайцу сигать...

Ермак усмехнулся.

— Его поставьте атаманом, — бровью указал на Гаврилу Ильина, легкого человека, — коли я негож!

И опять усмехнулся, сказал — для них, для ропщущих — прежние слова атамана вольницы:

— А ну, кто от дувана Кучумовых животишек бежать захотел?

Тогда вышел Филька Рваная Ноздря, швырнул оземь баранью шапку. Его длинное грузное туловище чуть покачивалось на искалеченных ногах.

Он не крикнул, только спросил, но проревело это над всей толпой, над городскими насыпями, до самых до чадных татарских костров, — так грянула, точно колокольной медью, его огромная грудь:

— Чье вершишь дело? Прямо скажи!

— Казачье дело! — крикнул в ответ Кольцо и схватился за рукоять сабли.

Еще упрямей опустил — все так же в сторону Ермака — мощный низкий лоб Филимон Ноздря, даже не покосившись на Кольца.

— За что велишь головы класть? Не крестьянское твое дело.

— Не крестьянское? — выкрикнул Ермак. — Не крестьянское?! — повторил он и задохнулся. — Не русское? А ты — басурманин? Клятва казачья от века нерушима!

Стремительно шагнув, очутился он перед Филимоном, впился в него взором, потемневшим от неистового напряжения.

И вдруг взор его бросил Филимона, будто того больше и не существовало.

— Бежать?! Срам непереносный — бежать от супоста-

<sup>1</sup> Арпа-толкан — поджаренная ячменная мука.



та. С тем на Дон вернуться хотите? Малые дети засмеют, старики отворотятся, бабы в глаза наплюют. Чего боитесь? Помереть боитесь? Пыткой и колесом не стану страдать. Свои казаки, как тлю, пришибут беглеца. А сбережете жизнь — не человечесью, собачью.

Но Филимон не тронулся с места и, когда на миг смолк атаман, тряхнул головой, будто подавая знак. И за плечами его кто-то громко, шепеляво проговорил:

— Тишь на Дону. Ясменно на небе, кони ржут в базах. Теплынь-туман с Азова...

Все это дал сказать атаман. Кивнул и подхватил:

— Тишь на Дону. Помню про то. И никогда не забуду. Дон — мать, корень казачий. Проклят, кто над матерью надругается. Для нее трудимся. Над всей Русью, над великой, блеснет слава наша, донских казаков!

Повторил, возвысив голос:

— Всех выше на веки веков казачью славу подыдем. Люди по всей Руси поклонятся нам. Попы в церквах будут выкликать имена наши. От отцов к детям пойдут они, от дедов к внукам и правнукам. И пусть же не забудут их, пока кровь наша, русская, жива на земле!

Умолк. Слышалось дыхание людей. Хитро прищурился и спросил:

— Своей смерти, что ль, миновать хотите?

Из-за спины Филимона раздалось:

— Да мы с казачьей сакмы не сходили.

То опять сказал голос Селиверста, искателя кладов.

Ермак повернулся к нему:

— Они ж, братья твои, головы сложили — за товариство, за казачество, за Русь. Теперь ли сойдешь?

Взгляд его внезапно нашел Филимона.

— Ступай, — тихо, грозно сказал ему Ермак, — на место ступай!

И неотрывно следил за ним, пока широкая его спина, колыхаясь, не скрылась в толпе.

Тогда он потер одну руку о другую и простым, веселым говорком досказал:

— Кто тут говорит: голову, мол, класть велю? Не веляю! Таскать ее, что ль, надоело? Хана сгони и живи: так веляю. Сюда привел не на гибель. У Бабасанских юрт было их десять на одного — одолели. Мимо Долгого яра проплыли. К вольной воле веду. Вон она, рукой подать. Из

руки своей отдать ее врагу? Как Мамай бежал, с той поры не боялась ханов Русь!

Всех оглядел вокруг.

— Войско! Слушай! Одна сакма — в Сибирь-город! И надел шапку. Мужичкий его кафтан продрался на локотках. В походах он не хоронился за спинами. Сам он, батька, тяжелым своим мечом прокладывал дорожку. Было что есть — ел, не было — и квасом из тобольской да иртышской водицы сыт. Он вел путями, где никто не провел бы. И проходили с ним, где не прошел бы никто.

Он снова крикнул, почти взвизгнул:

— Все поляжем! Поляжем, а назад не пойдём!

И тогда в безмолвии раздался тонкий голос Бурнашки:

— И-эх... атаман!..

Двадцать третьего октября казачье войско пересекло Иртыш.

## 16

В те времена Иртыш оставлял лишь узенькую ленточку плоского побережья под кручами Чувашева мыса.

Эту ленточку татары преградили завалом.

На мысе стояли главные силы Кучума.

Место казалось неприступным.

Здесь в темноте высадились казаки на топкую землю.

До утра, без сна, перетаскивали со стругов пушечные ядра, порох, пищали. Войско поредело, но клочок земли был тесен и мал, сотням негде было развернуться. Дрогли от предрассветного холода. И со всех сторон слышались голоса в огромном татарском лагере.

На заре косо, свистя, полетели стрелы с голой и черной Чувашевой горы, и над ней показался зеленый значок Кучума.

Тогда взвилось знамя над тем местом, где стоял Ермак.

Татары разглядели весь казачий лагерь. Они видели, как он мал, и выкрикивали сверху бранные слова и хохотали, издеваясь. Вот он, страшный враг, безумно загнавший себя в западню, запертый между горой, рекой и неприступно укрепленной кручей! И они привязывали к стрелам дохлых мышей и баранью требуху.

Казаки бросились на завал и отхлынули обратно.

Но трубили трубы у Ермакова места, заглушая крики умиравших, и спокойно развевалось казацкое знамя.

Грянули бронзовые горла пушек.

Пушкарь огромного роста щипцами хватал каленые ядра. Он высился, окруженный дымом и запахом горелого войлока и тряпья, и отпрыгивал, когда отдавала пушка. Полы длинного кафтана затлевали на нем, и он урчал и ворчал и ухал, присев, вслед ядрам.

Но ядра только плюхались в вал, вздымали столбы праха и древесного крошева из засеки, пересыпанной песком.

Когда смолкли пушки, донеслись снова крики и хохот татар.

Уже поднялось солнце, и военачальники их решили, поглумившись вдоволь, что пора кончать дело.

И вот — оправдался расчет Ермака, хитрый и дерзновенный. Татары сами в трех местах проломали засеку и хлынули, согнувшись, вперед.

— Алла! Алла!..

Тогда Ермак встал у знамени. Войско увидело вождя. Он стоял, обнажив голову, — открытый под остриженными волосами лоб, все лицо, с темными скулами, с небольшими тяжело запавшими глазами, освещенное солнцем с востока, — казались нерушимо, прекрасно высеченными над железными плечами кольчуги. Клич прокатился по войску.

Дрогнуло и поплыло знамя Ермака.

Казацьи сотни бежали навстречу врагу.

Брязга, маленький, прыгая через рытвины, бежал впереди всех.

— Любо, любо! — кричал он и махал саблей.

Войска сшиблись бешено, с грудью грудь.

Эхо кидало, как мяч, вопли, лязг и грохот выстрелов, словно там, в воздухе, шла вторая битва над пустынной водой.

Не все ханское войско было перед казаками, а только часть его.

На вершине Чувашева мыса, за стенами и валами, Кучум слышал шум битвы.

Городок Чуваш господствовал над окрестностью. Но теперь крепость на мысу и войско в ней стояли праздными.

— Что там? — жадно спрашивал хан и полузакрывал глаза. Надо, чтобы никто не мог читать мысли на его лице. Будет так, как судил Аллах. Но, как многие слеп

нушие люди, хан не замечал, что, вслушиваясь, он напрягается, вытягивает шею в ту сторону, где вздымались из провала под обрывом звуки сраженья.

Когда казачий свист и крики заглушали имя Аллаха,, пальцы хана сводила судорога, он привставал и начинал тихонько выть, молясь. Вестники простирались перед ним. Он приближал к ним свое пылающее лицо и до крови щипал им плечи и руки, ловя невнятные, прерывающиеся слова, слетавшие с их губ.

Не с железными ли людьми сражались татары?

Грозный клич лучших воинов хана и самая смерть не устрашали тех людей. Вокруг мертвых снова смыкались казачьи ряды. Плечистые бородачи, глядя в глаза врагу, рубились с хохотом.

Когда горло начинало гореть от жажды, люди черпали воду шапкой и снова кидались в сечу; пар стоял над ней.

Казак в помятой кольчуге врубался в ряды татар. Он тяжело и без промаха крушил все вокруг себя, охая при каждом ударе, как будто рубил дерево. Кривые клинки татар отлетали при встрече с его саблей, словно она была заговорена. Громадный воин-татарин полоснул его клышем, широким прямым ножом. Кольчуга выдержала, только вмялась в голую волосатую грудь. Казак покачнулся. Но в следующее мгновение он схватил великана за правую руку и, извернувшись, перерезал ему горло боковым ударом.

Был этот казак чернобород, с плоскими широкими ноздрями. Острые рысьи глаза неотрывно следили за ним. Пригнув голову, кошачьими прыжками подскочил к казачу Махмет-Кул. Его бухарский клинок очертил сверкающий круг. Он присел, когда засвистела казачья сабля, и тотчас выпрямился, взвизгнув. Сверкающий круг коснулся казака. Племянник хана со смехом кинул через плечо в толпу своих улан мертвую голову.

Но ни тревоги, ни замешательства не наступило в казачьем войске. То не был атаман, но простой казак, похожий на него.

Теперь новый удар, еще сильнейший, пришлось выдержать татарам. Сам Ермак и его товарищи устремились вперед.

Клинок Махмет-Кула опять засверкал в гуще боя. Рядом билась его уланы — знать, ханская опора. Они привычно ловили каждое движение его бровей.

Багровое солнце коснулось зубчатой гряды шихт. Кровавый отсвет заката напитал небо и пустынную воду реки.

Спотыкаясь о мертвые тела, брели окончившие свой тяжкий, кровавый труд войны, садились на землю.

Еще вспыхивала то тут, то там битва.

Пали сумерки, и она угасла.

На крутом берегу, западнее Чувашева мыса, смутно белело знамя Ермака. Обрубали ветви деревьев татарского завала для казачьего костра.

У костра, под хоругвью, на подостланной шкуре сидел Ермак, Яков Михайлов сидел перед ним на чурбане. Другие атаманы расположились поодаль, прямо на земле. Седой Пан подремывал, свесив на грудь голову. Сотник Журба, на корточках, безмолвно ждал.

Казачи подкидывали в костер охапки сушняка, чтобы ярче было пламя. Михайлов, наклонясь, вглядывался в насечки на куске бересты (нацарапанные ножом, они больше походили на зарубки, чем на письма) и говорил:

— К остякам и вогуличам, думаю... К туралинцам, барабинцам, коурдакам и аялинцам.

— Кого послать? — спросил Ермак.

— Акцибарского князька и Епанчина толмача.

— Надежны?

— Небось. В бега не кинутся.

Войсковой атаман усмехнулся:

— Ермак, говоришь, ноне сам пан, от панского стола не бегают!

Михайлов продолжал ровно, глуховато:

— А скажут пусть таково: войско, мол, благодарит, что слепого Кучума обморочили; спасибо, мол, и будя; пусть в юрты повертывают, как до завалов их подойдем.

— Постой! И так еще молвить: что впредь будет, то зачтем. За доброе — с своего плеча зипун дам. Князькам их — по юшлану, — ты, Матвей Мещеряк, не скаредничай, поди, слышь! А что было — быльем поросло: вспомянет кто — глаз вон.

Журба привскочил было. Ермак удержал его.

— Наших двоих... да нет, четверых отрядить с ними. Да позабористей, слышь? Побархатней. Сам выберешь. Эти к туралинцам, к барабинским татаровьям сходят.

— И не промешкать: до свету, — строго сказал Михайлов.

Ермак негромко позвал:

— Кольцо!

Тот повернулся всем телом, поправил шапку.

— Заутра — левая рука войска твоя, Иван. Свою сотню туда поставишь. Тебе, Яков, правая рука. Сдержишь хана, пяди не уступая. Ведите полки.

Ермак поглядел на обоих — Михайлова и Кольцо.

Ударил каблуком вытянутой ноги по земле.

— Полки, говорю. Будем биться ратным обычаем. — И досказал: — Как под Ругодив ходили, с тем Басмановым<sup>1</sup>.

— Ругодив! Ишь, что вспомянул! — изумленно пробурчал Кольцо.

Ермак молча встал под хоругвью, огляделся. Плоско лежала, чернела в туманном мороке земля. Ни огонька в эту ночь на вражьей стороне. Явственно, мирно пугукала вдали птица.

— Убыло нас, эх! Коротка наша улица...

На заре Михайлов завязал перестрелку с Чувашевым укреплением. Кольцо завернул левое крыло казачьего войска по полю, в обход, заставив татар растянуть свой стан. И через рвы и обрывистый овраг повел Ермак с Грозой и Паном на приступ ядро войска там, где был стан вогулов и остяков.

К полудню остяки покинули хана. Вскоре ушли вогулы. Они погнали оленей домой, в свои юрты, укрывшиеся в непроходимых яскальбинских болотах.

Часть татарского лагеря оказалась в руках Ермака.

Выстроив людей кругом, отбивался Михайлов от улан Махмет-Кула.

Казак Ермака полезли на ханскую крепость.

Они лезли цепь за цепью, и татары подсекали их, пуская тучи стрел и меча камни.

Вместе с другими взбирался худощавый казак. Дважды сшибали его, он прихватывал рукой место, ушибленное камнем, вскакивал, карабкался. Он опередил товарищей.

Тучный великан снизу, из оврага, поглядывал на него. В реве голосов он расслышал звонкий выкрик. Худощавый казак был уже без зипуна, — верно, сбросил, — в одной белой рубахе, из-под нее выбилась, болталась ладонка. Ух-

---

<sup>1</sup> Нарва была взята русскими войсками в 1558 году, в начале ливонской войны.

ватившись руками, он искал упора ступнями босых ног и лез все выше, с ножом за поясом. Чтобы достать его стрелой, лучникам пришлось бы высунуться под казацкие пули. Но татары скатывали камни, они, пыля, пролетали вокруг него; каждый миг он мог сорваться...

Тучный колосс, дернув круглой головой, вдруг вскочил с места и устремился к крепостной горе.

Он полез, не обращая внимания на камни и стрелы, быстро, далеко, по-обезьяньи выкидывая руки. А тем временем худощавый молодой казак последним рывком вынес свое легкое тело на край крутизны, волосы его вспыхнули на солнце, все лицо, мгновенно озаренное, стало ясно видно, и вдруг он плашмя вскинул ладонь, словно защищаясь от яркого света, — и начал валиться навзничь.

Он упал с высоты в два человеческих роста. Как отыскал великан точку опоры на крутизне, как выдержала даже его чудовищная сила?

Баглай крепко обхватил Ильина и, смотря в закатившиеся его глаза, бормотал:

— Ничего... Ты чего? Ничего...

Пуля пробила шатер Кучума. Хан вскочил с проклятием. Сухая кисть его, похожая на лапу хищной птицы, легла на плечо поспешно вбежавшего в шатер воина.

— Махмет-Кул?!

У вестника перехватило дыхание. Он пролепетал, что Махмет-Кул ранен и ближние телохранители едва успели увести его за реку.

Хан вышел из шатра. Он услышал лошадиный визг, и грохот арб, и рев, поднимающийся из-под земли за насыпью, и странный мгновенный тонкий присвист — будто птичий писк. Что-то глухо ударило на валу, удар был мягок, но тотчас сотряслось все, и комья земли больно осыпали хана, а пыль запорошила ему глаза.

Он яростно вглядывался. Он различил у насыпи лучников. Они стояли на одном колене, руки их непрерывно шевелились, и туловища качались: то отваливались назад, то наклонялись вперед. К насыпи и от насыпи все время двигались согнутые люди; воины что-то равномерно подымали с земли.

Хан знал, что воины поднимают и сбрасывают камни. И, оттолкнув двух мурз, раболепно моливших его вернуться, он быстрыми шагами пошел к насыпи и стал там во

весь рост, среди согнутых людей и внезапно участвовавшего присвистывания и птичьего писка.

Рев, близкий, подземный, там, за насыпью, не стихал. Вдруг выдалась над ней голова. Маленькая, остроносая, бледнолицая, со спутанными желтыми, непокрытыми волосами, — она показалась хану невыразимо омерзительной. Он хрипло вскрикнул и прыгнул вперед, и схватился за кривую саблю, чтобы заткнуть рот этой голове, открытый, точно из него и вылетал страшный подземный рев. Десять клинков протянулось, чтобы защитить и опередить хана, и дерзкий провалился за насыпь.

Но, значит, уж и тут, у самого ханского шатра, мог появиться казак! Множество рук оттащило Кучума от края...

— Пора уходить, хан! Жизнь твоя драгоценна... Яскальбинские князья открыли путь врагу. Крепость твоя — уже как остров посреди бушующего Иртыша.

Он отряхнул удерживающих его.

— Здесь стою. У меня остались воины. Пока я тут, не посмеет враг двинуться на Кашлык: в спину ударю, уничтожу!

Так все еще неприступным простоял до ночи последний оплот Кучума — Чувашское укрепление.

Но ночью туралинцы, люди из Барабы, коурдаки и аялинцы покинули хана.

Двадцать пятого октября хан велел столкнуть в Иртыш две бесполезные пушки, привезенные некогда из Казани. И когда они ухнули в реку, хан, покачиваясь, закрыл глаза.

Потом вскочил на коня, и конь, знавший дорогу, сам принес его в Кашлык.

Ночь была холодна, промозглый туман напозл из Иртыша.

Тяжело ступая, прошел Ермак по кровавому полю. Кругом перекликались голоса. Казаки искали товарищей. Раненых разбирали по сотням.

Сбитые в кучу, сидели и лежали пленники, загнанные в котловину. Их стерег караул.

Ермак остановился, опершись на саблю.

— Уланы, — злобно сказал Гроза, указывая на пленных.

Ермак ладонью рубанул воздух.



— Головы долой!

Тихий молитвенный вой раздался в котловине.

Он пошел не оглядываясь, запахнув зипун.

Земля всхлипывала под ногами.

Тела валялись на топком побережье, на береговых обрывах, во рвах, на валах и в засеках, которыми усилил Кучум Чувашское укрепление.

Сладковатый, едкий пар подымался от почвы.

— Три дня всему войску работать, закапывать, — сказал Мещеряк.

Ермак качнул головой:

— В Иртыш.

— Юшланы, рухлядишку поснимать, — сказал Мещеряк. Он стал высчитывать, сколько сайдаков, пансырей, хоросанских клинков досталось казакам.

В Кашлыке Кучум взял кое-что из своих сокровищ и с близкими своими бежал в Ишимские степи<sup>1</sup>.

Так совершилось событие, о котором в Кунгурской летописи, написанной простыми казацкими словами, сказано: Ермак сбил с куреня царя Кучума.

---

<sup>1</sup> На берегах Иртыша долго жило предание о зарытых сокровищах — Кучумовых кладах. В 1941 году мне пересказывали в Тобольске это предание: из колодца в овраге Сибирки есть ход в подземелье, у входа там стоит вороной конь в золотой сбруе.



## ГОРОД СИБИРЬ

1

**Д**вадцать шестого октября 1582 года казаки подошли к Кашлыку.

День был на исходе.

Гора вздувалась глиняными голыми склонами за отвесными рвами, за сумрачным ущельем, где катилась Сибирка. Ключи били на дне ущелья; вода сочилась под сорокасаженным срезом, которым гора обрывалась к Иртышу. Но только жесткий кустарник щетинился во впадинах да местами по крутизне тянулись рыжеватые полосы, похожие на ржавчину или на запекшуюся кровь.

Выше земля была разбита в пыль и усыпана золой. Там было жильё. Виднелись стены из обожженного кирпича. Дома из еловых бревен подымали шатровые крыши над глиняными лачугами.

Казаки посовещались и подождали немного, они опасались засады. Не верили, что Кучум оставил это место, огражденное Иртышом, крутыми обрывами, стеной и валами.

Столица лежала мертвой кучей, наваленной на темя горы и языками сползавшей к се подножью.

Казаки перелезли через один вал и увидели за рвом еще больший. Позади его, опять за рвом, был третий, самый высокий.

Город стоял пустым. Все его полукочевое население бежало.

И тогда казаки поняли меру своей победы у Чувашева мыса. Они взобрались по извилистой крутой улице. За-

пах навоза, отбросов многолетнего человеческого обиталища застоялся в ней. Казаки входили в столицу стройно, по сотням, со знаменами и трубачами.

Ермак сразу выставил крепкие караулы у ворот.

С вершины горы он оглядел окрестность.

— Тут устроимся, — сказал он.

Широко и просторно было вокруг. Седая грива Иртыша у береговых излучий, пустынный лес в даях и стаи воронья над водой, на западе, там, где черным горбом выдавался берег...

В распахнутых жильях осталась утварь, пестрый и рваный хлам, сбитые из досок и подвешенные к потолку зыбки. В ямах-погребах — нарезанная ремнями вяленая конина, бараний жир, уже прокисшее кобылье молоко, ячмень, полба и мед. А в домах побогаче казаки нашли пологи и шитые серебром ткани, брошенные халаты и шапки и даже мечи с насеченными стихами корана.

Три дня казаки считали добычу. На четвертый пришел остяцкий князь Бояр с низовьев Иртыша. Он пал на землю и прижал к ней моржовую седую бородку, выставив буюю, старческую, в морщинах, шею, в знак того, что казачий атаман волен срубить его повинную голову.

Бояр знал этот покой в цветном войлоке и коврах и то возвышенное над полом место, пред которым он простерся. То было седалище Кучума. Но с Бояром теперь случилось то, чего никогда не случалось с ним в этом покое. Человек, сидевший на ханском месте, поднял Бояра и посадил рядом с собой. Он угостил и обласкал его. И, пошемному оправившись от страха, остяцкий князь рассказал Ермаку все, что знал — о беглом хане Кучуме, о ясачных людях, о делах в своем городке и в других, соседних, княжествах. И поклялся самыми страшными клятвами пребывать в верности и платить исправно дань.

Сам он и многие другие разнесли по улусам слух об этом милостивом приеме. К воротам Кашлыка стали возвращаться бежавшие татары. Жители окрестных улусов приходили со своими старшинами. Они били себя в бороды. Женщины с пищащими ребятами стояли у повозок, нагруженных пестрой рванью.

Они знали, что надо платить победителю. Но та дань, которую потребовал с них страшный казачий атаман, оказалась им теперь малой и легкой. Он брал по счету: с дыма и с лука. Иных, покорных, князьков прикарм-

ливал, другим, самым гордым, отъевшимся у ног хана, грозил — и тем уж ни беглый хан, ни шайтан, ни сам Аллах не могли помочь.

Простой народ казаки встречали приветливо:

— Живите мирно, где жили. Пастухам и ковачам железа будет крепкая защита. Живите за казацкой рукой! Хана и мурз его не опасайтесь. Честным гостям-купцам — настежь ворота, вольный торг.

И многие люди в селеньях почувствовали, что грозная сила русского атамана теперь обернулась на их сторону, — чудесно-непобедимая, она стала за них — против недавно еще всемогущего хана. А почувствовав это, не желали поворота к старому.

Так, по-хозяйски, устраивался Ермак на своих новых землях.

Выбрали места для рыбных промыслов. Ставили амбары и сушильни. В кузнях засипели мехи. По сотням выкликнули мастеров, — они принялись жечь уголь, искать — на цвет и на запах — серный и селитренный камень для порохового зелья.

Еще одним удивил Ермак покоренный им люд: он звал к себе на службу иртышских татар.

И уже татары из Кашлыка и ближних городков рубили лес, тесали бревна, строили новые крепкие стены вокруг бывшей ханской столицы — взамен старых, почернелых, выросших в землю...

Ермак сказал, как о самом обычном деле:

— Пашни бы присмотреть, посеять по весне овес, ячмень, полбу, а по осени — и ржицу.

На площади перед частоколом ханского жилья (эту площадь казаки называли майданом, как на Дону) Ермак заметил широкоплечего казака с сивой бородой лопатой.

— Заходи, — позвал его атаман.

Был то тихий казак, со многими рубцами на теле, который за двадцать лет повольной жизни так и не мог забыть крестьянства.

Просидел он у атамана недолго, а на другой день встал до свету, препоясавшись лыком, обмел снег с порога и пошел по улице.

Спускалась она, вся чистая, снег поскрипывал под ногами. Чуть туманно, безветрено. Казак глянул вдоль глиняных заперошенных юрт —

Вышло на улицу солнышко ясное,  
Солнышко ясное, небушко тихое...

Старый казак Котин шел и пел обрывки того, что, сам не ведая, хранил в себе с далекого своего детства.

Кудрявились дымки, пахло хлебом.

Котин мерял шагами пустоши за Кашлыком. Ему виделось, как пустоши эти становятся полями и расстилаются поля — глазом не окинешь. В дождь растут хлеба, поднимаются, в ведро наливают зерна в колосьях.

И глаза казака светились.

2

В этот день в юрте Бурнашки Баглая в первый раз очнулся Гаврила Ильин. Долго не закрывалась рана в его груди; он то лежал в тяжком забытьи, то метался в горячечном бреду; жизнь и смерть спорили в нем.

Дни и ночи, без сна, сидел около него великан. Он никому не позволял подолгу быть возле Ильина, выслал вон пятидесятника, явившегося от атамана, и самому атаману, когда тот зашел и замешкался в юрте, указал: «Иди, батька, пора». Огромной своей рукой он удерживал раненого, когда тот начинал биться и метаться; после укутывал его зипуном и овчиной. Со дна своего мешка доставал какие-то травы, собранные то ли на Волге, то ли еще на Дону, сухие, истертые в земляной порошок; распаривал их в воде, прикладывал к ране, поил отваром. И когда восковое лицо Ильина покрывалось смертной истомой, Баглай отирал ему лоб и струйку пенистой крови в уголке губ и, покачиваясь, кивая сам себе; бормотал, что-то неведомо кому рассказывая, и тонким голосом запевал диковатые песни без начала и конца.

И выходил того, кому, казалось, не жить.

Ильин проснулся, как, бывало, в детстве после ночи со страшными снами. Миновавшая ночь казалась ему короткой. И он увидел белый поворот дороги и теплый, летний, насквозь озаренный солнцем подъем улицы, — там была мягкая, нагретая пыль и кусты татарника, и оттуда открывалось, — он знал это, — широким полукругом синее сверканье реки. И громадная, такая же, как вчера, но вечно новая жизнь, — жизнь, горящая и зовущая золотом неведомого счастья в степях за Доном, — стояла на пороге.

Счастье сразу нахлынуло на него. Он потянулся, еще в полудреме, с куги, где спал, к месту матери, которая, он слышал, за дверями ломала хворост и готовила кизяк для очага.

Вот она закончила свое дело, и пар за клубился в дверях, и в клубах пара вошел с охапкой дров, щены и сушняка громадный человек. И то ли заиндевели его волосы, то ли чернь их смешалась с сединой. В дверь увидел Ильин, что белизна улицы была от снега, а глина слепых юрт и заборов холодна; и была незнакомая огромная пустота за тем местом, где будто обрывалась улица. И он понял, что это не Дон, а Иртыш, и это и было то самое, куда звало его золотое горенье в задонских степях, то самое, куда он ехал и шел по дорогам своей жизни, плыл, ни к какому берегу не приставая, — и вот доехал, и больше ехать некуда.

Он сразу охватил это сознанием, но подробности еще были темны ему, и теперь он, точно явившись откуда-то издалека, точно наверстывая что-то, жадно с каждым мгновением впитывал эту новую жизнь; песня же радости не смолкала в нем.

Он хотел спрашивать, говорить.

— Кашлык?

Он подивился, что выговорил только одно слово, да и оно с таким трудом далось ему.

— Вот поспал, — сказал Бурнашка. — Чисто как я; так я-то хоть после дувана. Ты ж дуван царства Сибирского проспал. Молчи, меня слушай. Что надо — скажу, чего не скажу — знать тебе нечего.

На другой день Гаврила встал. Хотел выйти.

— Ветром сдует! — прикрикнул Баглай.

На третий день доковылял до улицы, прислонился к глиняному забору и с радостным удивлением смотрел, как толкуются неизвестно откуда взявшиеся крошечные мошки, вспыхивая против солнца.

Рядом был просторный двор юрты войскового казначея, Мещеряка. Он сам стоял на дворе, в татарской распахнутой шубе. Перед ним сидел Брызга, держа между колен обеими руками рукоять длинной сабли.

Атаман Матвей руки сунул за кушак, ногу заложил за ногу — хером и, стоя в этой затейливой позе, отчитывал пятидесятника.

— Голубь ты. Голубиная твоя душа, — услышал Ильин.

Брязга открыл и закрыл рот — точно словил муху.

— Городим тын, держась за алтын, — продолжал Мещеряк, глядя сверху вниз немигающими бледно-голубыми глазами. — А бирюк ходит за Иртышом.

Брязга ответил:

— На бирюка есть огненный бой.

— Мужички таганками селитру с серкой таскают — волку клыки окуривать? Да лих: еще на мышиную отраву достанет ли?

— Ну, — сказал Брязга, — батька не крив.

Мещеряк пропустил это мимо ушей, с издевкой проговорил:

— Царевать приобыкли. Мягко да лестно. Здрав будь, царюй; сладкоречием сыт, а под горбок — мужицкую сошку!

Разговора Ильин не понял — слишком светло и радостно было у него на душе, — но, вернувшись, пересказал Баглюю. Великан сморщился, закрутил головой, что-то забормотал сердито, недовольно двигая ноздрями.

### 3

А про «бирюка» и в самом деле забыли. Казаки ездили по татарским селениям. Там завелись у них кунаки и побратимы.

Перед Николой Зимним двадцать казаков отправились ловить рыбу подо льдом в Абалацком озере. Пала ночь, рыболовы уснули у горячей золы костра.

Был Абалак любимым Кучумовым городком.

Ночью вышел из лесу таившийся весь день Махмет-Кул. Татары перерезали сонных. Только один казак не дался ножу — отбился и в ту же ночь прибежал в Кашлык, к Ермаку.

Празднично было в городе, там готовились встречать день казацкого покровителя. Никто не ждал черной вести.

С проклятиями поднял Кольцо людей, как были в праздничных кафтанах — вскакивали они в седла.

— Сам, — сурово сказал Ермак и сел на коня.

Низко пригнувшись под хлеставшими ветвями, летела казачья лава. Пар поднимался от конских круп.

У Шамшинских юрт казаки настигли шайку Махмет-Кула.

Только немногие татары ушли живыми, но с ними — Махмет-Кул.

На обратном пути Ермак подъехал к Абалацкому озеру. Рядком, как спали, лежали зарезанные казаки. Кто спал на левом боку, не успел перевернуться на правый. Только голова, чуть тронь ее, откатывалась от тела.

И Ермак похоронил мертвецов на высоком Саусканском мысу, среди ханских могил.

4

Еще двое князей явились с повинной. Ишбердей из-за Яскальбинских болот и Суклем с речки, павшей в Иртыш ниже Тобола. Княжеские нарты с добровольным ясаком стояли у ворот Кашлыка.

Ермак принял князей так же, как Бояра. В их честь трубили трубачи, и стрелки палили из пищалей. Атаман богато одарил обоих князей, и не видно было по его лицу, что только что отошла кровавая ночь у Абалацкого озера.

— Служить буду тебе, — сказал Ишбердей. И назвал Ермака: — Рус-хан.

— Служи. Верно служи, — ответил Ермак и нахмурился, повысил голос: — А я не хан и не царь. Царь на Руси — Иван Васильевич, государь московский.

Узкий след прочерчивали на снегу лыжи и нарты.

Казаки в волчьих шубах длинной плетью погоняли упряжных собак. Ели конину, в земляных городках пили травяные настои, прокисшее запененное молоко и мед.

Волжская песня будила дремучую тайгу.

Люди были бесстрашны и, казалось, не знали усталости.

Пятьдесят, тридцать, а то и двадцать человек приводили в покорность целые княжества. Товарищи-побратимы чуть не сам-друг пускались в нехоженые места и открывали новые земли.

Страна сбрасывала ханскую власть, как ветхую одежду с плеч долой.

А Ермак, устраивая Сибирскую землю, уже звал грамотками к себе на торг бухарских и русских купцов.

Старая, торная дорога из Бухары в Кашлык — пусть не



заносит ее снегом, пусть бурьяном не зарастет она. И пусть лягут новые дороги — с Руси в город Сибирь.

На великом перепутьи станет этот город. И в нем — встреча гостей московских с гостями из Бухары, несчетно богатой.

5

Но еще задолго до весеннего разлива вод, всего через месяц с небольшим после занятия Кашлыка, когда ни облачка не омрачало казачьей удачи и победы, — разве только ночная резня под Абалаком, — в счастливом декабре 1582 года Ермак спросил атаманов, как они мыслят: *слать ли послов сейчас или обождать?*

Долгое молчание было ему ответом. Они сидели все вместе — шестеро атаманов и с ними Брязга. Они сидели у деревянного дома на юру, на темени горы. Отсюда был виден Иртыш в сизоватом льду. За рекой, широко сверкая на зимнем солнце, открывалась окрестность с лесками у берега, похожими отсюда на камыши, и черными борами на белых полях до самого неба.

Атаманы молчали. Ермак не торопил ответа. Кос-кто курил. Другие сидели, откинувшись, расстегнув ворот.

Был мир и ясный свет кругом с чуть влетающими золотыми нитями того поворотного часа, когда день начинает неуловимо склоняться к вечеру.

За муравьиной кучей города не видно холма по ту сторону оврага, за Сибиркой. А там, на оголенном погосте, с которого ветер выдул снег, все прибавлялось крестов, сбитых из жердей, — сверху две дощечки, сходящиеся острой крышей. А в закромах убывало пороху и свинца. За каймой лесов, в южных степях, залечивали раны Кучум и Махмет-Кул. Там стрела, призыв к священной войне, летела от кочевья к кочевью.

Сколько пути отсюда до сердца далекой Руси? И сколько обратного пути — не для казачьих гонцов, а для медлительного тяжеловесного стрелецкого ополчения?

Михайлов прикинул все это и спросил коротко:

— На год вперед считаешь?

Кольцо ожесточенно поежилась.

— Матвейки Мещеряка отходная...

А Мещеряка будто ничего не касалось. На атаманских собраниях сидел брезгливый и полусонный. Сейчас он

только чуть шевельнул глазом на красном, как сырое мясо, лице.

Ермак чертил прутиком по земле. Опять спросил, не подымая головы:

— Так что, братья-товарищи? Как мыслите?

Брязга вдруг сорвался с места.

— А так мыслю, братушка, что не пожили вольной волею. И не попробовали...

— Та ни, ноздрею нюхнули, — с усмешкой вставил Пан.

Брязга дернул шрамами на лбу, на щеках.

— И чего шли — с Дона слетели, с Волги слетели; со всей Руси слетели! И где же те казаки-товарищи, два ста, почитай, побитых?

Костлявое лицо Грозы с широко расставленными глазами медленно багровело. Он несколько раз втянул воздух, будто порываясь что-то выговорить, то было для него тяжким трудом. Он выдавил наконец:

— Строгановым Сибирь... купцам, значит.

Невнятно буркнул яростное ругательство, и снова посерела кожа на его лице.

— Строгановым? — с угрозой повторил Ермак, но тотчас сдержался. Сказал мягко: — Ты, Яков, что сосчитал?

Он все чертил прутиком.

Ровно, спокойно, обстоятельно объяснил Михайлов:

— Счет мой нехитрый. Торопиться. И перезимуем, и перелетуем еще. На досуге и обдумаем. Прикинем так, прикинем и этак — как способней, так и отрежем. Сгоряча горшков наколотишь... А Мещеряк, курицына мать, хозяин скаредный. Ему все — ой-ой-ой мало, рундуки пусты, подавай еще!

— Ты про меня? — отозвался Мещеряк. — Это на себя погляди.

И замолк.

Ермак выслушал молча. Он знал, что не для того Мещеряк по пальцам расчел оскудение казачьих припасов, чтобы он, войсковой атаман, так поворотил судьбу войска.

— А я тебе, батька, что скажу: скор ты и забывчив.

Это уже корил Иван Кольцо. Атаман Ермак вскинул голову. Нет, не забыл он тех двух слов, — «казачье царство», — которые некогда произнес первым, а теперь умолчал о них, когда плод всей его жизни созрел настолько, что пришла пора от него отказаться!

Мысли, давние, смутные для него самого, тяжело вращались, но больше он не отпускал их от себя неузнанными, он смотрел им в лицо, и наконец они прояснились. «Что мимоходом урвали...» Тот, кто этого ищет, пройдет по земле бесследно, как вихрь. Вихрем бы и развеяло золу сожженных казачьих хижин, славу недолгого казачьего царства в Сибири.

Он отшвырнул прут.

— Хоть день, да наш? Казакам не детей качать, пожили — и чертополох на могилах?

Примирительно вступился Михайлов:

— Да кто про это! Не за то головы клали, путь небывалый с Дону прошли. А думать надо. Не смаху. Рассудить надо, как крепче стоять.

— Вот и рассудим, — опять остыв, согласился Ермак. — Рассудим. Посидим, братья.

Он замолк. Все молчали, ждали.

— Думаю так, братья-атаманы. Ты, Богдан, коренной донской. Грозой тебя, Иван, прозвали под Перекопом; а притопап ты откуда? С Мурума, глядь. Матвей — из боров заокских аль с речки Казанки, а то с пустоземья северного — под сполохами повит: сам-то молчит, свое бережет пуще войсковой казны. Колечко по всей по матушке Волге каталось. Никита... Век свой, думаю я, братья, век свой походи, а не исходишь один тех мест...

— Всех, бурмакан аркан, перебери, чего уж, — проворчал Кольцо.

Ермак как бы вглядывался во что-то внутри себя.

— А сошлись мы, атаманы, вместе. Речь у всех одна. Попы в купель одинако окунали. Сошлись все — в одну силу сложились. Людей же в войске нашем шесть сотен было, как с Камы тронулись. Половины нет, братья-товарищи. Силы той достало Кучума повоевать. Да что ж хвалиться? Русь воевала Мамая, салтана турецкого, Литву, ляхов, ливонцев воюет — не чета Кучуму... Поминки, яск собираем ноне, — вам, что ль, кланяются князья да мурзы? Аль мне? Нам поклонились — да завтра подмяли. Русь царству кланяются — при дедах их, помнят, стояло и при внуках стоять будет. Нет ей, крови русской, переводу...

— А мы, — бухнул Гроза, — сами русские и есть.

Брызга пожаловался, скосив глаза:

— Словечка родного другой год не слышим!..

У Кольца блеснули ровные зубы.

— А мы клич кликнем. Бирючей разошлем: мужиков, мол, да баб поболе — на простор зовем.

— Новый народ зачинать? — перебил Ермак. — Песен из Москвы привезть — вторую Русь ставить? Дороша одолели, Строгановых с себя стряхнули, — ту, что породила, не стряхнешь. — Он досадливо, нетерпеливо поморщился. — Языки чесать собрались, что ли!

Снова неспеша заговорил Михайлов:

— Сибирь взяли, а поднять не подыдем, — то дело ясное. Да чело нешто свербит, что бить челом собрался уж нынче? Обождем, говорю. Обдумаемся — как ловчей мосток через Камень перекинуть.

— Не шутейное дело, — Ермак топнул ногой, — на крови нашей оно! Сделали его своими руками — девки мы. что ли, теперь глаза долу опускать? Коль сами молчите, я скажу, атаманы, чье дело: не донское, не волжское, не строгановское — вона как повернуло, слепой видит. Шли на простор и отворили простор. И щитом Русь защитили со востока солнечного. Ждать, Яков? На год загадал? Народ-то, землю не переждешь.

Ясней, ясней смутные мысли. Годами меряется жизнь одного человека — втуне она, как не была, если не останется ее дело, чтобы расти — сквозь годы. Немеряная, темная даль грядущих лет!

— Таиться нам нечего. Не позор, не стыдобушка перед всем казачеством, пред народом то, что добыли мы. Краснo оно, говорю! Полцарства прирастили мукой своей, кровью, мечом своим. А пить захотели — чего сухим ковш держать? С озера великого чем скорей светлой воды зачерпнем, тем здравей будем.

Сидели, думали атаманы.

— Вины-то пред царем выслужили, что правда, то правда, — опять первый начал прикидывать вслух Михайлов. — Про старые дрожжи не поминают двжды.

Кольцо сказал:

— Он те посохом и благословит, и помянет!

Рассудительно возразил Михайлов:

— Мимо двора сколько ни ходить — все в ворота зайти: и то верно. Ты размысли: не с Дону, не с Волги повинная твоя — со столичного города Сибири.

— Голова твоя, Яков, на сто лет вперед обдуманная, да и то на батькины слова, видать, сдаешься. А по моей то-

пор у тетки скучает — дожидается, пока надоест ее мне носить.

Ермак с усмешкой прервал их спор:

— Последнее слово мое. Царя видел, братья. Скажу. Голос зычный, сам статен, высок, волос кудрявый. Закон у него ого-го-го — круче донского... — Строго закончил:— Крепенок царь Иван Васильевич, горяч, а земли для простит, не боярский угодник.

Он поднялся.

— А не простит — сама земля простит: ей послужили.

Опять, борясь со своей неотвязной мыслью, Гроза тяжело проговорил:

— Были вины — смыли. Свято дело наше. Не идолам-Строгановым Сибирь!..

Пощипывая ус, Яков Михайлов напомнил еще:

— А Никитушка что ж молчит?

Пан отозвался:

— Песни ваши слушаю, да чую: те песни давно уж хлопцы спивали. Выходит: кохали дивчину, да не себе.

С нарочитой простоватостью почесал в затылке.

— Блукали по свету — притулились до места. Чего балакать? До царя, так до царя. Ото же и я кажу: *пид самисеньку пику*.

И снял шапку — мягкий воздух облек его непомерный лысоватый лоб и сивую голову.

Тогда снял шапку Ермак, и все атаманы стащили шапки; последний, точно дремал до того, Матвей Мещеряк. Ермак истово перекрестился.

— Ну, братья-товарищи! Во имя отца и сына и святого духа. Со христом...

Кольцо спросил:

— Сам поедешь, Тимофеич?

— Тебе ехать, не иному, — подтвердил Яков Михайлов.

Ермак покачал головой.

— Нет. Тут я не кончил — только начал.

Мещеряк сказал медленно:

— А как батька послом уедет, верно, тебе, Яков, с войском управиться — не иному?

Михайлов только скользнул по нему глазами. Мещеряк продолжал раздельно, приветливо:

— Может, крикнуть тебя в батьки, как сам ты на Волге велел? А как же! Годов пятнадцать Яков изготовлялся — терпелив. Укладки набивал рухлядишкой, чтобы было в чем атамановать. Еще кто богаче: Яков аль войсковая казна?

Никита Пан перебил:

— Кумекаю так: Кольца послать. До таких, как он, кого плаха ждет, царь дуже ласков.

Брязга крикнул, что ехать Михайлову. Мещеряк еще подал голос: собираться в путь Никите Пану. Михайлов молчал.

Гроза выговорил:

— Красней Кольца, коль он схочет, никому не сказать!

И тут решил Ермак:

— Тебе ехать, Иван.

Усмехнулся, вспомнив, как и тогда, на Каме, пуще всех бунтовал Кольцо, а он взял и поставил его набольшим.

— Ты и вправду ведом там. Со знакомцем встретишься.

Кольцо вспыхнул, выкатил белки и без того выпуклых глаз на смуглом лице. Но не вскочил, не крикнул — с вызовом, задорно тряхнул волосами:

— Я, бурмакан аркан, не отказчик.

Похваляясь, сказал:

— Спытать задумали, не испужаюсь ли? Того страха нет, чтоб испужать Кольца!

С этим покончили: ехать Кольцу, осужденному на смерть самим царем. Заговорили о том, что повезти, сколько взять народу.

Ермак положил руку на плечо послу.

— Слышь, Иван, Гаврилу возьми Ильина, трубача-парнишку...

— Того парнишку, — сквозь зубы отозвался Кольцо, — скоро внучки за бороду таскать будут.

— Ты покажи ему, Иван, что не сошелся свет на Сибири-городе. — И прибавил, будто оправдываясь или поясняя: — Легкая рука у него...

Двадцать второго декабря 1582 года собачьи упряжки тронули нарты с атаманова двора в Кашлыке.

С Кольцом — пять казаков. На нартах — шестьдесят сороков соболей, двадцать чернобурых лис и пятьдесят бобров. Князь Ишбердей со своими вогуличами проводил казаков прямой дорогой, волчьей тропой через Камень.

В Сибири казачье войско, ожидая с Руси царской помощи, продолжало единоборство с Кучумом. Шайки ханских людей кружили возле казачьего стана, выжигая аулы за то, что их жители отступились от хана и стали держать сторону русских. Ермак не давал хану копить силы в пустынных кочевых степях. После Абалака следил за каждым шагом Кучума и отгонял его все дальше и дальше не только силой, а и мудрой хитростью: отвращая от хана сердца сибирских людей и привлекая их к себе.

И та земля, которая еще недавно была достоянием Кучума, теперь горела под его ногами, чуть только он пробовал ступить на нее.

Двадцатого февраля 1583 года не простой татарин, а мурза Сенбахта прислал Ермаку известие, что Махмет-Кул с шайкой пришел на Вагай, верстах в ста от Сибири.

Шестьдесят удальцов поскакали к месту, указанному Сенбахтой.

Ночью, вблизи озера Куллара, они напали на врагов. Махмет-Кул, самый ярый из казачьих недругов, был взят сонным в шатре.

Кровь товарищей, сложивших головы на холодных берегах Тобола и Иртыша, казацкая кровь, пролитая у Абалацкого озера, кровь русских мужиков из уральских сел и замученных жителей вогульских и остяцких земляных городков — была на Махмет-Куле.

Но Ермак и тут не дал отуманить себя гневу и мести. Он с почестями встретил пленника в Кашлыке. Просторный и богатый «хан» был отведен Махмет-Кулу, и только крепкий караул приставили к нему.

Некоторое время Ермак выжидал. Быть может, в Кашлык придут ханские посланцы для переговоров о Махмет-Куле и мире. Ермаку был важен мир — все меньше становилось казаков.

Но посланцы не приходили, и долго ничего не было слышно о Кучуме. И тогда Ермак отослал Махмет-Кула тоже в Москву — в дар царю; с Махмет-Кулом поехал молчаливый атаман Гроза.

А Кучум стоял в это время на дальней луке Иртыша, в диком месте. Первый гонец вошел в ханский шатер с вестью о пленении Махмет-Кула, батыра, того, чьи шаги

были бесшумнее шагов крадущейся кошки, кто настигал врагов быстрее ястреба и отвагой превосходил вепря.

Второй гонец явился к хану и сообщил, что «думчий» — карача со всем оставшимся татарским войском оставил его и ушел вверх по Иртышу, к реке Таре.

А третий гонец принес весть, что князь Сейдяк, прослышав о поражении похитителя отцовского престола, с войском идет из Бухары, чтобы добить Кучума.

И тогда, во второй раз, согнулся неукротимый дух хана; старческие слезы потекли из его незрячих глаз, и он произнес персидское двустишие:

От кого отворачится Аллах, честь сменится тому на бесчестье,  
И любимые друзья оставят того...

7

Миновало лето, за ним и осень.

Были покорены еще Белогорье и Кода, самое большое остяцкое княжество на Оби.

Казачи же все еще оставались одни в Сибири.

Жестокие морозы снова сковали землю.

Между серебряных лесов легли мертвые дороги рек.

Ясная ночь. Полог, шитый звездами, раскинут над лесными верхушками. Звездный отблеск на снегу, на ледяных иглах. Поднимается и ползет по ярам, стелется по холодной пустоши волчий вой.

Поздний свет пролился с востока. На высоких розовых крыльях застыли летучие облака. И стали далеко видимы во все стороны волнистые снега, синеватые на западе, розовеющие на востоке. Их поверхность чиста. Только ветры, гуляя, тронули ее на открытом месте мелкой рябью да от примятого сугроба — стежка следов. Тут потоптался и потом ускакал сохатый или олень. Мягко вдавились отпечатки лап прыгнувшей с ветки рыси.

Света прибыло. И в брызнувшем блеске, вся в хрустальной паутине, сияла темная зелень кедров и елей, кидая синие тени на снег.

Наступал 1584 год.





## ЦАРЬ МОСКОВСКИЙ

1

**Е**хали на собаках, в трудных и бездорожных местах шли на лыжах рядом с нартами. У западного склона Урала Ишбердей поворотил свои нарты обратно. Ветер унес татарское прощальное приветствие.

Впереди на холме, над лесом, мохнатым от снега, виднелся деревянный крест часовенки и низко стлался дымок.

Почти полтора года не видели приезжие людей, говоривших на одном языке с ними.

Пересев в сани, с присвистом проскакали по заметенной улице между черных изб, красуясь дорогими шубами.

Ночевали, ждали, пока в ямах ямщики сменят лошадей, — и спешили дальше. Но слух о послых неведомой восточной земли, везущих сокровища, опередил казаков. Навстречу им выходил поп с крестом. Народ толпился; стрельцы с алебардами на плечах очищали место боярину.

Городок прикорнул на пригорке — стоячий тын, сизая маковка церковушки. И вокруг — ветер, ни человека, ни зверя, пуховые синеватые в сумерках сугробы глухой зимы...

Временами метели, бездорожье и дьяки приказных изб по два, по три дня задерживали казаков на одном месте. Они гуляли в кабаках и, скинув шапки, крестили лбы в церквах.

Так миновали они лесные погосты, купеческие города, где колокола гудели над бурым снегом торговой площа-

ди, волжские посадки с замками на дверях хлебных лабазов, похожими на гири.

И выехали наконец на большую дорогу.

День и ночь двигались по ней люди. Быстрой рысью проезжали конные ратники в синих кафтанах. Медленно тянулись длинные ряды груженных саней. Возницы дремали, намотав вожжи на колышек; изредка, приподнявшись, лениво нахлестывали кнутом лошадемок, и те, не изменяя шага, отмахивались хвостами. Везли мешки с зерном, с мукой, прикрытую рядом рыбу, каменную соль. И опять — новый обоз — зерно, рыба, мука и сухие красные ноги мороженных туш, как палки, торчащие из-под рогожи. Нескончаемая вереница саней с поклажей двигалась в одном направлении — туда же, куда ехали казаки, — будто там, впереди, жил огромный великан, которому вся страна посылала эти сотни обозов.

— Аль оголодала Белокаменная? — крикнули казаки молодому русоволосому парню, шагавшему за санями.

— Москва стоит на болоте, а ржи в ней не молотят, — весело и задорно ответил парень, играя кнутовищем в голую руку. Рукавицы его торчали за поясом — мороз был ему нипочем.

По бокам дороги струганные белые столбы отмечали поприща, через поля она бежала, прямая, как стрела, и широкими мостами переступала через реки.

Ямщики тут споро переключивали лошадей, не давая проезжим оглядеться на новом месте, и гнали коней так, что захватывало дух. Казаки дивились огромным ямским дворам, состроенным из свежего леса, одинаковым, будто сделанным по одной мерке. Чуть не полк конных людей мог бы поместиться в каждом таком дворе.

И все многолюднее становилось вокруг. Высились скирды побурелой ржаной, ячменной и овсяной соломы, через которые не перебросить камнем.

Но рядом с обильными волостями стали попадаться и волости странного запустения. Сухой чернобыльник качался тут по ветру на полях. Черными обгоревшими развалинами зияли пожарища деревень.

Вот проехали казаки Паншины выселки, Постниковы лужки, Плещееву выть. Пусто.

Клок гнилой соломы торчал из-под снега, стояла грибом церковь с рухнувшей звонницей, с выломанными две-

рями и окнами; прутья молодого леса лезли между трухлявых остатков избяных срубов. А на погостах — кресты, кресты...

— Чье село?

— А бог его знает, — отвечали встречные, — не слышь прозвания!

Нищие — голь кабацкая — брели по дороге. Пили в кабаках, по ямам и тут же спали на снегу, пропив зипуны.

— Далеко ли, орлы?

И спрошенные глядели: диковинные проезжие, бояре не бояре и с купцами-толстосумами не схожи, одеты — окольничьим впору, у двоих — посеченные лица.

Вдруг кто-нибудь из казаков лихо подмигивал, и «орел» приосанивался — только голое тело светилось в дырах лохмотьев.

— За солнышком! Перья петелу щипать да волю выкликать. В Дикое Поле! В казаки!

— Астрахань славна арбузами, а мы гологузами.

— Аль я виновата, что рубаха моя дыривата?

Кольцо поводил бровью:

— А в Сибирь? Не чуяли? Ждите-пождите, обратным путем всех заберем к атаману Ермаку. Значит, прирастет казачьей силы!

В черных шлыках шли по дороге монахи. Монастыри белели на холмах, в безмолвных лесах, на крутых берегах рек. Никогда не было на Руси столько монастырей, как стало их в те годы — бежали под монастырский покров боярские земли, чтобы укрыться в тихом и верном приюте от властной, всю страну будоражившей руки царя Ивана.

И воздымались над пустошами медные главы, а под каменными стенами лепились курные избы кабальных монастырских деревень.

## 2

Однажды казаки увидели как бы пестрое сверкающее облако, дремлющее на горизонте. И вот вырезались башни и главы, островерхие кровли над темным разливом домов.

Захватив полнеба впереди, город причудливо поднял верхи своих стрельчатых колоколен, теремов, куполов, зубчатых стен — словно сказочный узор, вытканый на испанском ковре.

Теперь дорога несла казачьи тройки в потоке конных и пеших, возков, саней груженных и порожних, как широкая река, вливающаяся в плещущее море.

Узкая улочка вилась в гуще изб. Через заборы виднелись оконца, глядевшие во дворы. Резные столбы поддерживали крыльца. Колодезные журавли скрипели на перекрестках.

Местами дома исчезали. Тянулись плешины, где снег, бурый от навоза, покрывал обугленные бревна. Это были страшные следы пожара, бушевавшего двенадцать лет назад, когда крымский хан Девлет-Гирей пожег Москву.

Но, как волшебная птица, воскресавшая из огня во все ярчайшем оперении, город этот вставал из пепла своих пожарниц неистребимым, обновленным.

Дровни запраживали дорогу. Мужики в лаптях и валенках топтались, похлопывали рукавицами. Работные люди таскали бревна. Плотники стучали топорами. На пустошах росли стены из пахучих бревен, терема пестрели свежерасписанными ставеньками.

Поезд казачьих саней пробирался медленно. Гаврила Ильин смотрел по сторонам. Мостки с перильцами перекидывались через рчущки. Жестяные петухи на крышах поворачивались носом к ветру. Купола вырастали внезапно, будто из самой земли. Чем дальше, тем гуще по улице валил народ. Ильин видел синие, канареечные, алые, атласно-белые, парчевые, голубино-сизые шубы, шапки с малиновым, серебряным, голубым, травяным верхом, оторочки и опушки светлые, пепельные, темные и каких-то удивительных мехов как бы в искру, кушаки всех оттенков, рогатые кики, душегреи, цветистые платки, переливное шитье кафтанов, красные, зеленые, соломенно-желтые сапожки, откиннутые пороты, черные, как вороново крыло, седатые, рыжие...

Ильин вглядывался в эту толпу, расписную, как оконца и крылечки резных теремов на белом снегу, под белыми шапками на кровлях. Не сразу он различил в ней людей в опорках и поддевках, холопов и посадских, хозяек, вышедших с кошельками, а не показывать наряды, людей в странных, коротких, нерусских платьях.

И все спешили, словно всех гнало некое общее не терпящее отлагательства дело.

Тут никто не встречал казаков, мало кто и оглядывался на них. Только лавстники у дверей своих лавок прово-

жали казачьи розвальни взглядом, да кумушки, облепившие церковные паперти, судачили вслед им.

По бокам улицы пошли большие и нарядные боярские дворы. Были среди них и белокаменные. И вдруг далеко отбежали, сторонясь, дворы, дома, избы, заборы, паперги, палаты, — словно отплеснуло все пестрое море золоченых глав, высоких коньков, окошек, затянутых бычьими пузырями, блистающих слюдой и зеленоватым стеклом.

Ильин увидал башню. Низ ее — куб, на этом суровом кубе как бы возникала новая башня и, вся заплетенная в каменное кружево, стремилась в высь, а там на ней стояла еще третья, чтобы, среди стрел и зубцов, верхушкой досягнуть до неба.

Все улицы, все дороги подбегали сюда. Здесь был им конец. Точно было тут сердце, и биение его чуяли они и, сколько бы ни колесили по пустошам, сколько бы ни кружили по лесам, где бы, с какой бы безвестной стороны ни начинались — с гор ли, с Дикого ли Поля, с ливонских ли рубежей, с холодного или с теплого моря, — все они, через всю страну, стремились сюда, сходились и показывали: тут средоточие земли.

### 3

Дорогой Кольцо горделиво говорил: прямо к царю. Но чуть переступили они порог приказа, стало ясно Ильину, что в этих словах нет смысла.

Дьяк даже не поднял лба.

— К великому государю? — сказал он, скрипя гусиным пером. — Высоко прыгаешь, ноги сломишь. Мне сказывай.

Кольцо опять все повторил, и Гаврила подивился, как складно и как терпеливо спросил он на этот раз уже не царя, а боярина.

— А для ча боярина? — сказал попржнему не казакам, а пергаментному исписанному листу дьяк. — Я тебе боярин. От Кучума Муртазиева?

Будто и не слышал, что говорил Кольцо!

Кольцо было возвысил голос. Дьяк откинулся, седой, жилистый, с пером в мягких толстых пальцах с плоскими ногтями; из-под поднятых бровей взглянул на атамана так, словно сквозь него рассматривал каменную стену приказа. И кольцовское «бурмакан аркан» застряло в глотке. На

сидящего человека, пред которым, ломая шапки, стояли лихие, всеми смертями испытанные гулебщики, не произвело никакого впечатления, что хана Кучума больше нет и что вот эти люди — покорители целого ханства и послы нового сибирского царства.

Наконец он вымолвил — и тоже так, будто каждый день к нему являлись послы и наперебой предлагали по царству: — Дары привезли — посмотрим. Станете на посольском дворе. Избу укажут. Ждите.

И заскрипел по листу, показывая, что отныне все шесть казаков измерены, взвешены и что им никуда не вырваться из ровных строк крючковатого почерка.

Они вышли, не зная, чем же кончилась беседа и позовут ли их во дворец, но чувствуя, что нечто неуловимое, всезрящее и сильнее самой сильной силы опустилось на них, обвилось и больше не отпустит.

#### 4

Избу указали. Чуть только послы осмотрелись в ней, Кольцо брякнул дверью, ушел.

Вернулся злой, озабоченный. Новости были плохие. Когда новый чердынский воевода Перепелицын, посланный царем на место благодушного князя Елецкого, написал о делах в Камских землях, в Москве поверили наконец в невероятное: что казаки с Волги ушли к Строгановым. В гневной грамоте царь корил Строгановых за воровство и велел немедля, под страхом опалы, казаков отправить в Чердынь, а главарей схватить и взять в железы. Тогда было поздно: казаки воевали с Кучумом. А теперь, выходит, дважды виноватые — за Волгу и за Каму — сами явились в Москву!

— С похвальбой явились, — сказал Родион Smyря и сплюнул. — Еще как высчитают тебе третью награду — и за Сибирь твою, — век больше ничего не попросишь.

— Не каркай! — рявкнул Кольцо. И сразу смирился, сел, руками охватил голову и улыбнулся робко, по-ребячьи: — Ты бы, дед, а?.. слово бы, что ли, какое знаешь — на жесточь... Голову бы уж срубили долой — один конец.

— Вот те и к царю, — проговорил красноглазый Алешка Ложкарь, пятидесятник после Бабасанского боя. — Да все кинуть, и нынче же обратно...

— Лих теперь уедешь!

— На Москве я какой поп, — мягко, ласковенько зашамкал Мелентий Нырков, — их тут — сочти, сколько. Мой пошепт — на Тоболе да на Иртыше. Молитва моя — из земляного духа: земля-матушка учила меня. А вы, ребята, чуть что... эх, вы! Я семь десятков, почитай, всё по свету шагаю, всё по свету. Дряхлым стал, упокоюсь, думал, а господь в Белокаменную привел. Радость-то невиданная еще мне, так я понимаю; а привел — значит, и выведет. Уж грешник я богу и царю, — вы что: молодые... А ты так: гресишь — владычицу помяни, она знает — легкий грех человечесий... Свет-то светлый, украсно украшенный, — где большой грех взять? Вот и пождите, значит, подивуйтесь: на Москве-то ведь! Я на церковные главы покрещусь, на торгу потолкаюсь — чем торгуют, охти, владычица!

И он перекрестил рот.

— Впрямь, Москву поглядеть, дверь-то нам, чай, не заказана, — сказал сотник Ефремов. — Пошли, Родивон!

Родивон Смыря, с бугристым шрамом через всю щеку, хмуро ответил:

— Я куманька проведу. Куманек у меня тут. С Гаврюхой ступайте.

Дома без крылец, с острыми крышами мигали одинаковыми плоскими оконницами, как глазами без век, чопорно подобранные гладкие, будто метелкой подметенные стены.

Казачи шли, обнявшись, и Гавриле Ильину думалось, что жить тут должны люди-кашени с гусями шеями и недовольно поджатыми губами. Но повстречалась толстушка — голубенькие глаза на белом, как сыр, лице, волосы, будто посыпанные мукой.

— Кралечка-красавица, — попросил Ильин, — и какого ж ты роду-племени, скажи.

Глаза толстушки округлились и стали похожи на пуговицы, а пухлый рот брезгливо втянулся — ниточкой.

— Их фершнее нихът, — тонко пропела она этим безгубым ртом.

Казачи видели таких людей, о каких никогда не слышали. Молчаливых северных охотников, в пушистом меху, в меховых сапогах. Английского купца в дорогой крытой бархатом шубе. Чернявых юрких мастеров-итальянцев. Поезд тяжело груженных возов остановился у ка-

менных хором. Растворились окованные двери, душно пахнуло источенной шерстью, пробкой, какой-то сдобной пылью. В толпе, разгружавшей возы, суетливо покрикивали двое толстяков, лица их, точно надутые, раскраснелись и лоснились, ветер загибал поля широченных шляп— шумным толстякам было жарко в морозный день. «Кто ж такие?» — «Фрязины — гости!»

Не сошлись ли тут все концы мира? Сошлись — и каждый оставил что-нибудь свое: стрельчатые башни, каменное кружево, раздвоенные зубцы, причудливый узор резьбы, шатры крыш, легкую мавританскую арочку, бирюзовый столбец или карниз, похожий на жемчужную нитку, пятна яри, черлени, чешую куполов, многоцветную, как оперение заморских птиц.

Возвышаясь над толпой огромным желтым тюрбаном, прямой, смуглый, худой, шел гость из Индии, безразлично полузакрыв миндалевидные глаза.

— Москва! — повторяли казаки.

На пригорках бессонно вертели крыльями мельницы. Черный дым обволакивал закопченные срубы. Там лязгало и клокотало. Огненный блеск, вырвавшись сквозь прорезы в сумрачном кирпичном своде, пронзал, как лезвием, удушливую тьму. И слышался свист расплавленного металла.

На просторном поле казаки увидели пушки, отлитые на пушечном дворе. Казачьи пищали, покорявшие Сибирь, были малютками рядом с этими великанами.

Лошади, впряженные по нескольку пар, влекли их с тяжким грохотом. Были пушки-змеи, пушки-сокольник, пушки-волкометки — у всех позлащены и роскошно расписаны лафеты. Сотник Ефремов по складам читал имена, выбитые на бронзе и чугуна:

— Барс. А-хи-ллес. Ехидна. Соловей. Ишь, пташечка, — голова, чать, с плечами в клёв войдет!

Ровно вышагивали полки иноземного строя, повинувшись коротким резким окриком начальников, враз поворачивались шотландские стрелки. Вдруг, изогнувшись на низких седлах, вылетели всадники. Мохнатые, окутанные паром, лошади, желтые скулы под островерхими шапками, мелькнувшие в быстром степном намете, сайдаки у пояса. Тата-



ры здесь в войске великого государя! «Москва!» — дивясь, говорили казаки.

Полк проходил за полком. Развертывался, снова собирался у своего знамени с широким крестом. Каждый стрелецкий полк был издали различим по цвету кафтанов. Цвет алый, цвет луковый, цвет брусничный, крапивный, мясной, серый, травяной запестрели, соединились — и вот ожило, зацвело все огромное поле, сколько глаз хватало. И была непреодолимая мощь в этом равномерном колебании, как бы одном дыхании несчетного множества людей.

Зачарованно глядел Ильин. Кони казались слитыми с всадниками. Аргамаки — есть ли им цена? Шитые чепраки. Блещущие копыта и вырезные бунчуки, развевающиеся по ветру у концов их. Гаврила невольно прижмурил глаза. Он увидел (или почудилось ему?) высокие крылья за спиной нескольких всадников, птичьи, орлиные...

Но была черна нищета курных лачуг.

Город не выставлял напоказ своих ран, но были глубоки и тяжки они, нанесенные страшной, изнурительной, почти четвертьвековой войной. Воробьи чирикали на крышах лавок, заколоченных досками. Запустели иные, бойкие еще недавно улицы; нищие и калеки гнусаво пели на папертях церквей. Не мир, но только перемирие привезли царские послы из Запольского Яма...

Ползли слушки: будто Баторий снова подступил ко Пскову, будто шведы вошли в голодные, обезлюдившие новгородские области. И в тревожные ночи москвичи искали на небе зарева татарских костров.

## 5

Трубил рог, стрельцы разгоняли народ, гонец самого царя подскакал к казачьей избе. Казаки всполошились. Им велели одеться нарядней.

Толпа расступилась, сворачивали боярские возки, когда вели казаков в Кремль Спасскими воротами — по мосту через ров, мимо тройного пояса зубчатых стен.

И вот как бы засверкала радужная громада. Здания теснились, набегали друг на друга, охватывали одно другое, сплетались — и все громоздилось, ярко, пестро возносясь ввысь. Там, в вышине, над Москвой, толпились кровли: будто меж золоченых скирд стояли шатры: вски-

дывались гребешки; переливчато блистала епанча. Дымки чуть заметно туманились над изразцовыми трубами, сложенными в виде коронок, под медной сеткой. И кругом сияли кресты, жаром горели орлы, единороги и львы.

Расписные двери вели на Красное крыльцо. Словно из-под многоцветных шапок выглядывали решетчатые окошки. И завитки на стенах складывались в ветви и стебли неведомых растений...

Звезды и планеты сияли на потолке палаты, как на небесной тверди. Семь ангелов витали, посрамляя семиглавого беса. Пресветлые мужи — Мужество, Разум, Целомудрие, Правда — высились посреди ветров, дующих над морями и землями. То была вселенная. Молодой царевич держал в руках раскрытую книгу. «Сын премудр веселит отца и мать» — гласила надпись. Вот он возрос, царевич Иоасаф, и пустынный Варлаам открывает ему, что скорбен и жесток мир. И царевич с отверстыми глазами идет в мир; он ищет правого пути и ведет за собой свой народ. Подымаются и ярятся враги. Обступают соблазны. Он укрепился сердцем и поборол их. Он препоясался мечом и поразил врагов. От руки его изливается живительная струя — напоить людей. Вот он — царь, раздающий златницы нищим. Дивно прекрасен он в сверкающих одеждах.

По стенам, по сводам вилась роспись, будто выпуклая, невиданно, не по-иконному живая; в упор глядели сверхчеловечески огромные лики; была непостижима для глаза тонкость сотен мельчайших изображений. В яри, в лазури, в златом блеске вилась роспись. И палата казалась золотой.

Царь сидел на возвышении. Казаки увидели обращенные на них глаза царя на очень худом лице — и бухнули в ноги, не глядя.

Раздался звучный голос:

— Встаньте. Ты встань, Иван Кольцо. И товарищи твои.

Не сразу решились подняться. Царь сказал:

— Ближе подойдите. Не бойтесь. Верным рабам, не лукавым нечего бояться.

С минуту он озирал казаков неуловимо-быстрым взгля-

дом. Потом произнес, как будто и раньше был об этом разговор:

— Дьяки уж сочли все сибирские богатства. Да дьякам нашим где с Кучумом воевать — им в подьяческий полк на Москву-реку выйти за тягость великую. Тебя, Кольцо, послушаем со боярами честными.

И после этих слов царя Кольцо сверкнул белыми зубами и вытащил из шапки криво исписанный лист. Ильин подивился — то была челобитная Ермака. Кольцо и не заикнулся о ней в приказе. А сейчас он принялся по складам, запинаясь читать. Царь слушал недолгое время, усмехнулся, прервал и велел одному из стоящих вблизи бояр принять челобитную. Теперь он ждал, видимо, рассказа Кольца, и Кольцо неловко потоптался, не зная, что сказать. Стало тихо, Ильин слышал дыханье многих людей, наполнявших палату. Тогда царь, скользнув вокруг своим неувимым взглядом, начал спрашивать. Он спросил о дорогах, о городах, о реках, о рухляди — о богатстве, какое есть и какое можно добыть; о припасах, людях и здоров ли сибирский воздух, красны ли леса.

Ильин, стоя праздно, жадно разглядывал царя. Царь подался вперед, ухватившись за подлокотник, — рука была узловатой, нос с горбинкой, вислый и тонкий, а рот большой, с опущенными углами. И словно опалены темные впалые щеки.

Он торопил ответы казака, часто поправляя его.

Приказал подать себе соболиную шкурку из числа поднесенных казаками, с наслаждением поглаживал шелковистый мех узкими длинными пальцами.

Опять стал говорить. Теперь он загадывал наперед. Он сказал о странах и народах, о земных путях — и сибирские дела вдруг стали только малым волоском в огромной пряже. Подобного никогда не слыхивали казаки. Но Ильин заметил, что, говоря, царь смотрит, как сибирский посол смущенно мнет шапку, и царю нравится это. А Кольцо вдруг, тряхнув волосами и сверкнув белками глаз, сказал на всю палату, с казачьими словечками:

— Вона, царь-государь, сам ведаешь все. Мы сарынь без чина, на каждом юшлан и овчина. Коли ба пожаловал нас зипунишками да учужками — мы бы милость твою в куренях под тем тарагаем<sup>1</sup> раздували.

<sup>1</sup> Т а р а г а й — сосна (с татарского).

Царь нахмурился. А Кольцо, так же громко и с озорством, брякнул:

— Башку Кучуму на Барабе снесем. А хошь — живьем утянем.

— Скор, — возразил Иван. — А войско ханское чем перебьешь? Кистенем?

— А кистенем!

Царь все морщился.

— Поучи нас, Иванушка, — угрюмо сказал он. — Вот король Баторий за подарком к нам прислал. Еще кровавый пот не отер с лица, еще посеченных своих не скоропил, — и что же попросил? Красных кречетов. Большого не умыслил — скаканьем с кречетами усладиться. А нам что приятно, спрашивает, чем отдарить? Конями добрыми, — ответили мы, — шеломами железными, мушкетами меткими.

И тогда Кольцо, как бы в простодушном смущении, опять принялся теребить шапку, но даже весь порозовел — так трудно было ему скрыть радость: ведь то было слово о помощи, которой он приехал просить, и слово это вымолвил первым сам Иван Васильевич!

И, вскинув голову, атаман смело и громко сказал царю о казачьих нуждах.

Человек в высокой черной шапке дал знак казакам: царский прием кончен, в соседней палате соберутся думать бояре, ждут дьяки. Но царь нетерпеливо махнул рукой, задержал послов.

Ровными, твердыми, неслышными шагами подошел к трону широколицый, сильно заросший курчавой черной бородой. Он стал допрашивать про убыль в казачьем войске, про оставшееся оружие, про ясачных людей... Терпеливо, придирчиво выпытывал подробности, не сводя с Кольца внимательных, озабоченно-усталых глаз. Казакам сказали, что это конюший боярин Борис Федорович Годунов.

Потом думный дворянин Татищев густым басом потребовал поименно назвать мурзаков и князей, отпавших от Кучума. В руках его был трубкой свернутый лист (Ильин подумал, что это и есть челобитная Ермака), Татищев помахивал им, как бы вколачивая мелкие гвоздочки в воздух. Наконец, тряся щеками, ворчливо загнул из глубины палаты древний боярин:

— Вот и пожаловать отпавших серебром аль там выслу-

гой. Пуцай крест целуют. Войско ж до времени и вовсе не слать, по худому сгаду моему. Войско здесь надобней. Ту дебрь казачки почали, им и управляться. Так, по сгаду моему, и порешить бы это дело добрым советом, бояре. Томен государь, покой ему нужен. По сгаду...

Слушал ли царь? Он прикрыл глаза, на лбу налилась жила. И словно землястая тень легла на лицо, стала еще заметней страшная его худоба.

— Ахти! — услышал Ильин позади себя. То пугливо прошептал юнец, весь в веснушках, с маленькими, кукольно-красивыми ушками и в одежде столь златотканной и таким колоколом, что Гаврила счел его тоже за боярина.

Царь медленно поднял тяжелые веки и поглядел на гнусившего свое старика. Тот осекся, только, с разбегу, прогундосил еще что-то себе под нос — донеслось: «а-ся-ся»...

— Молодого посла слушали — старость молчит: не подобает, — сказал царь.

Древний боярин обиженно отдулся. Мелентий Нырков неловко ступил два шага, спешно обмахнулся двуперстием.

— Атаманы ведают про войско... А про землю тамошнюю, батюшка, скажу — чиста она, просторна — сердцу утешно...

И опять закрестился. Царь, видимо, остался недоволен. Он подождал, не скажет ли старик чего еще, и вдруг спросил:

— Чертеж привезли?

Казачки молчали. Царь с укоризной и назидательно сказал о пользе для государства чертежной науки, — слов, какие говорил царь, Ильин не знал и не понял, он смотрел на бритый висок под опушкой шапки, на сухую кожу рук и на иконки в разноцветных камешках на груди, и человек этот, с опаленными щеками, сидящий выше всех посреди серебряных топориков на плечах окаменелых рынд, — казался ему, как в сказке или во снах, нечеловечески непонятным, ничем не сходным с ним, Ильиным. И Гаврила дивился бойкости Кольца.

Царь велел дьякам немедля, по опросу, сделать самый точный сибирский чертеж и затем возвысил голос.

— Зла не помню! — И только по этим словам впервые и поняли казаки, что царю известно все про них и ничего он не забыл. — Милостью взыщу, как взыскал меня господь на гноище моем. Да не омрачится ничем день сей! Не о смерти — о жизни говорю днесь. Зрите, слепые:

царство Сибирское верными рабами покорено под нашу державу.

Он стоял во весь рост, худой, высокий, серебро одежды струилось по нему. Он воскликнул с внезапной силой:

— Радуйтесь! Новое царство послал бог Руси!

Несколько голосов в палате прокричали:

— Радуйтесь!

И человек с одутловатыми щеками и потным гладким лбом, сидевший неподалеку от царя, стал часто креститься.

То был царевич Федор.

6

Гости расселись у столов по старшинству и чинам. Старцы в тяжелой парчевой одежде безучастно дремали на лавках. Более молодые переговаривались, кое-где о чем-то спорили. Приглушенный гул стоял под низкими сводами. Тут были Шуйские, Мстиславские, Трубецкие, Шереметевы, Голицыны—рюриковичи, гедиминовичи, действительные и воображаемые потомки «отъехавших» ордынских князьков, патриархи и птенцы старинных «колен», заметно поредевших при Иоанне.

Слуги быстро, бесшумно усталили столы посудой. Четверо внесли огромную серебряную корзину с хлебом.

Гул утих. В створчатых дверях показался Иван Васильевич. Опираясь на палку, медленно, между поднявшихся и кланявшихся бояр, прошел он к креслу. С ним рядом шел статный, в роскошной русой бороде, оружничий. На вскинутой голове царя был венец из золотых пластин с жемчужными подвесками.

— Благослови, отче! — высоким голосом сказал царь.

Митрополит в белом клобуке благословил трапезу.

Стали обносить блюдами. Молодец в бархате остановился с низким поклоном перед Иваном Кольцо.

— Царь и великий князь Иван Васильевич всяя Руси жалует тебя хлебом.

Бархатный молодец удалился, бесшумно ступая, важно неся, как чашу с дарами, свое уже начинавшее тучнеть немолодое тело.

Ильин потянулся отломить себе кусок, его дернули за рукав.

— Поголодай, не горячись, — присоветовал Мелентий Нырков. — Как он к тебе подойдет, тогда, значит, мож-

но — ешь. Занятие-то у него одно, нетяжкое, а сам точно птица райская. Ино и все так. Я землю пахал, хлебушко возвращивал — с боярином слова молвить не смел; а с легкой душой пошел по земле, — глядишь, и к царю по-звали...

Вскоре веселый красногубый боярин принял на себя попечение о сибирских послах. Он потчевал их:

— Кушайте, пейте во здравие. Радость-то, радость какую привезли. Гостюшки дорогие...

Яств было множество — в подливах, в соках, то пресных, то обжигавших рот незнакомой пряной горечью. Мелентий Нырков жалко сморщился.

— Вино, как мед, — пробурчал Родион, — рыбка зато с огоньком.

Боярин всплеснул холеными белыми ладонями.

— Из-за моря огонек! — И он стал перечислять: корица, пипер, лист лавровый, венчающий главы пиитов.

— Мы к баранине привычные, — не поняв, сказал сотник Ефремов.

Гаврила Ильин тоже не мог разобраться, вкусно все это или нет, но было это как во снах, и он ел и утирался рукавом, и с гордостью смотрел, как все эти люди в цветных сияющих облачениях рады им, казакам, и стараются услужить, а у каждого из этих людей под началом — город или целая рать. И Гаврила пытался сосчитать, сколько ратей у царя Ивана, и, забывшись, толкнул бело-розового старичка в серебристом херувимском одеянии по левую руку от себя.

А слуги ловко подхватывали пустевшие блюда. Каждая перемена кушаний подавалась на новой посуде. В серебряных бочках кипели цветные меды. В гигантском корыте, литом из серебра, лежал целый осетр. По столам пошли кубки в виде петухов, лисиц, единорогов. Дважды не давали пить из одной чары.

Уже под металлическими грудами глухо трещали доски. Так невообразимо было изобилие, что забывалось, что это — золото, серебро, и малая часть которого не имеет цены. А неисчерпаемый источник выбрасывал в палату все новые и новые сокровища.

Царь сидел отделенный от всех — никто не сидел возле него. И в полумраке Гаврила различал ликующее и вместе сумрачное выражение на лице царя. Что-то голодное, ненасытимое почудилось казаку в этом выражении. Но

царь почти не дотрагивался до кушаний, которые ставили перед ним, и тотчас отсылал их. Ильин заметил, как, полуобернувшись, он что-то проговорил. Восемь человек внесли тяжелый предмет. То был терем, дворец или крепость из чистого золота, аршина два длиной, с башенками и драконьими головами; на месте глаз были вделаны алмазы. Дубовый стол охнул под великаньей золотой игрушкой.

Царь нагнулся вперед, подперев подбородок ладонью левой руки, громко сказал:

— Видно, нищи мы и голы — в кафтанишке изодранном поклонимся в ноги нашим врагам!

Человек в черном камзоле льстиво отозвался из-за царского плеча:

— Толикое видано лишь у короля Инка в златом царстве Перу!

То был голландский лекарь Эйлоф.

— Дорог камень алмаз, — продолжал царь. — Он утишает гнев и гонит похоть. Потому место его — у государей, дабы, владея людьми, властвовали прежде над собой.

Эйлоф подал фиал с вином. И тогда, внезапно отворотясь от сокровищ, Иван Васильевич поднял его на свет. Словно большая ленивая рыба, окаймленная звездным сверканием, проплыла в голубой хрустальной влаге.

— Хлябь морская, — медленно произнес царь. — Что в стклянице сей? А ведь дороже она, истинно невиданная, и злата и лалов. Кровь и слезы — злато, грех человеческий. В ней же вижу — великого художества славу, дивных венецейских искусников ликованье!

Он держал ее поднятой — переливалось звездное сверканье. Он держал ее за стебелек ножки и ласкал ее взором — так, как ласкал (подумалось Гавриле) шелковистых соболей длинными пальцами на посольском приеме.

— Русь! Корабль великий! К тому морю правили мы тебя...

Голос его то наполнялся звучной силой, то делался певучим, то падал до вкрадчивого шопота — будто несколько переменчивых голосов жило в груди у Ивана Васильевича, и он играл ими, любуясь их покорностью.

Бережно, как бы боясь погасить хрустальный блеск.



опустил сткляницу. И вот уже стольник с подносом в руках изогнулся перед боярином в середине палаты.

— Князь Иван! Великий государь жалует тебя чарой со своего стола.

Боярин встал, решительным взмахом руки справил волосы. И все в палате встали и поклонились ему, когда он с одного дыхания осушил высокий веницейский фиал.

— А расскажи ты, князь Иван Петрович, как круль Батур хотел Москву на блюде шляхте поднести!

То зычно крикнул статный оружничий, ближний царя, Бельский.

Боярин ответил:

— Не свычен я, Богдан Яковлевич, рассказывать.

— А шепнул же ты крулю во Пскове такое, что тот сломя голову ускакал в Варшаву... чтоб дородгой, не дай боже, не забыть!

— Кто же тот князь Иван? — спросил Ильин.

Веселый боярин-доброхот пояснил звучным шопотом:

— Шуйский князь!

И казаки отложили еду и питье, чтобы яснее разглядеть знаменитого воеводу, который целовал крест со всеми псковскими сидельцами стоять насмерть против польской рати, сам кинул запал в пороховой погреб под башней, когда поляки ворвались было через пролом, и там, в осажденном Пскове, сломил кичливость Батория, уже предвкушавшего близкую победу в страшной этой войне.

Бельский, хохоча, тряс роскошной бородой, спадавшей на грудь малинового кафтана. Но царь стукнул по столу.

— Али уж вовсе ослаб брат наш Баторий, — сказал он хмуро, но подчеркивая имя польского короля и титул «брат», точно играя, непонятно для Ильина, ими, — умишком, что ли, оскудел, раз вы потешиться над ним радехоньки? А он, вишь, и на престол скакнул через постелью старицы, Анны Ягеллонки, страху не ведая... — И нежданно оборотился к послам. — Вот я станишникам загадаю, не обессудьте, бояре: хоть темные люди, да бывалые. Отгадайте, станишники: возможно ли царству великому, как слепцу и глухарю, в дедовом срубе хорониться?

Как разобраться тут волжскому гулебщику? Но, видно, разобрался — не в царском, так в своем, — споро, не смутясь, поднялся Кольцо:

— Несбыточно. Водяная дорожка в Сибирь привела.

Стругу малому — малая речка. Лебедю-кораблю и с Волги ход — в море Хвалынское.

Ловко угодил, забавник! Краткий гомон прокатился по палате и замер.

— Так, — повторил царь, — несбыточно. Так, Иван Кольцо! Вижу ныне, в день веселия: крылья ширит страна. На восход солнечный — соколиный лёт. Будет помирует бог: а доступим мы и то вселенское море на западе. Не жить нам без того! Море праотич наших!

Богдан Бельский сказал:

— Да не по вкусу то иным гостям в твоих хоромах. Руку-то твою как отводили!

— Скажи! — живо откликнулся Иван. И голос, и лицо его выразили удивление. — Уж не веревкой ли рады были связать, радея о животе, о нуждишках наших?

Бельский промолчал.

— Что ж они, разумом тверды паче нас грешных? Сердцем чисты, как голуби? Прелести женской, плотских услад отреклись? Говори! — упрашивал царь. — Может, землю свою и правду ее возлюбили больше жизни? В бдениях ночных потом кровавым обливались?

Оружничий шевельнул широкими плечами.

— Что пытаешь, государь?

Он утопил руку в червонно-русых волнах бороды, глаза его округлились и простодушно заголубели на полнокровном румяном лице.

— Не таи, Богданушка, — не все же тебе с девками ча Чертолье пошучивать... А может, открой, — и вовсе не о том радели? Али... — Иван наклонился в сторону Бельского, будто поверяя ему одному: — али и корень природного государя извести умыслили... как того Зинзириха вандальского?

И сразу опал гомон в палате.

Надо всеми пирующими, неподалеку от казаков, высилось туловище боярина-гиганта. Он всё время сидел недвижно, хмурился, должно быть, не слушал — только последние слова царя и долетели до него: он опустил и поднял веки. Но кто такой Зинзирих вандальский, он, видно, не знал и тотчас отогнал его от себя, а опять вспомнил что-то свое, досадное — повернулся так, что грохнула дубовая скамья, и снова окаменел.

Царь же опять заговорил — негромко, торжественно.

— Бремя бы легкое — вразумить неразумных. Иная тя-

гота выпала кормщику великого корабля. Страшна тягота! — И все громче, все звучнее закончил: — Бог укрепил кормщика! Неложных дал ему слуг. Ликует душа моя!

— Пиршество ликования! — подхватил казачий доброт, князь Федор Трубецкой. — И полился его шопот: — Чуден, велелепен ноне государь — сколько лет не видали таким...

Он выкрикнул здравицу и славу великому государю. Вокруг подхватили, сделалось шумно. Зазвенела посуда.

Казачков со всех сторон стали спрашивать о стране Сибирь, — какая она. И Федор Трубецкой сам принялся отвечать на те вопросы, на которые не поспевали ответить гости.

— А реки в тех местах есть? Рек-то сколько? — старался перекричать других давешний веснушчатый юнец с кукольными ушками, принятый Ильиным за боярина.

— Семь рек, — уверенно расчел Кольцо. — И против каждой — что твоя Волга!

Юнец разинул детский рот. Кругом смеялись. И опять хототали ближние царевы, и ни разу не улыбунулся царь.

На подушке поднесли ему другую, двухвенечную корону. То была корона поверженного Казанского царства. Он возложил ее на себя.

И снова Гаврилу Ильина поразило выражение ликующего, жадного ожидания, которое жгло черты царя.

Царь хлопнул в ладоши.

— Иван Кольцо! Ты поведай: как хана воевали, многих ли начальных атаманов знали над собой?

Всякий раз, как царь обращался к атаману, Ильин был горд. А Кольцо отвечал не просто, но с нарочитым ухарством, прибаутками, точно мало ему было, что выпало беседовать с царем, — еще и поддразнивал самого Ивана Васильевича да испытывал: а что сегодня можно ему, атаману станичников, вчера осужденному на казнь?

— Карасям щука, а ватаге атаман — царь.

Шелест пошел кругом: дерзко! Царь помолчал несколько мгновений, потом выговорил хрипло:

— Потешил.

Тут Кольцо очутился возле царского кресла, пал на колени. А царь вскинул руку, коснулся ладонью головы казака. И нежданно, порывисто казак поцеловал эту ладонь.

— С моего плеча, — сказал царь, — хороша ль будет с моего плеча шубейка?

Он отпустил казака. И оборотился к палате:

— Не фарисей — разбойник одесную сидит в горних.  
Князь Сибирский нареку имя тати тому, Ермаку!

Уже не послам — прямо туда, в безмолвие кидал Иван язвящие слова:

— Всяк противляйся власти — богу противится. Горе граду, им же многие обладают!

Голос его (как исторгался он из хилого состава, из трепетной, впалой груди?) неся над столами, достигал на скамьях, в уголках, от него нельзя было укрыться.

— Не вы ли жалуете нас Сибирским царством? Не вы: разбойные атаманы-станишники. И за то все вины им прощаются. Гнев и опалу свою на великую милость положу. Всяк честен муж да возвеселится: радость ныне! Не посмеялись недруги над ранами отверстыми русской земли, над муками людей наших, над скорбью моей! Дожил я до дня такого! А с тех... — он остановился на миг... — с тех, кто одно мыслит с изменниками... — он ударил посохом, вонзил его в помост, — с изменниками, которые, до князя Ивана, хотели отпереть Псков Батуру, а Новгород шведам! — с тех псов смердящих вдвое выше! Огнем и железом!

Гаврила видел: царь гневен. Но за что прогневался он на этих добрых, услужливых, важных, блистающих, как небесное воинство, людей, кто из них и чем прогневил его, этого Гаврила не понимал. И с внезапной робостью, какую не мог подавить в себе, он стал оглядываться. У кукольного юнца испуганно дрожали загнутые ресницы. Боярин, весь черный, косматый, глядел исподлобья блестящими, колючими глазами. Рядом с ним, положив локти на стол, сидел гигант. Как из камня высеченный тугой затылок, мощный, почти голый круглый подбородок, глубоко врезанные глазницы. Он сидел, упрямо сжав губы, ничем не выдавая своих дум.

— Волки, ядущие овец моих! — воскликнул царь, и митрополит суетливо поднял, протянул к нему осьмиконечный крест. Со страстной силой царь отвел его.

— Молчи! Божьим изволением, не человеческим хотеньем, многоятежным, на мне венец этот! Никто да не станет между царем и судом его!

И вот в это время в палату вступил новый человек. Ровными, твердыми, неслышными шагами, слегка кивая направо и налево, не меняя озабоченно-усталого выражения

умного лица, прямо к царскому месту прошел Борис Федорович Годунов. Со спокойной почитательностью немного наклонился, что-то проговорил. Иван коротко ответил — будто и не бывало гнева. Очарованно глядел Ильин на царя... А тот серьезно, внимательно слушал Годунова, встал, сказал несколько слов (и, видно, совсем не так сказал, как говорил до сих пор на пиру) — в сторону стола, где сидели ближние бояре — Захарьин-Юрьев, Шереметьев, Мстиславский, царский шурин Нагой — вместе с худородным Богданом Бельским и стрелецким головой — от любимого Иваном войска, которое он завел в свое царствование.

Царь громко произнес:

— Ну, хлеба есть без меня.

И с Годуновым пошел к выходу.

Сибирские дела опять стали лишь малым волоском в огромной пряже...

Будто легкий ветерок порхнул по палате. Играли гусляры, шуты, взвизгивая, дергали себя за кисти колпаков, — люди у столов не слушали, шептались. Куда пошел царь? Что же случилось? Ильин хотел спросить об этом у бело-розового старичка (князя Трубецкого не было видно), но старичок толковал соседу о яблоневои саде. Вдруг до слуха казака донеслось:

— На валтасаровом пиру сидим. Сибирскому царству плещем, десницу господню глумами отводим.

Черный косматый боярин забрал в кулак бороду, сощурился — и с внезапной тревогой стал прислушиваться Ильин.

— Весел ушел: не езуит ли проклятый? Поссевин опять пожаловал? Али с Лизаветой Аглицкой союз? А все для чего? Ливонию отвоевывать. Одна могила угомонит...

Но челюсти гиганта двигались, как жернова, перемалывающая пищу, — косматый напрасно окликнул его:

— А, Самсон Данилыч?

Тогда косматый повернулся в другую сторону.

— Уж ты скажи, Иван Юрьич: тати от царя Кучума — что ж они, оборонят от ляхов? отвратят крымцев? аль мордву с черемисой смирят?

Бело-розовый старичок, оторванный от разговора о яблоньках-боровинках, проворчал:

— Ась? Мне-то не в Сибири жить, а на земле отич, да и в гробу лежать — меж костей их...

И наконец расцепил челюсти гигант:

— Голод по всям. На дыбе пресветлая Русь. Вотчины полыхают от холопских бунтов. Шатанье, смуты грядут: горько!

Как ударило в голову Ильина: вот они, недруги! И они не чинились перед татями, сидящими неподалеку.

— Слышали ноне? — сказал через стол рыжий, рябой. — Гремел-то опять как?

— Небось! — Гаврила с ненавистью смотрел, как гигант кукишем сложил кулак в рыжем волосе, глазом с жестоким торжеством показал на царское место: — Бирюза на грудях слиняла: видели? Теперь, чать, недолго!

Не чересчур ли увлеклись? Смолкло все — в тишине раздались слова гиганта. Сзади, незаметно войдя через скрытую дверь, стоял царь. Он стоял, прислонясь к стене, до белизны пальцев, в вырезе широкого рукава, стиснув посох.

С тяжелым шорохом одежд, в третьем венце, осыпанном самоцветами, царь двинулся к своему месту. Гуслиеры ударили по струнам. Иван Васильевич приветливо что-то проговорил — и бархатный молодец важно направился к гиганту, неся чару.

Как подбросило Гаврилу — он вскочил и, слыша стук собственного сердца, захлебываясь отчего-то и все глядя на лежащие на скатерти крупные, с сухой желтоватой кожей, руки царя, силился крикнуть, объяснить Ивану Васильевичу, вымолить, чтобы тот воротил эту чару, эту милость, непонятно посланную врагу... И вдруг Ильин в первый раз ясно разглядел глаза царя. Они были карие с голубизной. Но такой огонь расширял их зрачки, что казались они почти черными. И почудилось казаку, что это и была та огненная сила, которая жила в царе и жгла его. Гаврила потупился, будто этот суровый взор насквозь пронизал его.

А царь улыбнулся. И от этой улыбки явились, побежали и спрятались в жидкой побелевшей бороде частые морщинки. Ильин заметил веточки жилок в глазах и раньше времени погорбленные, словно под тяжелой ношей, плечи старого человека. В этот миг — показалось Гавриле — он узнал про царя, чего не знал прежде и никто не знал. Будто Иван доверил это ему одному, поднял и поставил рядом с собой — и вот вместе они, казак и царь, отделенные ото всего в палате: от бражников, от скоморошых

взвизгов, от шипящего шопота, от звероподобной злобы. «Не бойся! — сказала улыбка Ивана. — Я все знаю». И, едва помня себя от восторга, теперь только одно хотел сказать царю Гаврилу: что и он тоже понимает это, что все сделает, жизни не пожалеет, если потребует царь.

Но Иван уже не глядел. Он отворотился. Пухлый, безбородый человек выронил ковш, громко закашлял, натужно побагровев, волосы приклеились к его гладкому запрокинутому лбу. Иван встал с места, обнял, гладил вздрагивающие плечи, засматривая в глаза царевичу Федору, — торопливо-испуганное мелькнуло в этой неловкой ласке: «дитятко, что ты?..»

Между тем бархатный молодец уже кланялся низко у соседнего с казачьим стола. А каменный боярин по-бычьи нагнул голову, и лицо его наливалось свекольным соком.

Давно стало темно, засветили огни, в палате было чадно. Казаки опьянели. И диковинное, непонятное перепополнило Ильина, закружилось в голове его. Ему казалось, что травы, написанные на сводах палаты, шевелятся и хмурые глаза зажигаются в них.

Самое большое человеческое богатство, немислимое наяву, — что ж, теперь он видел его: груды, горы серебра, тяжкого, как булыжник, почернелого, жирную пищу, размазанную по тускло-желтоватому золоту, сотнями рассыпанные цветные камешки, слепенькие при коптящих огнях.

Пир кончался. Смешанный хмель десятка напитков уже разморил самых слабых и самых жадных. Несколько человек в разных концах палаты привалились к столам. И пошатнулся гигант, в луже вина макая жидкую поросль на круглом подбородке. Царь в упор посмотрел на него. Обернулся и приказал:

— Вынести!

7

Он разоблачился после долгого служения, поел наскоро — то, что подавалось в постные дни, не располагало прохлаждаться за трапезой: капуста, взвар с сорочинским пшеном, тертый хрен. В ряске с узкими рукавами, подпоясанный кожаным татауром, прошел в келейку. Была она пуста и тесновата, на липовом столе кормчая книга, учебная и толковая псалтырь, потребное из четьих-миней и от святых отцов — о святительском суде.

Чисто, тихо, чинно. Со стены глянули изображения —

привычные, уютные, домашние: белые храмины, золотые главы, благостный град; Георгий Победоносец, попирающий дракона, покровитель воинств; Николай Мирликийский со знаком благословения и елеем; великомученик Христофор-песьеголовец. И зверь, выходящий из бездны. И Сергей Радонежский, укротивший медведей. И светильники Русской земли, воссиявшие на соборах при царе Иоанне, собирателе святынь царства, — Макарий Калязинский, Иона-митрополит... Он взял перо. Но погребальный перезвон все стоял в его ушах. Он проправил скуфейку на коротко остриженных, по-монашески, волосах.

Перо забегало по листкам. Он писал. Под ярмом басурманским стонала Русская земля. И давно ль переломилось татарское ярмо? Деды помнили еще про то. Но воссиял стольный град Москва. Как солнце взошло над великой землей. О, преславный град, радость души, очей роскошество, ты, что перенял во вселенной славу Рима кесарей и Константинова Царяграда. Нерушимый град, который стал, красуясь. И простоят, пока не вострубят трубы Тысячелетнего царства.

Простоят! Сколько крови пролито, чтобы уберечь, спасти, украсить Град, утвердить землю. Той всенародной, веками проливаемой крови. Нету земли в мире, которая приняла бы столько мук, сколько Русская земля. И что стало на той святой крови, то не порушится.

Так он писал. Скупой свет сочился сквозь слюдяное окно. Там снежно, бело за окном. И тихо. О, сколь облыжна тишина!

Если б не слюда в окне, он увидел бы их, те терема. Они выше монастырских стен. Крамола возвела их. Не в ханском стане, не в Литве, — тут, в сердце Москвы, в сердце сердца страны. Когда изнемогла страна, — и вот обессилет, — про что думали они, вельможи? Они рвали на части ее, надрывающуюся в бореньи на ливонских полях. «Каждый за себя», — вот что думали они. Не Русь, не Москва, а мой двор, двор Милославского, Курбского, Львова. — вот что думали они. И они низводили кривду в суды. И на вороньих крылах летели во вражеский стан, чтобы призвать супостатов в дом отцов своих. И врагам отворяли города. И смерти искали того, кто стал за великую землю и не дал им кормиться ею. Сколько их?

И не в теремах только (о, если бы только в теремах!), и не в боярских охабнях ищи лукавого их разума: он и



под святительскими митрами, он и в монастырях и соборах, в хитростных книжных словесах. В латинском и в эллинском научении: лишь бы не в русском!

Он вспомнил одного из них. У него было румяное лицо и рыжие вихрастые брови под смиренной скуфьей. Она не смирила его. Он сменил свой боярский двор на монастырь. Неволей, может, а то и схоронился там: «поймай меня!» И хотел, чтоб монастырь стал его двором. Он обличал: «То не правила ваши, а кривила». Так шатал он древлюю твердость. «Царский суд! — говорил он. — Есть и повыше... Пусть судит царь со всеми князи и бояры». Вот куда тянул он. И от Омира приводил, от Аристотеля, из Платонова «Симпозию». Насмешливо предложил: «Если что не гораздо, исправь».

Песок посыпался на исписанные листки. Перо забегало дальше. «Мой двор!» — кричат они. И кричали в городах: Новгородский двор! Псковский двор! Но в Пскове же старец жил, Филофей — он не был боярином. И в разрядных книгах нет родословия Иосифа Санина, игумена с волока Ламского. Выше святительского суда, выше боярского синклита, выше княжьих распрей поставили они власть царскую — обруч, стягивающий царство. Да едино будет оно. Сломи обруч — и рассыплется царство. Не великому ли князю Ивану Васильевичу, третьему Иоанну, что потоптал ханскую басму, предстоял Иосиф Волоцкий, преподобный? А с тех пор еще дивно приумножилось царство. Семнадцать золотых степеней сосчитала с начала его до нашего времени, до времени Ивана Васильевича, четвертого Иоанна — Степенная книга. Чтобы оглянулось и подивилось само на себя государство в славном, многострадальном беге своем... О, мудрая книга, велением сотворенная великого государя, собирателя святых, собирателя царства!

Он писал. Но тихий поскрип пера не мог заглушить погребального звона в его ушах. И он откинул легкое перо. То воля государя. Да не посужу его. Сквозь стремнины и водоверти ведет многоочитый ум царя корабль земли нашей. Это выпало ему — грозный путь к славе. Тяжесть непереносимую поднял на рамена — ни отец, ни дед его не ведали того бремени. Да не посужу его. Исполину подобен он, который вышел рубить и корчевать лес, полный смоков и скорпиев. И смущается дух его посреди неусыпных, исполиновых, неподъемных человеку трудов.

Видит он неслыханно истерзанную землю. Ближний не посмел итти с ним путем его. Темным гневом помраченный, поразил он сына, того, кто продлил бы царство. Скорбно усомнился в деле своем. Унывный звон со звонниц, похоронный, пролился над Москвой, над славным, пресветлым, над великим градом. О тех, кто злую гибель умышлял Руси и ему, кормчему, царю. О срубленных головах зверя, выходящего из бездны. Да не посужу его, господи. Безмерна мука его. Да укрепится смятенный дух. Да снимется скорбь с него. Да все люди на Русской земле, кто бы они ни были, станут ему помощниками. Да увидит он плод трудов своих и радость земле.

Он глядел на слюдяное оконце. Там, за окном, шел снег, потом улегся ветер, снег перестал. Отблеском новой белизны просветлело слюдяное окно.

Постучали. Келейник стоял за низкой дверью — надо пригнуться, чтобы войти в нее.

Некий человек ждал.

Человек был из царского дворца. От царя. И от митрополита.

Он привез весть. То была радость.

«Возвеселитесь сердцем: новое царство послал бог России!»

Тот, кто писал у липового стола, выслушал весть. Широко перекрестился и положил земной поклон.

По свежему, пахучему, поскрипывающему снегу побежали люди.

Вдруг снова ударили колокола, но праздничным, звонко заливающимся перебоем. Трезвонном перекликались улицы и площади.

«Радуйтесь!» — прокатилось по городу. Мешки с медью высыпали для нищих, ибо настал праздник во всей Москве — для всей земли Русской.

Сибирских послов кормили на государев счет.

Им надо было оставаться в Москве, пока медленно скрипели перьями приказные, велемудро сплетая словеса указа, и собирали сибирскому казачьему войску припас и царское жалованье.

Грамота не дошла до нас. В ней, уверяет летописец, величался Ермак князем Сибирским.

Как обещал Иван Васильевич, велено было готовить рать для похода на Иртыш. Дьяк Разрядного приказа известил о том казаков.

Но золоченая решетка Красного крыльца больше не размыкалась перед ними.

Праздные, они бродили по улицам и площадям. И больше всех — Гаврила Ильин, легкий человек.

Он смотрел, как на широкой площади у Кремля — на Пожаре проворные люди в бараньих шапках сбывали татарские седла, халаты, зелье, лохмотья и потрепанное узорочье, кривые ножи и тусклое ордынское серебро.

Вот мелькнуло шитое очелье, но продавец глянул зорче на покупателя, на рыскающие глаза и кулдышку-бороденку ярыжки — миг, и очелье исчезло в рукаве продавца, сам он отступил на два шага, и толпа смыла его.

Шныряли черные монахи. Под рясой у них — частицы мощей и животворящего древа, гвозди с присохшей кровью христовой. Дай медный алтын — будет твое.

В стороне переминался на задних лапах приведенный горбатым поводырем ручной медведь. И бездомные, ютившиеся под кремлевской стеной, глазели, как он ходил, выпятив пузо, и грыз кольцо, представляя спесь.

Чей-то возок застрял в толпе. Ильин не слышал криков возницы, махавшего бичом, слышал только вопли блаженных, которые окружили возок, юродствуя, гремя цепями и веригами.

В конце обжорного ряда, где висел кислый запах шей, требухи и пота, было кружало. Оттуда валил пар. Там сипели волюнки. И Гаврила вошел на их звук и там увидел осанистого, дюжего, краснощекого человека. Он стоял, расставив ноги, сдвинув шапку на затылок, распахнув шубу, уперев руки в боки, а перед ним юлил кабацкий голяк.

— Голова ль ты моя удалая, — говорил краснощекий.

— Удалая твоя голова, — подтверждал голяк.

— И что ж ты? — грозно и весело спрашивал краснощекий.

— А я до головы твоей.

— Попрошай!

— Скажи, головушка, ответь — не обессудь удалого молодца: почто ты его в кабаке завела?

Краснощекий захохотал и кинул голяку деньгу. Вдруг повернулся к Ильину:

— А, сибирский царевич!

— Признал по чему? — спросил Гаврила, чуть оторопев.

— По перьям! — крикнул тот, и вдруг весь кабак, все питухи и веселые женки и сидельцы и даже вольтыжники загрохотали, а юливший голяк тоненько залился.

Ильину стало обидно. А тот взял его за плечо и, простерев другую длань, повелевающе остановил грохот.

— Пророк Моисей, — возгласил он, — водам Чермного моря глагола: «Утишьте, воды!» И — расступитесь!

Чермного моря тут не было. Но кабацкие воды безропотно расступились, и, ласково, крепко придерживая Ильина, нежданный знакомец повел его туда, где бульбулька разливаемая сивуха. Ильин хотел рвануться, но, дивясь, почувствовал, что никакой обиды в нем уже нет, что властная, веселая ласка этого осанистого человека приятна ему. И сам не заметил, как очутилась у него в руке водка, и как он выпил ее одним духом, и ему наливали уже снова, а потом наливали еще.

— Я царский пивовар, — важным шопотом сообщил знакомец, но так, что все вокруг тоже слышали. — Мне все ведомо.

И Гавриле показалось в этот миг, что пивовар — это больше самого большого боярина, и он был горд и счастлив приязнью веселого высокородного пивовара, царского ближнего, которого любит и почитает вся Москва.

В растворенную дверь входили и выходили люди. Пивовар всем выхвалял Ильина, называл царевичем и казаком-атаманом и похлопывал его по плечам и по спине.

Кто бы ни вошел, пивовар всех знал. А если не знал, то все равно встречал, как приятелей и чуть не сродников, и не успевал вновь вошедший осушить чарку, как уже казалось, что он с ним век знаком. Все он делал с какой-то особенной легкостью.

Стоило ему захотеть чего — и тотчас становилось по его желанию. Посмотреть на него, не было ничего проще и веселей, чем жить на Москве да гулять так, чтобы улицей раздавались встречные, и гуляючи, пошучиваючи, наживать домки и подворья, и пить сколько хочешь вина, и без отказа играть с женками и девками.

— Анисим, распотешь!

И Анисима знал он, слепца с вытекшими глазами на неподвижном лице. Слепец ударил в струны и затянул тоненько, по-женски:

И говорит:

— Ты рублей не трать попусту —

Не люблю

Я тебя!

Пивовар задохнулся:

— Распотешил! Не полюбишь! А ну, сухи чары. Пей! Пей, — мы с атаманом угощаем!

Гаврила брякнул серебром. Он все робел. Но теперь это была восторженная робость. Она наполняла его волной умиленной благодарности за то, что вот наконец и он причтен к этой непостижимой, завидной жизни. И с радостной готовностью платил он малую цену, какую мог уплатить за это, — развязал и больше не завязывал свой кошель. Только стыдился, что так жалко его казачье серебро в глазах пивовара, которому открыта вся Москва.

Послышался захлебывающийся шопот позади. Мужик в портах и рубахе сидел прямо на заснеженном полу. Он был пьян, подпирался руками, чтобы не упасть. На груди, под расстегнутой рубахой, виднелся большой медный крест. Мужик не то со стоном заглатывал воздух, не то причитал, подвывая. Никто не слушал его. Только из угла поднялся чернобородый человек в синей поддевке и нагнулся над пьяным. Что-то негромко он говорил мужичонке. Потом внятно донеслось: «Хороши слободки на Дону».

Услышав про Дон, Гаврила горячо принялся рассказывать о донской жизни, о воле, о себе, вырвал у кого-то волынку и сыграл, и все ревниво следил: слушают ли? Все слушали, стучали кулаками и кричали: «Ох, и казак — атаман!» Он был горд и счастлив. Он рассказал, как играл на жалейке тархану и поймал Кутугая. И все расхохотались, он тоже было начал смеяться, но вдруг понял, что смеются над ним и что для здешних людей и тархан, и Кутугай — ребячьи, несостоящие пустяки.

Тогда, моргнув глазом, он отвернулся; кровь прилила к его лицу.

— Тут тебе не с кистенем... девок щекотать... Тут жох народ! — кричал ему веселый пивовар.

Гаврила отошел в сторону и сел на лавку. В голове у него гудело, в глазах от зелья круги.

— Ребят трюх в срубе сжег... Ольгушку псарям отдал, — слышал он бормотанье мужичонки. — Кровь высосал, жилы вытянул... Голодом мрет народ...

Мужичонка объяснял бородачу в синей поддевке:

— С обозом мы тут — оброк ему, пот мужицкой... Ему-то надоть, боярину, значит... Лютому-то... Как же, гляди, я? Гол, значит. В железах сгноит... Баба у меня, детушки — помирать им.

— Ступай на Дон, — услышал Гаврила ответ. И будто ему, Ильину, это было сказано: «Хочешь вернуться на Дон?»

— ...На поля изумрудные, на холмы лазоревые, на воды хрустальные — на Невесту-реку!..

Мужик же медленно, мучительно рассказывал свое, и жалость колола сердце Гавриле.

— А податься, мил человек, — некуда податься. Юрья-то дня нетути. Заповедный, слышь, год. Чепь та, значит, заповедная — на смерть крепка. От дедов страшное такое дело неслыханно, а ноне стало — живую душу на мертвую чепь. Бог-то, мил человек, ты скажи, бог-то где?

— Бог? Слушай великое слово, человеце, — загремел громогласно, как труба, чернобородый: — «Прилетел орел многокрылый. Крылья его полны львовых когтей. Расклевал он поля, вырвал кедры ливанские, похитил богатства и красоту нашу! Полки ополчил, и повели их — полканы. Чад наших терзает!»

В кабаке стало тихо. Кто-то сунулся с улицы в двери и попятился назад. Пивовар заторопился и, не поглядев на Ильина, пошел к выходу, ловко сдвинув чуть набок кунью шапку.

Страшен, черен был мужик в поддевке. Он шагнул по опустевшему кружалу так, что хруснули мостки.

— Перед тремя Ваалами лбы расшибают попы!

Только и остались в кабаке, что синяя поддевка, мужичонка в портах, Ильин и еще человек, которого он раньше не замечал.

— Орлы, галки — дела на деревьях, не человечьи. Не суйся, друже, — как бы глаз не выклевали!

Тот, четвертый, говоря это, сощурился, — глаза сделались остренькими, как буравчики. И голос, и слова его были ненавистны Ильину, и чистенький нагольный тулупчик, и новенькие подшитые кожей чесанки, и торчащие под носом усы, и весь он — опрятный, гладкий, чему-то улыбающийся.

В одно мгновенье — так показалось Ильину — снова стало шумно. Кабак наполнился топотом, разноголосыми

криками. Синюю поддевку загородили люди, бряцающие оружием.

Ильин толкнул их, ноги его плохо слушались. Он тоже что-то кричал и жадно хотел посмотреть, хоть только разок взглянуть в лицо мужику, звавшему на Дон, грозя Орлу и Ваалам. И он увидел худое лицо, сумрачно-спокойное, с белыми, как костяными, белками глаз на дне глубоких впадин. Голова посадского, безмятежного тулупщика, снова выросла перед Ильиным.

Он взмахнул руками, выкрикнул что-то прямо в те маленькие, довольные, остренькие глазки. Но хмель сразил Гаврилу. И, рушась, он видел еще, как пихали и тащили каты мужичонку в рубахе и синюю поддевку и как чернобородый вдруг захохотал и впился зубами в плечо ката.

Ильин очнулся. Кабацкая женка снегом оттирала ему уши.

— Бедненький... Что ж ты?.. И шуба — красу-то какую в грязи вывалял! Аль ты боярин?

Он слегка улыбнулся ей. Неподалеку стоял мальчик, лет десяти, с волосами в кружок, стоял и смотрел, на щеках его двумя яркими яблочками играл румянец.

Женщина достала Ильину, чем прикрыть голову.

Солнце уже коснулось крыш. Но на Пожаре все колыхалась толпа.

А у белокаменных хором прогуливались мелкими шажками люди в круглых, искусно заломленных шапочках. Волосы на их лицах были выщипаны, брови насурмлены. Люди эти, наклоняясь, заглядывали в глаза встречным женщинам. То были щеголи.

И лучезарно горели над площадью главы собора Покрова. Столпы девяти престолов подымались с каменного цоколя. Луковки и купола в яри, золоте, лазури и сверкающей чешуе венчали их. Как цветочный куст, красоты непорочной, нетленной, сиял собор над грязным снегом широкой площади.

Красная заря ранней, еще не тронувшей льда и снега, весны заklubилась над византийскими шапками башен, над теремами, черными улицами, зубцами стен. И колокольни Кремля, златоверхие, сквозные на закатном огне, затрезвонили о московской славе...

Посадский в нагольном тулупе не сразу вернулся домой. Он любил солнечную, звонкую тишину пустынных улочек с рядами запертых ворот, улочек, кружащих затейливо и неторопливо, как человек, не желающий в эти весенние дни дать себе никакой заботы; любил тихое и немолчное постукивание капли; землистый мох, открывшийся в желобах, голубей на перекрестках; сияние города, то возносящегося на холмы, то широко припадающего с обеих сторон к полной густого, струящегося воздуха дороге реки, где уже раздвинулись и налились светлой водой следы санных колес; и небо — такой глубокой, такой жаркой голубизны, что, если закинуть голову и смотреть только на него, хотелось снять шапку, сбросить долой зимнюю одежду и расстегнуть рубаху.

Дома сосед, пасечник, спросил у посадского, мастера свистульки для детей:

— Верно, будто и кесарь поднялся на нас?

— Кесарь! — сказал посадский. — Не верю тому. А пусть и кесарь. Народ-то, мужик-то, во! Когда та силаща за себя станет... — непонятно намекнул он, подумав о мужике в синей поддевке.

— А слышал, нынче у Кузнецов стали резать хлеб, а на нем и выступи кровь?

Посадский хмыкнул.

— Кровь, оно точно — кровь мужицкая на хлебе, да очами не видать ее.

Потом он добавил, думая все о том, в поддевке:

— Я, соседушко, в божественное, ведомо тебе, худо верю. По церквам вкушаем из поповых рук мясо и кровь, как людоеды. Христос, бают, всех братией нарек. Ан кабалы пишут. И кому поклоняются? Доске размалеванной. Хребет гнется — земле поклонись, кормилице!

Горница его была пахучей от стружки и масляной краски. Но, войдя, он не стал смотреть на раскрашенные бадейки, мисы, ковши, плошки, вальки и грабельки.

Он снял с полки плясунчика-дергунчика.

— Легкая душа! Благо тебе. Ветхую клятву: «в поте лица вкушай хлеб свой» ты с себя скинул. И в том мудрее ты всех мудрецов земных.

Щелкнул по плоской голове змея, обвившего дерево.

— Здрав будь, старый хлопотун.



Кит выкидывал воду из темени, и он позвал его:

— Гараська!

Потом любовно оглядел стрельцов, тронутых краской по сусалу так, что получались на стрельцах бархатные кафтаны, покивал семейству совушек, козлам, журавлям, несущейся тройке с расписными дугами, влачащей мимо злого вояка со вздыбленной шерстью санки, где сидели мальчик и девочка. И всех назвал по именам:

— Фертики — по-миру шатунчики. Параскинея Тюдунтьевна — совушка, госпожа. Князь Рожкин-Рогаткин. Пчелка-журавушка. Рыкун-Златошерст.

И стрельцы поблескивали крошечными самопалами, и волк качал ему приветливо злой головой.

Постучал сосед, пасечник. Среди корцов, лобзиков, коробков и солониц расставили шахматы. Мастер растопорщил над доской усы заячьего цвета.

— А что я видел — чудо. Огнедышащее, человеческой речи не знающее, художества не ведающее, в диких пещерах обитающее, кровью упившееся, в соболя обернутое, по гноющу их волочащее!

Трудно было бы признать в этом Гаврилу Ильина, сибирского казацкого посла. Пасечник задумался над ходом. Он ответил:

— То что? Ноне я приложил ухо к колоде, а в ней зум-зум — рой-то пчелиный. Солнышко чувят махонькие!..

10

Кольцо спешил с отъездом. Зажились. В целодневном сверкании небес шла весна. Пока еще она там в вышине — небесная весна. Но спустится на землю, и затуманится высь, свет отойдет, чтобы без помех в тишине туман сгрыз снега. И тогда не станет пути.

Кольцо торопил в приказах. И там чуть быстрее скрипели перья.

А Гаврила затосковал. Больше он не показывался за ворота, и, когда все разбрелись, он оставался один, точно все перевидал в столичном городе.

Не раз приходила к нему некая веселая женка. Но и ей не удавалось выманить его.

И вот — все ли написали приказные или чего не дописали, — но у крыльца стоят сани. Несколько розвальней для поклажи, несколько саней, покрытых цветным рядом, для послов.

Тронулись. Скрипит снег, искристой, пахучей, как све-  
жие яблоки, пылью порошит в лицо. Едет в Сибирь из  
Москвы царское жалованье: сукна и деньги всем казакам,  
два драгоценных панцыря, соболья шуба с царского пле-  
ча, серебряный, вызолоченный ковш, сто рублей, поло-  
вина сукна — Ермаку; шуба, панцырь, половина сукна и  
пятьдесят рублей — Кольцу; по пяти рублей — послам,  
спутникам Кольца.

Когда, истаивая, засквозили над дальней чертой земли  
башни и терема Москвы, Гаврила Ильин запел:

Шыбык салсам,  
Шынлык кетер...

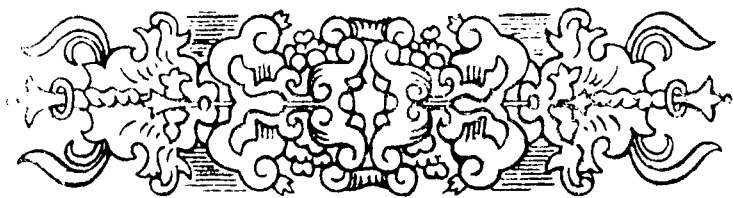
Ветер движения срывал и уносил слова.

...Кыз джиберсек  
Джылай кетер...

— Что ты поешь? — крикнул Мелентий Нырков, вы-  
сунув покрасневший нос из ворота справленного в Москве  
тулупа.

Если стрелу пушу,  
Звеня уйдет.  
В далекий край  
Если выдадут девушку,  
Плача уйдет...

Он пел ногайскую песню.



## ВАГАЙ-РЕКА

1

**В**оевода князь Семен Дмитриевич Болховской собирался, по указу Ивана Васильевича, в Сибирский поход. Он выступил из Москвы с пятьюстами стрельцов в мае 1583 года.

Ехали водой. На воеводском судне стояли сундуки и укладки с княжескими доспехами, шубами, серебром и поставцами.

Плыли Волгой, плыли Камой. К осени воевода добрался только до пермских мест.

Напрасно и на новую зиму ждали его казаки в Кашлыке. Воевода князь Болховской зимовал в Перми.

2

Весной 1584 года, когда Ермак двинулся по полой воде к устью Иртыша, — у остяцкого городка, на рке Назыме, пал атаман Никита Пан. Он лежал, сухой, костлявый, седой, кровь почти не замарала его.

Некогда Никита пришел из заднепровских степей на Волгу. Были волосы его тогда ишеничного цвета, много тысяч верст отмахал с удалцами в седле и на стругах, искал воли, вышел цел из битв с мурзами, ханом и Махмет-Кулом — и вот погиб в пустышном бою у земляного городка.

Ермак поцеловал Пана в губы, и кровь бросилась в голову атаману.

— Круши, ребята, — крикнул он, — круши все—до тла! Казаки ворвались в городок и перебили многих. Назымского князька взяли живым.

Курились еще угли пожарища, когда Ермак покинул это место и отплыл вниз по Оби. Он увидел, как редели леса и ржавая тундра до самого края земли расстилала свои мхи. Тусклое солнце чертило над ними низкую дугу.

Пустою казалась страна. Редко были раскиданы по ней земляные городки. Иногда, ночами, в сырой, мозглой мгле далеко светил костер. Преломленный и увеличенный мглой, он взметал искры, когда пламя охватывало мокрые смолистые хвойные лапы, мелькали тени, и дым медленно вращался, то оседая, то вздымаясь вверх, — мигающее веко красного ока.

Но, добравшись после долгого пути до места, где горел костер, казаки находили головешки, уже тронутые пеплом...

Между тем тут, по Оби, как и по нижнему Иртышу, лежали остяцкие княжества. Жители их на лето переходили в глубь страны.

Далеко на севере, у самых обских устьев, было княжество Обдорское. Там стоял идол — та самая золотая баба, слух о которой прошел по Руси. Впрочем, была та баба вовсе не золотой, а каменной, очень древней и только обитой жестяными листами. В жертву ей закалывали отборных оленей.

Но от реки Казым, где чумы Ляпинского княжества встречались в пустошах с Сосвинскими чумами, атаман поворотил струги обратно и вернулся в Кашлык. Ему не посиделось там; через десять дней он поплыл снова по Иртышу и Тоболу, мимо тех мест, где бился с Кучумом два года назад.

Ермак плыл к Тавде, по которой шел путь через Камень на Русь. Возле Тавды когда-то остановилось, поколебавшись, казачье войско. А теперь атаман сам свернул в нее и поплыл спеша, будто что-то гнало его, не позволяя остановиться.

Он хотел встретить запоздалых гостей — московскую подмогу — у порога своей земли. Но она кончалась на Тавде. Речная дорога была глуха. И со своей горсткой удалцов Ермак решил расчистить путь для сильной царской стрелецкой рати.

Тут жили таежные люди. В чащобах властвовали вогульские кондинские князья.

За ходом рыбы и оленьих стад кочевали поселки и городки. И были юрты вешние и юрты зимние.

Но теперь солнце долго свершало свой путь на небесах, мимолетная ночь была светла, и люди маньси (вогулы), как и люди ханты (остяки) на севере, забыли о зимних юртах на пестро зеленеющей земле.

Комары поджидали их у гнилой воды. Но они знали, что комаров создал злой и бессильный дух Пинегезе и что мраку не дано сейчас власти в мире. Прозрачная смола натекала и застывала на стволах сосен. Дятел не успевал засыпать ночью. Кора берез лопалась от сладкого и светлого сока, медово пахнущего луговой травой.

Вогул выходил из берестяной юрты. На руках его была накручена жильная веревка и сыромятный ремень. Он чувствовал гулкое биение своего сердца. И когда, расширившись, оно наполняло всю грудь, он запевал в лад шагам своим. Он хотел петь обо всем, что видел: о неспящих птицах, о березовом соке, похожем на жидкое солнце, о комариной зависти, о знойном тумане у реки и о том, как пахнет оленья шерсть. Но он не умел сказать этого. И слова его песни были только о том, зачем он вышел из берестяной юрты:

В широкой долине — семь оленей.

И один из них — мой рыжий олень.

«Убегу от тебя», — он сказал.

«Не убежишь от меня», — я сказал.

Подбежал я к нему и набросил ремень на шею

И веревкой опутал его.

Вогулы ушли за оленями на север от Тавды, и в летних юртах ничего не знали о войне и о русских. Там знали старшего в роде, главу кочевья. Людям отдаленных кочевий было мало дела и до своих кондинских князей.

Князья же со своими воинами держали водяную дорогу.

Близ реки Паченки князек Лабута осыпал стрелами казакв Ермака.

Ермак разбил и полонил Лабуту и в битве убил другого князья, по имени Печенег.

Трупы убитых атаман велел побросать в маленькое озеро.

Пошел дальше, назвав озеро Поганым.

Вогульский князь Кошук покорился после первых выстрелов. В страхе он вынес все меха, какие нашлись у него в юртах.

Стояла удушливая жара, мга и гарь ползли по земле. В Чандырском городке Ермак нашел шайтанщика, спросил его:

— Скажи, что станет со мной?

— Тебя никто не победит, — сказал шаман.

Ермак помолчал. Потом спросил тихо.

— А долго ль жив буду?

Шаман забил в бубен и с воем закружился. Он вертелся долго, исступленно, в страшной рогатой маске. Костяшки у его пояса звякали. На губах выступила пена. Он схватил нож и ударил себя ниже пупа, будто вспарывая живот, и тут служки связали его.

— Спрашивай! — сказали служки.

И снова спросил Ермак о сроке своей жизни.

Неживым голосом, закатив глаза, быстро заговорил шаман:

— Могучие медведи будут служить тебе. Никто не станет против тебя. Хана привяжешь к стремяни. Дети и дети детей увидят седой твою голову.

Ермак слушал, скучая, выкрики шамана, похожие на позвякивание костяшек.

Дети и дети детей... Где они? Вот лежит связанный человек и, пророчествуя, льстит и лжет новому русскому сибирскому хану, как льстил и лгал, верно, прежним татарским ханам, трясая за свою жизнь. На губах его не просохла пена, его пришлось скрутить, чтобы он в исступлении не порешил себя, а он лежит и цепляется за свое гнилое ложе, чтобы отворотить смерть. Разве так страшна она? Разве так дорога жизнь?

Человек покосился глазом — веревки мешали ему повернуться — и вдруг сказал внятно:

— А через Камень, хотя и думаешь, не пойдешь. И дороги нет. А поворишь, дойдя до Пельма.

Горбясь, вышел Ермак из жилища шайтанщика.

Он ехал сюда затем, чтобы встретить рать Болховского на пороге, как гостеприимный хозяин. Только затем. Что же иною могло побудить его свернуть в Тавду, в ту Тавду, мимо которой он проплыл два года назад?

Большими шагами он дошел до воды. И тотчас, по его знаку, взмахнули весла.

Ночи уже стали темными, когда казаки добрались до городка Табара. Там, на взгорьи среди болот, Ермак круто оборвал путь; долго и тщательно собирал ясак. Время было позднее: самая пора положить конец пути.

Атаман сложил собранное в ладьи. И вдруг, не щадя людей, не давая им отдыха, поплыл, заспешил в Пелым.

Пелымское княжество укрывалось в лесах и топях; в нем росла вещая лиственница, которой приносили человеческие жертвы.

Отсюда, из Пельма, князь Кихек ходил громить строгановские слободки.

Но сейчас грозного Кихека и след простыл. Смирненно встречали Ермака пелымские городки.

Вода уже стыла, облетала листва, птичьи стаи пронеслись на юг, и хвоя поблекла.

И все же Ермак медлил в пелымских местах. Он выспрашивал жителей о стрелецких полках — и еще об одном: о том, как из Пельма пройти на Русь.

Птицы, вылетавшие из пелымской тайги на позднем солнечном восходе, садились в полдень в Перми Великой.

А спрошенные жители говорили, что сейчас нет пути через Камень.

Но путь еще был.

Только обратного пути не будет...

Ермак же все колебался и медлил. И казаки роптали, заждавшись атаманского знака.

Богдан Брязга, пятидесятник, неожиданно попросился у побратима отпустить его через Камень.

— Ты, Богдан?

— С Москвы-то не слышать... не слышать ничего. И Гроза-атаман позамешкался.

Думал и молчал Ермак. Брязга сказал:

— Москва мне что, братушка. Я и без тех калачей, сам ведаешь, сыт. — И не заговорил — сиповато зашептал: — Синё там. Живая вода. Кровь наша, братушка! Я живо. Глянуть только последний разочек... Восточку о нас подам — и сюда в обрат!

И после того, как ушел Брязга, Ермак еще стоял в Пелыме. Только в сентябре он круто повернул к Иртышу.

Проезжая в южном Пелыме и в Табарах мимо городков, жители которых знали земледелие, он по-хозяйски собрал ясак не шкурами, а хлебом — на долгую зиму...

То была четвертая зима после ухода из Руси.

В землянке Гаврилу Ильина ожидала татарка. Она была молчалива. Он глядел на ее жесткие косички, свисающие из-под частой сетки из конского волоса, на смуглые худые ее щеки и на глаза, притушенные тусклой поволокой, — он знал, что они иногда зажигались для него диким огнем. Стены землянки завешивало бисерное узорочье. Сидя на дорогих шкурах, накиданных казаком, женщина кутала в пестрое тряпье его детей и пела им древние степные песни о батырах Чингиза.

Бурнашка Баглай ходил, сменяя что ни день пестрые халаты, — они смешно вздувались на его непомерном животу и болтались, еле достигая до колен.

— Гаврилка! — кричал он пискливо, подмигивая круглым глазом.

Похвалялся, что нет ему житья от крещеной остяцкой женки Акулины и русской женки Анки — так присохли, водой не отольешь.

И, чванясь, рассказывал, как проплыл Алышеев бом на пяти цепях у Караульного яра, как первым вскочил в Кашлык и сгреб в шапку ханские сокровища.

Впрочем, никто не видал ни женки Акулины, ни женки Анки, которая была будто бы в числе привезенных Кольцом с Руси.

Начальный атаман сперва оставил за собою ханское жилище. Но неприютно стало ему за частоколом, в пустоте оголенных стен, в путанице клетушек-мешочков. Он переселился в рубленное из еловых бревен жильё кого-то из мвоз или купцов. Там жил один.

Когда Ильин вошел к нему, он сидел опухший, с налитыми жилами у висков под отросшими, спутанными, в жестких кольцах волосами. Не поглядел на вошедшего. Пол был залит вином.

Потом долго не ночевал в том жильё. С двумя сотниками Ермак объезжал Иртышские аулы. Вернувшись, осмотрел косяки коней, пороховые закрома, кузни, мастерские. Разминая мышцы, сам брался за тяжелый молот. Приплыв на плоту, по высокой осенней воде, к островку, травил зайцев в кривом сосняке на гривах. Русаки, забежавшие сюда еще по прошлогоднему льду и ожиревшие за лето, петляли и, обежав круг, останавли-



вались, глядя на человека круглыми выпуклыми бусами глаз.

Казалось, всячески он отвращался от покоя.

Когда же снова призвал Ильина к себе в избу, оттуда пахло нежилым, прогорклым. Стыдясь, закрывая лицо, допоздна убиралась в избе татарка Ильина.

Сам же он часто ночевал у Ермака.

Он стал как бы ближним при атамане.

## 5

В том году тревожно жили люди на Иртыше. Гонцы в высоких шапках скакали из степей. Они привозили недобрые вести о Кучуме, о Сейдяке, о конских следах в степи, о коварстве двоедушных мурз. Казаки спали в одежде, сабля под головой. Их осталось совсем мало.

Иван Кольцо в который раз вспоминал за чаркой о том, что видел. Широка Русь. Сотни посадов, тысячи сел. И народ в селах и посадах неисчислимый: мужики, бабы.

— Москва! Лавок, теремов! Пушка Ахилка — ого, бурмакан аркан!

А майдан широк, и кругом — белые стены, орленые башни, главы церквей — и все золотые.

Тёзка же, что тёзка? Шапка-то, братушки, шапка! Полпуда, одних каменьев пригоршни две. Хлипок и хвор, а встал и не гнется под ней. Мы ему челом. А он: прощаю вас, вернейшие слуги мои. Князи-бояре пыль метут перед ним.

Помощь же обещал. На волчий зуб попасть — не лгу. И Гаврюшка слышал. Рюшка! Да, может, загинула она где в сибирском пустоземьи...

Он помнил сухость старческой руки, которой коснулся губами, и душный тот, восковой запах, — его он вдохнул тогда, чтобы на всю жизнь сберечь. Только что говорить про то?..

— Яз пью квас, а как вижу пиво — не пройду его мимо...

Горячее вино — водку казаки гнали сами. От хмеля, мутная и веселая, поднималась тоска. И тогда становилось все трын-трава. И есаулы, под гогот и свист, первыми пускались в пляс.

— Эх, братья! Кто убили? Бортник. Кто утоп? Рыбак. Кто в поле порубан лежит? Казак!

Казак набивались в есаульскую избу. Рассаживались по лавкам и по-татарски — на полу. Ермак, князь сибирский, садился в круг.

Это была пьяная осень в Кашлыке.

Обьясаченные народцы исправно привозили связками шкуры лис, соболей, белок. Дань, наложенную Ермаком на Конду, вогулы заплатили старыми, с сединой, бобрами, потёмневшим серебром святилища, скрытого в Нахарчевском урочище.

И соболями шубы завелись у простых казаков; соболями подбивали лыжи.

6

Гонец-татарин бухнулся в ноги Ермаку. Он бил себя в сердце, рвал одежду и выл в знак большого несчастья. Карача просил о помощи против ордынцев.

— Скорее, могучий! Еще стоят шатры карачи у реки Тары. Но уже покрывает их пыль, взбитая конями орды. Пусть только покажется у карачиных шатров непобедимый хан-казак со своими удалцами, чтобы в страхе побежали ордынцы!..

Ермак хмуро смотрел на вопящего, дергающегося на земле гонца.

— Почему я должен верить тебе?

Гонец снова завопил, что карача клянется самой великой, самой страшной клятвой — могилами отцов своих — преданно служить русским и всех других мурз и князей отвести от Кучума.

Приподнявшись, он указал на подарки.

— Выдь. Подумаю, — сказал атаман.

Когда гонец повернулся, Ермак понял, почему неуловимо знакомым показался ему этот человек, простертый на земле. У него была такая же худая, морщинистая, беззащитная шея, как у Бояра, старика с моржовой бородкой, который первый пришел в Кашлык служить ему, Ермаку.

Он окликнул гонца:

— Пожди! Что, много ль посечено ваших? И кони пали, верно? И земля пуста от злых наших сеч?..

— В шатрах у карачи довольно богатств, — ослабил-

ся гонец. — Он сберег все сокровища, не дал их расхи-  
тить лукавым рабам, чтобы еще вдесятеро одарить тебя.  
И вышел, пятясь задом.

Сорок самых удалых оседлали коней. С ними послал  
Ермак второго по себе, Ивана Кольца.

Но казаки не доскакали до Тары.

Карачина засада подстерегала их на пути.

В глухом месте татары окружили казаков. Ярко све-  
тила луна; не спасся ни один.

Два широких шрама пересекали лицо Бурнашки Баглая  
под птичьими глазами. А теперь кривая сабля сзади раз-  
рубилла ему шею. И рухнул великан, рухнул врастажку,  
не охнув, смявши телом куст можжевельника.

Так погиб он в лесу, полном зеленого дыма, — чело-  
век, всю свою жизнь прошедший по краюшку. Завтра  
манило его золотой чарой, и, ожидая ее, он не пил из  
той, что держал в руках, а только пригубил края. Но кто  
знает, не досталась ли ему щедрая мера счастья?

Он погиб с Иваном Кольцом, с тем, на чьих плечах  
трещала царская шуба, кто руками раздирал пасть мед-  
ведю...

Люди карачи поскакали по становищам и городкам.

— Во имя пророка! — кричали они. — Голова русско-  
го богатыря у нас на пике! Смерть русским! И всем, кто  
стоит за них!

Казаки не сразу поверили в гибель Кольца. Рассуди-  
тельный, осторожный Яков Михайлов выехал собирать  
ясак, взяв с собой всего пять человек, как прежде.

Но и окрестные князьки, осмелев, поднялись, напали  
на шестерых казаков. Тут нашел свой конец донской ата-  
ман Яков Михайлов.

Троих атаманов потеряло казачье войско за лето и  
осень 1584 года. Четвертого, Грозы, все не было из Мо-  
сквы. Ушел пятидесятник Брязга — ему начальник ата-  
ман разрешил то, чего не разрешил себе; может быть,  
для того и разрешил.

Только Матвей Мещеряк остался с Ермаком.

А Болховской все же пришел в Сибирь. Он явился в ноябре, когда сало уже плавало по рекам. С музыкой, в лучшем платье вышли казаки за город встречать князя. Сойдя с ладьи, он трижды поцеловал Ермака. Головы — Иван Киреев и Иван Глухов — высаживали на берег пятьсот стрельцов.

В своей столице Ермак устроил пир для гостей. Песни и крики далеко разносились с горы над Иртышом. Казаки братались со стрельцами.

Князь ночевал в избе Ермака. Подняв брови, он оглядывал ее темные от копоти углы без божницы. Ночью он выслушал рассказ о покоренной стране. Свет загасили. Но князь не заснул. Он ворочался, прищипывал. От Строгановых в Перми он слышал многое пристойное, остро и приятно дразнящее душу, глубокосмысленное об этой стране, и была гордость в том, что всю ее можно обозреть на мудром чертеже, среди других стран; и все это было не то, что рассказывал разбойный верховод, «сибирский князь», в избе с паутиной. Тяжелые мысли, взметенные усталостью, шевелились в голове князя и не хотели оседать.

Он сказал:

— Ты ноне на государевой службе.

И медленно, с расстановкой заговорил, поучая казачьего атамана.

Следует с осмотрительностью подводить народы под высокую государеву руку. Сначала, для привады, наложить небольшой ясак. Урядясь в цветное платье, воевода должен говорить государево милостивое жалованное слово. Одарить новых подданных бисером, оловом в блюдах и тарелках, котлами и тазами из красной и зеленой меди, топорами, гребнями, медными перстнями. Подобное совершал и Ермак, и за то — честь. Мирволил, впрочем, через меру Ишбердеям, Боярам, Кутугаям и совсем простым татаровьям — и то лишнее. Вона — как отблагодарили: ножом в спину, страху не знают. Страхом — крепче, чем милостью, стоит государство.

Начать так, как сказал. А потом — подкручивать туже. Брать дань и соболями и белками. Брать «государевы поминки» и, по старинному обычаю, поминки воеводские и дьячьи...

Князь говорил хриплым басом, досадливо, с учительной неспешностью. Мертво, тихо было за стенами, в мертвой тишине ревел Иртыш. Мышь скреблась. Едко несло спертым духом, пером, горклым салом, отрубями — тараканий запах.

— Так поступай. И дело будет свято...

Он раздражался все больше. Серdito умолк и тогда услышал вместо ответа:

— Что я тебя спрошу, Семен Дмитриевич, — хлеб не ты пригонял на Дон?

Воевода удивился неожиданности вопроса. Ермак помог ему:

— В тот год, как Касимка-паша шел на Астрахань?

Наконец неохотный ответ:

— Хлеб? Много я мотался по Руси на службе великого государя. Да и Дон велик. Не упомяну годов и станц ваших.

Грузно перевалился на другой бок.

— Ну, соснуть...

8

Утром князь перешел в Кучумов дворец.

Отдыхал с трудной дороги, медлил приниматься за дела.

От ханского частокола смотрел на Иртыш.

И казаки смотрели издали на высокого, чуть сутулого воеводу. Упорнее же других — казак с тяжелым зверообразно заросшим лицом, с громадным туловищем на кривых покалеченных ногах.

Князь заметил его, нетерпеливо подозвал:

— А подь сюда.

Тот приковылял, шумно дыша, горстью сгреб шапку и стал молча, не спуская с князя угрюмых глаз.

И князь не отвел взора, с любопытством, близоруко пригнувшись, оглядывал казака с головы до пят.

— Ханова работа, — кивнул он потом, указывая на ноги. — Не печалуйся: ныне за царем крепко. Ступай, бессловесный...

Он сказал о ногах. Рваных ноздрей не захотел применить. И Филимон заковылял прочь; он припомнил, где видел эти ястребиные глаза.

Казаки зазывали стрельцов к себе в гости. Вечерами

угощали водкой. Похвалялись с прибаутками, и московские люди дивились:

— Ишь, лисы, соболя сами под ноги валят!

.. Кто-нибудь из стрельцов спрашивал:

— А как у вас пашенька?

— Наша пашенька, детина, шишом пахана.

То была тоже похвальба: пашенька уже завелась, только мало ее было.

Старшины окрестных аулов попрежнему приходили к Ермаку.

Он же говорил им:

— Идите к князю Семену.

Князь ожидал атамана, но не дождался. И однажды сам отправился к Ермаку.

— Тимофенч, — прямо начал он, — что гоже в кругу, не гоже у великого государя.

Донские порядки надо сменить московскими — вот о чем толковал он, сидя на лавке и костяшками пальцев постукивая по столу.

Ермак не перечил.

— Как велишь... Мы ж теперь царевы.

Князь удивленно вскинул брови. Он не ждал такой покорности от атамана, перед кем трепетал персидский шах, от страшного Ермака Поволжского, кто обвел вокруг пальца стольника Мурашкина, Строгановых и одним ударом уничтожил целую сибирскую державу. Афанасий Лыченцев, московский воевода, бежавший от Кучума, кинув припас и пушки, мог бы рассказать, что сладить со слепым ханом было не так уж легко...

Болховской слал и принимал послов; изредка говорил, в тяжелом, пышном боярском облачении, «государево милостивое жалованное слово», но чаще гремел и стучал палкой о половицу. В хозяйство не очень входил, а больше махал рукой:

— Ты уж порадей...

И усмехался, как бы в оправдание:

— Страна-то мне чужая, голубчик...

Так называл он Ермака — «голубчик» и «Тимофенч».

Попрежнему целыми днями не слезал Ермак с коня, а то и с лыж. Радел, не переча ни в чем.

А Болховской держал вожжи сибирского правления. Он был — князем Сибирским.

Казачьи же дела с его приходом стали не лучше, а хуже.

Он полтора года ехал из Москвы, загостился у Строгановых. И приехал с пустыми руками. Не о кулях же с мукой думать ему, когда по великой царской милости пришлось трястись в эти проклятушие места.

Не ворон жрать зовут казашишки — запаслись, стало быть, всем.

А зима ударила сразу. Она была суровой. Поначалу ходили на охоту. Но пурга замела тропы. Над сугробами торчали деревянные кресты. Кусками льда заткнуты окна с порванными пузырями. В избах и днем темно.

Теперь стало тесно — по десять и больше человек жило в каждой избе. Спали вповалку. К утру не продохнуть.

Пятьсот лишних ртов быстро управились с казачьими запасами. Съели коней. Доедали мороженую рыбу — юколу. Отдирали и варили лиственничную кору. Обессиленные люди, шатаясь, брели от избы к избе. Многие больше не вставали. Начался мор. Багровые пятна ползли по телу.

И зимой сибирское княжение выпало из рук князя-воеводы Болховского.

У него в горенке горела лампада у божницы. Теперь он утих. Все реже подымался с вороха шкур. Его тряс озноб. Головы Глухов и Киреев, по чину, являлись к воеводе, он слушал их внимательно и сердито, но слышал не их речи, а какое-то ровное постукивание за дверью. Оно не прекращалось, и когда он оставался один. Чтобы заглушить его, он натягивал на лицо лисью шубу. Тогда больше не была видна темная муть за оконцем. Но постукивание продолжалось еще явственнее. Это билась жилка у него на виске.

И он вслушивался в ее биение днем и ночью, постепенно слабей. И беззвучно рассказывал самому себе свою жизнь.

Было в ней много дел, много смелости, много пройденного, проезженного, много бранного шума, и шуму городов, и надежд, и дум, и мечтаний о великом жребии — не для себя, для отчины; были непочатые силы, которым не видел конца, — их съела страшная ливонская война. Тогда, не старик, поседел он. И мало было тихости, хоть и хотел ее, — деревенской тиши и покоя в семье, в красном тереме на Москве. Надо ли было, чтобы кончилась она, жизнь, в черной глухомани? На то его воля, великого государя. К морям видел великие дороги — к турецкому

полуденному морю и к западному, достославному, — и пресекала ливонская война. В глушь, на восток — такой дороги не искал, для нее не жил, что ж, может, для нее и нехватило жизни, жизнь одна. Но у него хватило, у великого государя — для третьего царства, Сибирского; он похотел — и тут, в дикой пустоши, близ легкого князя Ермака, прерваться веку князя Болховского, строителя, воеводы, искателя дорог в кипучий мир, любозрителя всяческого художества, усердного почитателя блистательной книжной мудрости — свидетельницы о нещетности дел человеческих на земле.

Он не смеется — не дают вспухшие десны, да и нет сил, а, пожалуй, и охоты; только беззвучно усмехается — в уме, чуть опустив уголок рта.

...Тогда Ермак снова стал казачьим атаманом.

Он принял гостей, открыл для них кладовые. Но, когда опустели кладовые, безжалостной, снова укрепившейся, властной рукой он отделил судьбу казаков от судьбы стрельцов.

И в казачьем войске опять, как некогда, в сылвенскую зимовку, все подчинилось одному: дожить до весны. Десятники отвечали за своих людей, есаулы за десятников, атаман и казачий круг — за всех. Как будто ничто не переменялось с той зимы на Камне и воды совсем не утекло за четыре года.

Казачьи партии промышляли в лесах; охотники гибли, но когда возвращались, то уж с добычей.

Люди, закаленные в боях, бились теперь с голодной смертью. Каждую кроху делили по кругу; выпадали дни с одной листовничной корой — делили кору. В лучшие избы снесли больных цынгой; их отпаивали настоем хвои.

Атаман Матвей Мещеряк часами просиживал с Ермаком. И то, что насчитывал Мещеряк, делал законом Ермак, неумолимо отворачиваясь от свежих бугров на стрелецком кладбище.

В холодной избе, под давно угасшей лампадой, умер Семен Болховской.

Костром из кедровых поленьев оттаяли землю. Ломом и кирками вырубили яму.

В мерзлой сибирской земле закопали московского князя.

Голова Иван Киреев пропал. То ли бежал, то ли погиб где-то на Иртыше. Глухов ни во что не вмещивался — был



доволен тем, что жив остался. И шагу не решался ступить без воли атамана. Те стрельцы, которые выжили, ходили теперь с казачьими сотнями.

А Ермак помощником себе считал не стрелецкого голову, но Матвея Мещеряка.

9

Морозы спали, днем налегал густой туман, подъедаая снег, просачивалась медленная вода и пахла, как белье у портомоек. К вечеру снег примерзал, покрываясь настом. Начались оленьи и лосиные гоны. Верные казакам жители татарских и даже дальних остяцких и вогульских городков пригнали в Кашлык, тайком от карачинных соглядатаев, нарты с дичью, рыбой и хлебом.

И во-время: еле стих легкий скрип порожних нарт, как раздался топот копыт, лошадиное ржанье, крики татарских воинов. Двенадцатого марта карача с ордой подступил к городу.

Он думал легко взять его. Но Ермак хорошо укрепил бывшую ханскую столицу. Глубокий ров шел вдоль горы. За ним — валы и стены. Пушки стояли по углам.

В поле перед валом казаки пометали еще чеснок — шестиногие колючки из стрел. Кинутый чеснок тремя ногами впивался в землю, а три ноги торчали. Прикрытый снегом, чеснок калечил вражескую конницу, впивался в ступни воинам-пехотинцам.

Карача не смог взять Сибири. Но он стал станом перед городом и запер русских. Весна свела снег с полей. Беога Иртыша лежали в пуховом облаке распускающихся почек. Временами казаки видели множество повозок. Запряженные конями и быками, они двигались по черным дорогам к стану карачи.

Мурза не торопился. Его орда стерегла все выходы из Сибири. Но сам мурза не хотел скучать под крепостными стенами. Он раскинул свои шатры поодаль, в молодой роще у ханских могил на Саусканских высотах. Сухонький старичок, он любил стихи, краткие мудрые изречения и свежесть природы. Он жил в зеленом Саускане с женами и детьми, дожидаясь дня, когда ворота Кашлыка сами отворятся перед ним и гонцы поскачут по ближним и дальним городкам с вестью, что хан из нового рода сел на древний улус тайбуги.

Русских в городе осталось мало. Многие перемерли за зиму. Пали отважные атаманы и бесстрашная волжская вольница, громившая Махмет-Кула. Не было надежды одолеть врага в открытом бою. Пушечная пальба орду уже не пугала. Татары только отводили обозы немного дальше. А смельчаки подбирались к стенам и пускали стрелы. К некоторым были привязаны грамоты. Мурза хвастал. Он грозил посадить на кол атаманов и набить чучела из кожи казаков и стрельцов.

Снова начался голод. И на этот раз гибель казалась неотвратимой.

10

— Повоевали. Вот и повоевали!..

Темно в избе, нечем светить. Он полулежал, опираясь на левый локоть. Ильин слышал, как сипло, несвободно, не по-молодому клокотало у него в груди.

— Царство искали... и сыскали. А был человек — он не верил. То давно, много годов назад. Он сказал: «Настанет пора — сам себе не поверишь, атаман...» Желтый глаз у него, круглолиц и жил крепко, подмяв под себя свою правду — не вытянешь из-под него и с места его не стронешь. И еще сказал: «Не себе сеял, другие пожнут». Дорош звали того человека.

— А уйдем отсюда, — наклонясь к нему, быстро и горячо заговорил Ильин. — Мы не кабальные. Свет-от велик. На белых морях, на островах и на отмелях влѣжку лежит баранта, а руно у ней золотое...

— Алтын-гору вспомнил? Все ищешь?

— Ты поучал: отдыху не знай, дыханья не переводи, ногам не давай отяжелеть в покое.

— Ищи. Это хорошо. Ты легкий и легко тебе. Где прибьет других долу, тебя сорвет, вскинет, и цел выйдешь. — Тихо усмехнулся: — А до бабы слаб. Богатырем не станешь, на волос не вытянешь...

Заговорил медленно, как бы самому себе, не Ильину:

— Мне же иное. Один я. Всю жизнь дрожил — и вот один остался. Кто есть Матвейка Мещеряк? И смел и зол — да на бесптичьи атаман. Тебя люблю. А сердцем не атамануют. И тебе никогда не атамановать. За то, может, и люблю. Вижу в тебе, чему воли в себе не давал я: люди на мне, их вел, за них ответ держу.

Смолк. Ильин спросил:

— Годов сколько тебе, атаман?

— Седина на темени? А был черен! «Дети и дети детей увидят седую голову». — Опять чуть слышно усмехнулся. — То шайтанщик в Чандырском городке. «До Педыма, — сказал, — дойдешь, назад поворишь». Брюхо вспорол...

— Как могло то быть?

— Было. Руду хотеньем унял — только пригоршню заточил.

— Хотеньем? Ужли ж ты...

— Я? Слушай же! В земляной яме сгноили батяню. Двадцать годов гнил. Человечий язык забыл, стал псу подобен. Как пес и подход в яме... И мамка не пестовала меня. Мальчонкой уж кормился у артельного тагана. Соль подземная псела тело. И плоты гонял для Аники... для Строганова. Кнубойцы строгаля мясо с хребта долой... у мальчоночки. Муку мирскую не слыхом слыхал — на себе поднял. Браток, старшой, искал доли, не сысканной отцом. Что вышагали сам-друг с ним! Светлую воду тоже нашел — из нее указали ему соль варить... из светлой воды. Да у печи запороли. Другой брат землю пахал. Зернышко свое, девять строгановских. Повидать его хотел, как на Каме стояли, — нету его, в колодках сгнил, батьке вослед...

Дыхание его пресекалось.

— Никому про то не говорил я.

Через малое время он возвысил голос:

— Не съела меня мука мирская. Думал, есть оно во мне — это хотенье.

Негромкий возглас Гаврилы — он не слышал.

— Кто считал лета мои?.. Как на Дон прибег — сколько годов тому... Волей донской от всех бед спасаются. А тесно мне было во пустой степи. Не спасенья себе отыскивал... Еще по всей Руси путь лежал мне. Ратную жизнь испытывал. Под Мюгиловом-городом. На ливонской войне под Ругодивом.

Прервал Ильин:

— Болховского-князя казнил за что?

Скрипнула лавка. Ильин был терпелив и дождался.

— Сам призвал его. Смирен был пред ним во всем. Казнил?

— Зимой, — подсказал Ильин.

С угрозой проговорил атаман:

— Мало тебе того, что слышал?

Ничем, ни звуком не помог ему Ильин. И еще уступил Ермак:

— Понял, стало? Понял?.. — он не подметил — почуял быстрый кивок Гаврилы, яростно вскинулся: — Молчи!

Теперь впотьмах раздался прерывистый его шопот:

— А всего не понять тебе. Иной еще был счет с Семенов-князем. На Дону зачался, на казачьем кругу, голодный круг собрал Коза. А под кручей — будары, хлебом полны. Оттоль взошел он на майдан с гордыней, мальчишка, князь, каты на веки вечные не положили отметок на его хребте. Я оборонил его, распалился народ, по клокам его б разорвали... Тебе не упомнить, несмышлёныш в те поры ты...

— Я не забыл.

— Не забыл?! Вишь, не забыл. Вон они, «веки вечные», — с тобой мы, Гавря... — Его голос потеплел от ласки. — Летучий ты пух, да ножило тебя моим ветром!

Рука атамана легла казаку на плечо.

— Малых-то, ребятишек — много ль у тебя?

— Не ведаю, батька, как знать мне?

— Эх, Гавря, пушинкой и пролетишь, следа не врежешь.

Это была укоризна. Но долго ничего больше не прибавлял атаман. А Гаврила подумал о жизни о своей, о людях, носимых по миру, как перекати-поле, и ему стало горько. Услышал неожиданно:

— А у меня жена была и сынишка рос. Один сынишка.

Изумленный, переспросил Гаврила:

— У тебя?

— Давно... сколько уж тому. А закрою глаза — и слышу: журавль скрипит. Кры-кры, кры-кры. Колодезь там — подле самой избы. А за бугорком речка, песочек белый. Все кораблики пускал мальчонка — из осинки выдолбит, палочку приладит и пустит. Беленький рос, не в меня, знать, — в мать.

— Кто ж была она?

— Аленкой звали...

— Померла?

— Нет, сам ушел. Той речкой и уплыл. Плакала, билась. Попрекала: иную избу, с иной хозяйкой искать иду. Слабое бабье сердце...

— Ты не жалея, — сказал Гаврила.

— Жалеть... что она — жалость? А вижу, как вчера было: стоит — и уж ни слезинки, глаза сухи, ровно каменная.

Ожесточилась сердцем... Мысок набежал, скрыл, одно слышно — журавль скрипит: кры-кры.

Он все возвращался к самому давнему.

— Жизни краю нет, пока дышит человек, — так думал я тогда. Ищи свое! Иди, Ермак. Ночью лежишь тихо, на небо смотришь: сколько звезд — и все будто одинакие, а приглянешься — разные. Прозваньям-то их прохожие, проезжие люди выучили, да мало тех прозваний: все под ноги глядит себе человек. Где я ни бывал, а, ясная ночка, подыму глаза — узнаю звезды. Одни они, значит, — только чуть повыше аль чуть пониже на небе.

Он замолчал, не перебивал, не мешал ему Гаврила.

— И решил я тогда: везде путь человеку. Надо будет — далече пойду, где русская душа не бывала — и туда дйду. Дойду и сыщу, чего искал. И отмщение найду за все — и за слабые те бабьи слезы, и за глаза сухие Аленкины...

— Знаю, за тобой шел, ты вел. Чтоб на просторе жить, на воле — вольницейй.

— Эх, — как бы с досадой отмахнулся Ермак. Долго молчал и, должно быть, хмурился. Вдруг сказал: — Города бы мне городить, Гавря!

Ильин тихо:

— Ты царство ставить хотел.

— Царство? — повторил Ермак. — Казацье мы вершили дело, а обернулось оно... Русь, вот, за ним. Сама пришла и стала — накрепко. Не та она, что при отцах, Москва — не та. Вот и свершили иное, чем замахнулись. Да только иным, не мне, его видеть. — Он вобрал воздуху в грудь, и голос его окреп. — А пусть и по-боку нас, пусть же — князи-бояре... На час они, как Болховской-князь: пришел — и уж зеленую мураву телом своим кормит. Как глазом моргнуть — вот что они. И над тем, что свершили мы, они не властны. И над реками не властны, над землей, над простором лесным и над народом — ему же нет смерти. Великую тропу открыли мы, первые проторили. А он, народ, пойдет за нами. Дальше нас пойдет. Тыщи несчетные двинутся, землю пробудят, украсят. Помянут нас, Гавря, и в ту пору скажут, что не пропала пропадом наша кровь...

Он говорил быстро, точно торопился все высказать до того, как загорится утро и откроет его лицо.

В последний раз воспрянула сила Ермака. То, на что он решился, было еще дерзновеннее, чем все прежнее.

Он выслал с Мещеряком почти все войско. Сам остался с горстью людей в городе, теперь беззащитном.

Выбрал для этого темную ночь (то было спустя три месяца после начала осады).

Поодиночке переползали казаки через валы и стены. Мещеряк выпрямился. Тускло догорали татарские костры. Торчали вокруг них поднятые оглобли телег. Потянув носом воздух, Мещеряк приказал:

— Пошли.

Беззвучно миновали стан под Кашлыком. Черная тьма поглотила обложенный ордой карачи город Сибирь.

Мещеряк вел людей прочь от него, в Саускан.

Охрану у карачиных шатров перебили прежде, чем она успела схватиться за оружие. Казаки ворвались в шатры. Убили двух сыновей мурзы. Сам мурза едва ускользнул.

Шум боя донесся до орды под городом. Кинув стан, татары побежали на выручку к мурзе. Занималось утро. Казаки сдвинули повозки карачина обоза и отстреливались из-за них. Татарские лучники напрасно сыпали стрелами. До полудня татары пытались сбить казаков с холма. Но казаки били в упор, без промаха. Татарские воины падали у могил древнего ханского кладбища.

Тогда, не зная, сколько перед ними врагов, и боясь, что другое русское войско ударит им в тыл, из Кашлыка, татары побежали.

Ермак вышел из города. Со всеми казаками и стрельцами он кинулся преследовать бегущих. Он мстил теперь за Кольцо, Пана и Михайлова, за всех изменнически погубленных карачей.

Мурза Бегиш укрепился на высоком берегу озера, что тянулось вдоль Иртыша выше Вагая. Много карачиных людей пристало к Бегишу. Ермак не стал осаждать город. Казаки взяли его сразу яростным приступом.

— Отдай его мне, — сказал Мещеряк.

Ермак кивнул.

Лишь немногие из запершихся в городе спаслись бегством...

Затем были взяты Шамша и Рянчик. В Салах татары сдались после первых выстрелов. Из Каурдака население скрылось в леса.

Елегай, княживший в Тебенде, вышел к Ермаку с поклоном и подарками. Он вел с собой красавицу дочь, которую сам Кучум сватал за своего сына. Тебендинский князь привел ее, чтобы отдать казацкому атаману вместе с лежалыми рыжими мехами и полосатыми халатами.

Но Ермак отказался от живого дара.

Он сумрачно обернулся и пригрозил своим:

— Смерть тому, кто ее тронет!

Русские ни до чего не коснулись в городе Елегая, старика с лисьей душой, отдававшего на поругание дочь, лишь бы удержать в дряхлых руках княжескую власть.

В местности Шиштамак, недалеко от реки Тары, Ермак остановился. По выжженной степи, покрытой травами, похожими на серый войлок, кочевали туралинцы. Они были нищи и беззащитны. И шайки беглых людей карачи угоняли их скот и жгли их убогие камышевые шалаши.

Туралинцы принесли Ермаку все, чем были богаты: лошадиные кожи, сыр и айран, грубое тряпье, сшитое из красных и бурых лоскутьев, шкурки желтых степных лисиц. Дети таращили черные глаза из повозок, сплетенных из лозняка, полных лохмотьев.

А Ермак не взял ничего у нищих людей и освободил их от ясака, который они раньше платили мурзам и князьям.

Когда русские возвращались из земли туралинцев, татарин, покрытый степной пылью, встретился им.

— Бухарские купцы, — сказал он, — уже на пороге твоей страны! Караван их велик.

И тогда Ермак вернулся в город Сибирь.

Здесь он ждал бухарского каравана.

Но гонец на запыленной лошади подскакал к атаманской избе в Кашлыке и закричал, что Кучум стал у Вагая и загородил дорогу бухарским гостям.

И Ермак с полусотней казаков бросился им на выручку.

Он поднялся по Вагаю более, чем на сто пятьдесят верст. Но не было ни бухарцев, ни вестей о них. Около бугра, называемого Атбаш, что значит лошадиная голова, Ермак повернул обратно. Он понял, что весть ложная.

Хан Кучум издали следил за Ермаком. Когда тот плыл, хан скрытно шел берегом. Ермак делал привал — останавливался и хан.

Возле устья Вагая Иртыш очерчивает дугу. Между краями ее прокопана перекопь. Она сокращает на шесть верст путь плывущим по реке.

Небольшой островок был между рекой и перекопью. Струги Ермака пристали к нему. Лил дождь с грозой и бурей. Пала ночь. Люди не спали трое суток. Они заснули тотчас, очутившись на размытой холодным дождем земле.

— А дозор, атаман? — напомнил Ильин.

— Иртыш ревет. Кому переплыть? Да и до стана близко...

— Ахтуба пуста, а без караула не гуляй.

— Мрут, Гавря, люди не по старости и не по младости живут...

Ильин не понял. «Выставь же дозор», — хотел было повторить он, но усталость смежила ему глаза.

То была ночь с пятого на шестое августа.

Кучум стоял на крутом берегу против островка. Татары знали место, где можно было через реку перебраться на лошадях. Но и теперь, во тьме, хан не решался еще напасть на казаков. Таким страшным было имя Ермака!

Хан вызвал татарина, приговоренного к смерти, и велел ему пробраться на остров. Тот вернулся и сказал, что русские спят и охраны нет.

Но хан не поверил ему. Татарин в другой раз кинулся в реку и принес три казачьих пиццали и три лядунки.

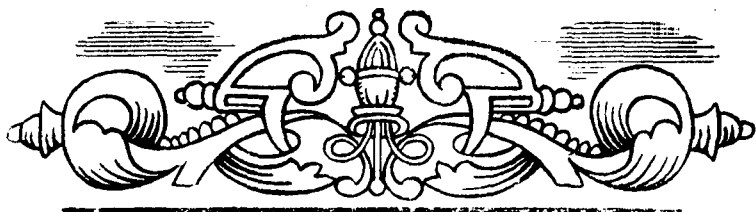
Тогда все татары перешли реку. Они принялись резать и душить. Рев бури и шум дождя заглушали хрипенье умирающих. Только клыш, входя в тело, будил на короткое мгновение тех, у кого сон не сразу сменялся смертью.

Победители отрубили казачьи головы и вздели их на пики.

Но головы атамана не подняла Кучумова пика. Его не зарезали сонным. Вскочив, он прорубил себе дорогу к реке. И уже отбилсЯ от наседавших, не чуя ножевых ран, уже добежал до воды, но волна отогнала струги. Ермак прыгнул и оступился. На нем было две кольчуги, подаренных царем. Они тянули книзу. Волна захлеснула его.

Нечеловеческим усилием он вынырнул, глотнул воздух. И тотчас быстрая струя опять смяла его. Тогда, борясь со струей, он увидел на миг, сквозь черную воду, сквозь непроглядную ночь, широкие светлые реки, караваны у стен, опоясавших города, елки на высоком берегу, их вершины — как стрелы. Он все бился с волной, стремясь преодолеть железную, тяжесть, и, уже захлебываясь, искал, нащаривал дно...





## АЛТЫН-ГОРА

1

**Т**олько один казак спасся во время ночной резни на Вагае. Это был Ильин. Он вскочил с Ермаком; вместе с ним бросился в Иртыш, но попал на татарский брод, невредимо вышел на берег и добрался до города Сибири.

Матвей Мещеряк, с головой, втянутой в плечи, взвизгнул резким, высоким голосом, буравя подбежавшего недвижными красноватыми глазами:

— Змей! Все полегли, сам цел-целехонек!..

И ударил его по лицу.

Но Ильину было все равно; он не стал отвечать Мещеряку и даже не озлобился на него.

Упала могучая рука, всех поддерживавшая, и люди почувствовали себя беззащитными. Человек выходил на улицу и вдруг срывал с себя шапку, одежду, мял и топтал их и с ревом садился, где стоял.

Кольхаясь огромным туловищем, валкой медвежьей походкой проковылял к частоколу на горе Филимон Рваная Ноздря; далеко прогудел его мощный зык:

— Сами по воле своей отсель! Кабалы избыли, хрещеные! Бей стрельцов!

Душ пять около него поскидали шапки. Мещеряк, услышав, вышел, прислонился к забору и только покривил улыбкай извилистые губы.

Но наутро город затих, придавленный унынием.

И всего через десять дней — 15 августа — русские поки-

нули Кашлык, которым владели почти три года. Они не решились возвращаться дорогой, какую пришли, а свернули на север, Иртышом выплыли в Обь, чтобы оттуда посуху перевалить через Югорский Камень.

Казаки двигались своим походным сомкнутым строем, какого не знали в то время и многие регулярные армии. Так прокладывали себе путь среди враждебных племен. Стрельцы шли с казачьими сотнями.

Но десятка два казаков не захотели оставить Сибирь и скрылись в тайгу. И среди них был человек с изуродованным лицом, ковылявший на искалеченных ногах, и высокий сухощавый казак с русой бородкой, в которую влетались седые нити, — Гаврила Ильин.

А пустой Кашлык занял Али, сын Кучума. Но Кучумово царство, рухнув от удара, нанесенного Ермаком, больше не могло подняться. Сейдяк выгнал Али, убил семь сыновей Кучума и стал княжить в Кашлыке. Тайбугин род в последний раз завладел своим древним улусом и восторжествовал-таки над «шибанским царевичем».

## 2

Шаткое ханство Сейдяка скоро рассыпалось под ударами стрельцов, которых, рать за ратью, посылала Москва. Татары оставили Кашлык. Этот город так и стоял с тех пор пустым, медленно превращаясь в развалины, и окрестные жители забыли его название и звали только Искером — старым городищем.

Но был жив еще полуслепой Кучум. В 1590 году он снова вышел из степей на берег Иртыша, убил и ограбил многих татар: он попрежнему мстил им за то, что они подчинились Ермаку. Через год новому тобольскому воеводе Владимиру Кольцову-Масальскому удалось нагнать воинов Кучума в степях Ишима. В воеводской рати было много сибирских татар: не с ханом, а с русскими связывали свою судьбу иртышские аулы.

Хан, разбитый, бежал.

В эти годы были построены города: Пелым, Березов, Сургут и Тара. А в 1595 году у самого Полярного круга, недалеко от впадения Оби в губу Северного моря, русские выстроили Обдорск, который называли также Носовым, как и остяцкий город, стоявший на этом месте до того.

Кучум скитался в дальних степях. Уже во всем прежнем его ханстве не осталось места, где бы он мог спокойно раскинуть свои шатры. Но, ускользая от воевод, его шайка лихих головорезов налетала на татарские городки и селения, жгла, убивала, грабила, что попадалось, и снова скакала в степи на косматых конях.

В 1595 году Кучум стоял в Черном городке у реки Омни. Голова Борис Доможиров нагнал его. Татары снова были разбиты. Но и на этот раз хан ушел невредимым.

Барабинская степь стала русской. Воеводы слали Кучуму зазывные письма. Но он, бездомный бродяга, попрежнему называл себя ханом и царем. В 1597 году он писал:

«Бог богат! От вольного человека, от царя, боярам поклон, а слово то: что есте хотели со мной говорить?..»

И в своей грамоте перемешивал угрозы с мольбами.

В 1598 году в Тобольске и Таре спешно вооружили семьсот русских и триста татар и отправили их в поход против неукротимого слепого хана. Больше трех месяцев воевода Воейков искал его. Битва произошла 20 августа на Оби, в двух днях пути от озера Ика. Она длилась с солнечного восхода до полудня. Пали шесть татарских князей, десять мурз, пять аталыков, брат и двое внуков хана. Пять оставшихся в живых царевичей, восемь царевен и восемь цариц, ханских жен, попали в плен.

Но и это еще не был конец. Без семьи, с малой шайкой, Кучум бежал на верхний Иртыш. Там он кочевал около озера Зайсан-Нур, воруя лошадей у калмыков. Они нагнали его у озера Каргальчина. И снова Кучум спасся. Крепкий конь унес его на простор степей.

Он скрылся у ногаев, над которыми властвовал некогда его отец Муртаза. Но даже память о нем была ненавистной на погайской земле. Ногаи схватили и поработили людей, бывших с Кучумом. И, наконец, в бухарском городке погиб от чьего-то ножа развенчанный сибирский властитель.

### 3

Все дальше на восток шли русские по Сибири.

В 1596 году выросли стены Нарыма на Оби.

В 1604 году было указано набрать пятьдесят молодцов добрых, умеющих стрелять. Им дали по четверти муки, по полосмине круп и толокна да по два рубля с полтиной,

они поплыли вверх по Оби, вышли на реку Томь — и построили Томск.

В 1618 году русские заложили Кузнецк.

Были живы еще старые казаки, ходившие с Ермаком. Их рассказы казались чудесными служилым людям, заселявшим сибирские города. Однажды — может быть, это случилось еще в конце XVI века — казаки собрались и чинно, по ряду вспомнили старое. И грамотей все записал. Бумага берегла теперь от шаткости людской памяти предание о том, как был «сбит с куреня царь Кучум».

В 1621 году приехал в Тобольск первый сибирский архиепископ — Киприан. Он позвал к себе казаков Ермака. Немногие старики пришли к нему и принесли с собой *написание*.

Тогда Киприан внес в поминальный синодик имена атаманов и казаков, погибших в сибирском походе, чтобы петь им в тобольском соборе вечную память; а летописцы по казачьему написанию составили свои истории «покорения Сибири».

На «новых землях» росли городки. Их ставили воеводы, ставили казаки.

Из городков двигались дальше. Зимой — на лыжах и нартах, а весной — по рекам в кочах, кочетках и дощаниках. Были сколочены они из дерева, без гвоздей. К деревянным якорям подвязывали камни. Канаты резали из оленьей кожи; распяленные сырые шкуры заменяли паруса.

Зимовье ставилось около реки, где людей застигали морозы. В курной избе — глиняная печь, куском льда заткнуты оконца. Возле избы — высокий деревянный крест.

Привольная была жизнь на сибирских просторах! Но и не легкая.

Питались, бывало, корой, грызли корни, в лыко одевались.

Голод и цынга косили зимами людей. Воеводы крали казачье хлебное жалованье и соляное, и денежное. «Мы, холопы твои, нужны и бедны», — писали в далекую Москву челобитчики.

Из воеводского города рассылали казаков в дальние службы. Летом — в отъезжие караулы и проезжие станции, зимой — по городкам для сбора ясака. Ездили по двадцать—тридцать недель. И вся жизнь казака состояла из зимних и летних служб.

Гаврила Ильин послал челобитную царю Михаилу Федоровичу. Он бил челом, чтоб царь не оставил его в нужде, голоде и великих долгах. Но он не молил униженно, а говорил о себе, что двадцать лет полевал с Ермаком до ухода с Волги на Каму.

То была его гордость. Он гулял на Волге всего десять лет, но был там с Ермаком. И он прибавил вдвое себе то, что раньше сочлось бы смертной виной, а теперь стало великой заслугой.

За соболями, за горностаями, за куньим и лисьим мехом шли в Сибирь промышленники. С луками, тенетами, кулемами-западнями уходили с рек в лесные чащи. По пути зарубали деревья и рыли ямы — в мешках закапывали корм.

Охотились по приметам.

В 1609 году русские зазимовали на Енисее. В 1620 году мангазейский промышленник Пенда дошел до Лены.

В 1639 году с вершин Станового хребта, где мерзлый ветер крыл инеем черный камень, казак Иван Москвитин увидел леса Приморья. Москвитин плыл из Якутска Леной и Алданом, Маей и Годомой. Перейдя горы, он спустился по реке Улье. Берег был изрезан, белые венцы пены окружали обломки скал. Живая гладь, седая, пустынно-свинцовая, подымалась в тусклом блеске до самого туманного неба.

То было Тунгусское море, позднее названное Охотским.

А в 1648 году казак Семен Дежнев выплыл из устья Колымы. Был он родом из Великого Устюга, двадцать лет служил в Сибири и в сибирских боях выслужил девять ран.

В море за Колымой буря понесла коч Дежнева. Он увидел неведомые берега. Земля, тянувшаяся бесконечной грядой с запада на восток — от самого берега поморов и еще дальше: от тех западных стран, откуда приезжали к поморам купцы в бархатных камзолах, — внезапно оборвалась. Море повернуло на юг.

Ток воды, словно невидимая река, понес Дежнева по этому открывшемуся морскому пути за солнцем, к югу.

Так, пройдя проливом, долгое время спустя названным (не совсем справедливо) Беринговым, Дежнев сделал великое открытие: доказал, что Азия не сливается с американским материком.

Из шести кочей, отплывших с Колымы, только один коч Дежнева дошел до реки Анадырь. Там Дежнев пробыл несколько лет. Однажды он увидел множество черно-рыжих скользких туш, лежавших на версту по берегу и сажень на сорок в гору. Казаки приняли их за сказочную баранту с золотым руном. То были моржи, и на отмелях-каргах казаки занялись промыслом ценного рыбьего зуба.

А в это же время земляк Семена Дежнева, тоже устюжанин, Ярко (Ерофей) Хабаров вел покрученников и смелых охотников на четвертую великую азиатскую реку Амур, в изобильные и украшенные места, о которых уже принесли слух побывавшие там, что те места «подобны райским».

## 6

Во многих сибирских деревнях жили одни пашенные мужики, без баб. Они слезно молили прислать им баб, чтобы было на ком жениться, потому что без бабы в хозяйстве никак нельзя.

Томский казак Василий Ананьин поехал к монгольскому Алтыну-царю — Золотому царю — и проведаль «про Китайское и про Катанское государство, и про Желтова, и про Одря, и про Змея-царя».

Но Ананьина «на дороге черных колмаков Кучегунского тайши карагулины люди (караульные люди) ограбили, а живота взяли санапал с лядунками и зельем, да зипуп лазоревой настрафильной новой, да рубаху полотняную, да однорядку лазоревую настрафильную».

## 7

В конце долгого царствования Алексея Михайловича, когда уже отгремело восстание Разина, — в тот год, когда трезвонили московские колокола о рождении у молодой царицы Натальи Кирилловны мальчика Петра, — в Успенский монастырь на Иртыше пришел постригаться сухощавый старик. Был он вовсе сед, с редкой бородкой и торчащими ключицами, очень древний, но держался прямо и ходил бодро, легко.

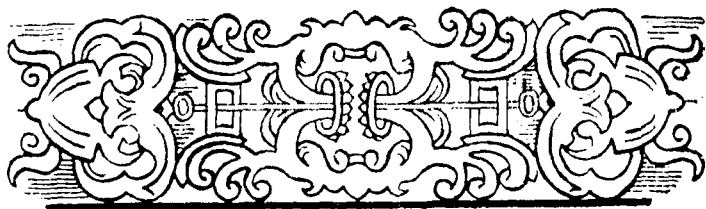
Старик был нищ и одинок. Когда перемерла его родня, не допытывались: он был туг на ухо.

В монастыре он немного чеботарничал, но из-за глухоты и древности его никто с ним не сходил; давно уже перевалило ему за сто.

Во время служб он шевелил губами. Крестился только двуперстием. Голоса же старика никто не слышал целыми неделями, и забывали даже, что он живет здесь.

По ночам ему снилось, что он летает.

Иногда ему приходили на память детство и Дон. Он видел там одинокую разгорающуюся яркую точку и девушку-найденку. Она представлялась ему тонкой, высокой, с плывущей походкой, в ожерельи из мелких монет на шее, ему помнилось, что звали ее Клавкой, и образ ее приметно соединился с образом некоей татарки, по имени Амина, с тусклыми глазами и черными косичками, висящими из-под сетки из конского волоса.



# КАЗАЧЬЯ СЛАВА

(Послесловие)

**В** 1660 году стрелецкий сотник Ульян Моисеев сын Ремезов ехал к тайше<sup>1</sup> калмыков-хошотов Аблаю. С собою Ремезов вез кольчугу. Он передал ее Аблаю. Аблай поднял кольчугу над головой и поцеловал.

Это была кольчуга Ермака.

Аблай поведал Ремезову, что давно, еще мальчиком, он, тайша, заболел, ему дали проглотить земли с могилы Ермака, и он исцелился.

Сотник загостился у Аблая. Аблай много пересказал ему за это время: о чудесных походах Ермака, о волшебствах, которые творило его мертвое тело, о похоронах атамана и о таинственных свойствах его одежды и оружия. Ремезов записал рассказы Аблая, и тайша поставил на записи свою печать.

У сотника был сын Семен. Он стал сибирским географом.

Уже в Петрово время Семен Ульянов Ремезов с сыновьями Леонтием, Семеном, Иваном да Петром составили летопись покорения Сибири. В эту летопись, написанную затейливым, местами почти песенным языком, Семен Ремезов вставил чудесные тайшины рассказы и другие туземные легенды, которые ему довелось услышать.

Вот о чем говорилось в них.

2

Труп Ермака нашли через неделю после вагайской резни. Яныш, внук князя Бегиша, удил рыбу у Епанчинных

<sup>1</sup> Тайша — князь.



юрт, в двенадцати верстах выше Абалака. Он увидел человеческие ноги, торчащие из воды, накинул петлю и вытащил тело.

Мертвец был могучего сложения и в драгоценных панцырях, сверкающих золотом. Яныш с криком побежал в поселение. Сбежались татары. Когда мурза Кайдаул снимал с трупа панцыри, изо рта и носа мертвеца хлынула кровь.

Нагое тело положили на помост, и мурзы, беки и приближенные их стали пускать в труп стрелы. Из каждой новой раны чудесно лилась свежая кровь. Тогда сам хан Кучум с мурзами и даже дальние вогульские и остяцкие князьки прибыли к телу, чтобы кровью Ермака отомстить за кровь своих родичей.

Слетались птицы и кружили над трупом, но ни одна из них не садилась на него.

Через шесть недель знатным татарам во сне явилось грозное видение. И многие сошли с ума. Татарские князья в ужасе сняли тело с помоста и предали земле на Бегишевском кладбище под сосной. Для погребального пира по Ермаке закололи тридцать быков и десять баранов.

Один панцырь Ермака отослали в святилище белогорского шайтана. Другой взял мурза Кайдаул. Кафтап Ермака достался Сейдяку, а сабля с поясом — караче.

Волшебная сила жила во всех этих предметах.

Шейхи Ислама, обеспокоенные чудесами, творимыми мертвым Ермаком, запретили поминать его имя и пригрозили смертью тем, кто укажет его могилу. Но свет стоял над ней по субботам — как бы свеча зажигалась в головах. Этот свет видели только татары, а для русских он был невидим.

Удивительны эти легенды сибирских народов о Ермаке, сохранные простодушным Ремезовым.

В них отделена резкой чертой знать ханской Сибири от простого татарского люда. Хан и слуги его пытаются пролить кровь мертвого Ермака. Сверхъестественные силы поражают их. Страшные видения сводят с ума беков и князей, хотевших надругаться над трупом казацкого атамана. Именно татары видят свет над его могилой. Героем остался Ермак и в памяти сибирских народов.

Кольчуга Ермака в самом деле больше семидесяти лет хранилась в роду мурзы Кайдаула. Летописцы сообщают, что она была исполинских размеров — в длину два аршина, пять четвертей в плечах. Каждые пять железных колец с изумительным искусством сплетены между собой. «на грудях и меж крылец печати царские — золотые орлы, по подолу и рукавам опушка медная в 3 вершка»; спереди, ниже пояса, одно кольцо прострелено.

Было поверье, что этот панцырь исцеляет от болезней, облегчает роды женщинам, оберегает младенцев, охотникам приманивает зверя и приносит удачу на войне. Байбагиш-тайша давал за панцырь десять семей невольников-ясырей, пятьдесят верблюдов, пятьсот лошадей, двести быков и тысячу овец, но Кайдаул не отдал панцыря. А, умирая, заповедал сыну, беку Мамету, никому не продавать его.

Тогда Аблай-тайша, властитель калмыков-хошотов, возгоревшись желанием получить чудесный панцырь, отправил посла в Москву просить, чтобы оттуда приказали Мамету отдать панцырь. Но Мамет не уступал его. И через два года, в 1660 году, новые тайшины послы пришли с подарками к тобольскому воеводе, чтобы тот велел упрямому беку передать волшебный панцырь Аблаю.

Воевода сперва по-хорошему давал Мамету тридцать рублей — «цену не малую». А потом уже прислал пристава — Ульяна Ремезова.

Так тайша получил кольчугу Ермака.

Но спустя некоторое время в улусе Аблая побывал сам бек Мамет. Он захотел посмотреть на панцырь, который завещал ему хранить отец, мурза Кайдаул. А когда Аблай показал ему панцырь, Мамет не признал его за свой.

И снова в 1668 году тайша шлет в Москву послов. Снова Москва дает указ «о сыску пансыря Кайдаула мурзы». Но волшебный панцырь исчез, и никто его больше не видел<sup>1</sup>.

Вторая, нижняя, кольчуга Ермака попала к кодскому князю Алачу. След ее также затерялся.

<sup>1</sup> «Это отрывок северной шехерезады, — восклицает проф. С. В. Бахрушин. — Эпическое посольство от азиатского государя за волшебным панцырем!» («Туземные легенды в «Сибирской истории» С. Ремезова» в «Исторических известиях» за 1916 год, № 3—4).

В 1646 году березовские служилые люди отбили на погроме воровской «самояди» у самого устья Оби русский панцырь. На одной медной мишени его был изображен двуглавый орел, а на другой буквы, в которых узнали инициалы князя Петра Ивановича Шуйского. Кольчугу Шуйского привезли в Москву, в Оружейную палату. Почти триста лет пролежала она там. В 1925 году проф. С. В. Бахрушин высказал предположение, что это и есть «низовой» панцырь Ермака<sup>1</sup>. Грозный подарил «князю Сибирскому» кольчугу воеводы Шуйского — участника многих славных походов своих, убитого в битве с поляками близ Орши в 1564 году, отца псковского героя.

Если это так, то, значит, в Москве хранится единственный безмолвный свидетель смерти легендарного атамана, вместе с его телом опустившийся в холодные и мутные воды Иртыша...

#### 4

Под Тобольском есть деревушка Котина, живут в ней многие семьи Котиных, потомков ермаковского казака.

В Новочеркасске стоит памятник донскому казаку Ермаку.

В Тобольске на крутой горе, далеко видный и по Иртышу, и по Тоболу, высятся обелиск серого мрамора. На нем надпись: «Ермаку, покорителю Сибири».

И во многих местах — на Урале, в Сибири и даже в Казахстане — из поколения в поколение передаются рассказы о Ермаке, и люди с гордостью говорят, что они того казацкого корня.

По всему простору нашей родины поет народ песни о Ермаке.

Высшей, почти беспримерной чести удостоил народ казака, погибшего в шестнадцатом веке и всего-то действовавшего на исторической арене три-четыре года: народное сознание соединило его с былинными богатырями.

Вот он едет на коне:

Поскоки его были по пяти-то верст,  
Из-под копыт конь выметывал  
Сырой земли по сенной копне...

<sup>1</sup> С. В. Бахрушин. «Кольчуга князя П. И. Шуйского», в «Сборнике Оружейной палаты». М., 1925 г.

Ермак — племянник Ильи Муромца. Вместе с Ильей служит Ермак в Киеве у Владимира, обороняет русскую землю от Мамаева нашествия.

Когда туго пришлось Грозному под Казанью, сошлись Ермак, Степан Разин и боярин Никита Романович, пошел к ним и Емельян Пугачев.

Они думали-гадали думу крепкую,  
Думу крепкую за единою:  
— Мы Астрахань-городочек пройдем с вечера,  
А Саратов-городочек на белой заре,  
А Самаре-городочку мы поклонимся,  
В Иегулевских горах остановимся,  
Шатрики раскинем шелковые,  
Приколочки поставим дубовые.  
Сядемте, братцы, позавтракаемте,  
По рюмочке мы выпьем — поздравствуем,  
По другой мы выпьем — песнь запоем,  
Погуляем да в путь пойдем  
Под Казань-городок!

Во многих песнях и былинах вместе гуляют, вместе думу думают, вместе бьются с врагами, вместе пируют, пьют мед и зелено вино три могучих атамана: Ермак, Разин, Пугачев. По Ермакову пути, по Каме, плывет Стенька. И вместе горе делят: кручинится казак в азовском плену, и казак этот — то Разин, то Ермак. На многое намекает это скрещение в народном сознании судеб казацкого вождя XVI века и вождя вольницы Разина — того, о ком говорили:

— Стенька — это мука мирская.

Есть знаменательная песня:

«Я пришел к тебе, Грозный-царь, с повинной,  
Я шатался-мотался, Ермил,  
По чисту полю и по синю морю,  
Разбивал я, Ермил, бусы-корабли  
И таксырские, и бусурманские,  
А больше корабли государевы...»  
Да возговорил один думчий боярин:  
«Еще мало нам Ермила казнить-вешати».  
«Злой боярин, не царский думчий!  
Без суда хочешь меня казнити-вешати!»  
Богатырская его сила подымалася,  
И богатырская его кровь разгоралася...

Он, поется в песне, отрубил голову боярину: она

По царским палатам покатилася.  
Ермак в беде сидит, бедой крутит,  
А думчие боярушки испугался,  
Из царских палатушек разбежался...

Вот идет на разбойника Ермака царская рать. И он, племянник Муромца, говорит ей слово, небывалое в древнем былинном эпосе, слово народного вождя — не разбойничье:

Гой вы еси, солдаты хорошие, слуги царя верные!  
Почто с нами деретесь, корысть ли от нас получите?

Вслушаемся в это. И мы поймем, что своего видит народ в Ермаке — могучего сына и заступника, одного из тех немногих, в ком как бы воплощена сила и правда народная.

Но иным, особым был путь Ермака от пути Разина и Пугачева. И об этом не забывает народ-песнетворец, даже скрещивая, даже переплетая их судьбы. Что же это за путь? Подвиг во славу всей родной земли: так отвечает народ. И богатыря-строителя Русской земли — чтит в Ермаке.

Не походом завоевателя-колонизатора, но делом доблести и поисками правды народной считает он «взятие Сибири». Вот почему все события этого «взятия» стали песнями и как живые донесены до нас такие подробности, о которых молчат летописи.

## 5

И прижизненная, и посмертная судьба Ермака необычайны.

Совершенное им уже современникам казалось чудесным.

Он стал мифом к половине XVII столетия, всего через пятьдесят лет после своей смерти.

Разителен контраст между неколебимой, уверенной, повсеместной (не только в Ермаковых местах, не только на Урале и в Сибири) народной памятью о Ермаке, славой его и необычайной скудостью письменных, книжных, вошедших в историю сведений о нем.

По страницам гимназических учебников Ермак проходил тих и светел, и от лат его распространялось сияние. Он никогда не ел скоромного, проводил время в молитвах вместе с добродетельными своими казаками, и благочестивые видения являлись ему еще чаще, чем орлеанской девственнице под старым каштаном в Домреми.

— Русский Кортес! Русский Пизарро! — восклицали ура-патриотические книжки.

Впрочем, в других книжках Ермак изображался простым приказчиком, покрученником Строгановых: свистнули хозяева — бросил разбой на Волге, хоть и понаторел в нем, и послушно явился; мигнули — вот он пошел и взял Сибирь.

Как некогда в Греции семь городов спорили о месте рождения Гомера, подобно этому много мест могут оспаривать право называться родиной Ермака.

Он — коренной донской казак, из понизовых. Он — уралец. Он — волгарь. Он — выходец из Сольвычегодска, из устюжских или даже из суздальских краев.

На Дону он, видимо, во всяком случае был. Несомненно «гульба» на Волге. Есть известия о службе Ермака в войсках Грозного, на ливонской войне.

Сохранилось описание наружности Ермака.

Но вот имя «Ермак» — откуда оно, что оно обозначает? Сколько изощреннейших языковедов трудилось в поте лица, осмысляя непонятное имя! И народ тоже давно уже не понимает его: вот почему оно всячески видоизменяется в позднейших песнях.

Ермак — это Ермил, Ермолай, Еремей или даже Герман! Но не Ермил, не Ермолай, не Еремей и не Герман, а именно странное, нехристианское «Ермак» стояло в самом первом по времени и притом церковном известии — поминальном синодике, который составил в 1621 (или 1622) году, по свежей еще памяти, Киприан, ученый архиепископ сибирский, бывший архимандрит новгородского Хутынского монастыря. Он-то знал, конечно, на-зубок православные святцы и тоже, верно, поломал голову над языческим Ермаком, прежде чем поставил его в своем синодике!

Есть известие — оно пошло от поздней Черепановской летописи, — что Ермака звали Василием: Ермак остается прозвищем.

Увы! Историки разглядывали в Васильи-Ермаке славного разинского атамана Василья Уса.

Итак, все, что мы знаем: Ермак — это Ермак.

Докопались, что на волжском жаргоне ермак — это ручной жернов или артельный котел. Так, в руках иных историков, обладающих полетом воображения, биография Ермака обогатилась новым штрихом: до своего атаманства Ермак был кашеваром.

В те времена многие люди, вместе с «молитвенным» именем, носили второе имя — прозвище. Иногда это было тоже христианское имя, иногда — меткая кличка. Под этим прозвищем и слыл человек. О «молитвенном» его имени нередко и не вспоминали.

У вольных же казаков находилась еще причина сменять имя. Попав в «поле», человек как бы родился наново. Он скидывал посконный армячишко (недаром, по поговорке, казаки «добывали зипуны»), а вместе с ним — и прежнее прозвание. Когда поймают воеводы казака, не допытываются, чей человек. Новое имя укрывало...

Все же у всех Ермаковых атаманов-помощников мы знаем настоящие имена. Только у самого Ермака никому не удалось отыскать другое имя. Так и пришлось петь три века вечную память ватажному котлу или ручному жернову...

Есть историки, которые сомневаются и в отчестве Ермака. «Тимофеевич» тоже кажется им эпическим заимствованием у Степана Тимофеевича Разина. Впрочем, этому гиперкритицизму можно противопоставить прямое упоминание о «волских казаков атамане Ермаке Тимофееве» в грамоте Грозного Максиму и Никите Строгановым от 16 ноября 1582 года.

«Написание», составленное старыми казаками, товарищами Ермака, через тридцать пять лет после его смерти послужило первоосновой, «протографом» для Киприанова синодика и для позднейших летописей. Но протограф утерян, и мы знаем только летописи.

В 1636 году сочинил такую летопись архиепископский дьяк Савва Есипов — Есиповская летопись понадобилась для оправдания предположенной канонизации Ермака, превращения его в святого.

Около того же времени, может быть, немного позднее, а иные думают, что даже раньше, сочинил другую летопись какой-то прихлебатель Строгановых. Он запоздало пытается переспорить историю, сгладить обиду, нанесенную Ермаком уральским «именитым людям». И Строгановская летопись славословит и восхваляет Строгановых: Ермак-де во всем поступал по их указу, их иждивением и покорена Сибирь.

В первой половине XVII века было написано также краткое известие «О взятии Сибири».

Значительно позднее, в конце XVII или в начале XVIII века, автор «Чертежной книги Сибири» Семен Ульянов Ремезов написал еще одну летопись. В своем рассказе Ремезовская летопись следует за Есиповской, но составитель ее, как уже говорилось, знал еще какие-то, до нас не дошедшие известия, вставлял в свою повесть туземные легенды. В этой летописи есть рисунки, а на особых листах вклеены обрывки из другой, тоже в отдельности нам неизвестной летописи (ее называли Кунгурской), писанной совсем непохожим на летописный, крепким, народным, казачьим языком.

Что еще?

Есть многочисленные «летописные повести», есть написанные в XVII и в XVIII веках «своды» — они обильно наполнены знаменьями, чудесами и тягучими перепевами старых летописей.

Почти через двести лет после Ермака, в 1760 году, некий тобольский «ямщик» Илья Черепанов составил последнюю, Черепановскую летопись. Что нового мог он знать о Ермаке? Серым, скучным, по-приказному кудреватым языком он сбивчиво и путанно пересказывает давно уже известное, от себя добавляя всякие рассказы и слухи.

Каждая летопись по-своему излагает историю Ермака. Архивы, где могли храниться подлинные грамоты, писцовые книги, приказная переписка, горели в деревянных сибирских посадах. В частности, многое уничтожил пожар 1788 года, когда Тобольск выгорел до тла.

С тех пор в лубочных книжках для народа события сибирского похода покрывались густым верноподданническим, боярско-купеческим, морально-поучительным лаком.

Историческая критика сделала не мало, чтобы размотать клубок противоречий в известиях о Ермаке.

Все-таки границы точно установленного не широки.

Многое, правда, все еще остается необследованным. Возможны еще важные находки. Скучно записано то, что хранит о Ермаке народная память.

Так или иначе биография Ермака в обычном смысле невозможна. Начало жизни его неизвестно. Конечт тонет в густом тумане легенд. Только четыре-пять лет как бы вырваны резким светом из тьмы. Но и в этом освещенном узком промежутке мы видим только грубые контуры событий.



И, педантично держась записанного, мы получим только такую «правду», которая похожа на действительность, как скелет похож на живой организм.

Но была же у нее, у давно минувшей действительности, и плоть и кровь!

Ее-то, эту внутреннюю правду о Ермаке отыскивали и отыскивают те, кто в искусстве — в скульптуре, в живописи, в художественном слове — пытаются воскресить образ Ермака. В своих поисках они могут быть счастливее, чем историки. Для них звучат голоса, почти безгласные для биографа, ожидающего последней достоверности.

Они прислушиваются к этим далеким голосам, то слитным, то отдельным, приглядываются, как скрещивались тогда на широкой земле дороги людские.

И вот уже не оторванная ото всего, еле намеченная скудными намеками старых повествователей, — но в толчее людской, в средоточии игры могучих сил, на перепутьи исторических дорог, — встает сумрачная фигура Ермака. А летописи делаются для нас не единственным документом, но — пусть пунктирным, — рисунком неповторимости его жизненной судьбы.

Жизнь масс, в светлом ее и в темном, их думы, боренье, чаянья, — жизнь народа проясняет нам образ народного героя. Ведь он — порождение и преломление ее. Он — частица ее.

И еще дан нам ключ, чтобы открыть неизвестное внутренней правды в уравнении летописей: то, что народ пронес сквозь века — в песнях своих, сказаниях и оценке своей дела волжского атамана, — это, конечно, и есть, в самом главном, истинный, коренной смысл и значение жизни и дела его.

Таинственной смертью погиб герой-атаман, но в сознании народном смерть не может победить и обратить в ничто чудесную жизнь: поэтому и зачарована могила Ермака и после смерти творит он чудеса.

Пусть уже забывается, непривычным делается для слуха старинный былинный лад: жизнь идет вперед. Но стоило Рылееву поновить «думу» о Ермаке — и вот уже больше столетия, как опять полетела по всему нашему простору эта дума, и под рылеевское «Ревела буря» задумывается

Василий Чапаев и в славные идет бои за молодую власть советов.

А если бы и вовсе вывелись люди, помнящие древние легенды и напевный склад богатырских сказаний, если бы и снимали со стен уральских и сибирских жилищ лубочные, наверняка вовсе не похожие портреты казачьего атамана, — все же надолго еще остались бы его следы на земле, по которой он прошел.

Хуторы Ермаковы на Сылве, Ермаково городище на мысу у Серебрянки и другое — на левом берегу Тагила, в шестнадцати верстах от Нижне-Тагильского завода, Ермаков перебор на Чусовой, Ермаковка-речка, приток Чусовой, Ермаков рудник, роковая Ермакова заводь в устье Вагая, знаменитый Ермаков камень, нависший над Чусовой, — там в пещере будто бы скрыл атаман легендарные сокровища... Да двадцать или тридцать деревень и поселков — Ермаковых, Ермаковок, Ермачков.

Не географы давали все эти прозвания. Их никто не придумывал. Их создал народ, который от Белого моря до Тихого океана помнит о Ермаке.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Рассвет . . . . .	5
Путь-дороженька . . . . .	28
На Великой реке . . . . .	48
Великопермские властелины . . . . .	90
Страна Муравья . . . . .	103
Путь птицы . . . . .	135
Курень хана Кучума . . . . .	158
Город Сибирь . . . . .	208
Царь Московский . . . . .	223
Вагай-река . . . . .	257
Алтын-гора . . . . .	279
Казачья слава (послесловие) . . . . .	286

10 руб.

186